

Василиса Яровая

Лавка
забытых
вещей

Лавка забытых вещей

Улица Трёх Лун. Книга первая

Василиса Яровая

Лавка забытых вещей

«Тайниковский»

2026

Яровая В.

Лавка забытых вещей / В. Яровая — «Тайниковский», 2026

Меня уволили за честность. Любимый мужчина оказался предателем, карьера пошла прахом, а впереди маячили безработица и пустой кошелёк. И тут выяснилось, что я — наследница волшебной лавки в городе, которого нет ни на одной карте! Казалось бы, живи и радуйся. Только вот товары здесь хранят чужие воспоминания, у каждой забытой вещи есть своя тайна, а к наследству прилагаются обязательства, о которых меня почему-то забыли предупредить. Теперь мне предстоит разобраться с магией, навести порядок в лавке и выяснить, что скрывает прошлое моей семьи. А ещё доказать, что даже в другом мире женщина с характером и профессиональной хваткой не пропадёт! Добро пожаловать на Улицу Трёх Лун. Здесь даже забытые вещи заслуживают второго шанса. И, кажется, я тоже.

Содержание

Глава	5
Глава 1. Оценка без права обжалования	6
Глава 2. Улица, которой нет	12
Глава 3. Условия наследства	19
Глава 4. Инвентаризация	27
Глава 5. Подозреваемая	35
Глава 6. Справка о существовании	42
Глава 7. Первая покупательница	51
Глава 8. Дом Марро	60
Глава 9. Письмо, которое опоздало на сорок лет	70
Глава 10. Клеймо с тремя лунами	78
Глава 11. Экзамен	87
Глава 12. Платье сбежавшей невесты	96
Глава 13. Деревянная лошадка	106
Глава 14. Свой угол	114
Глава 15. Выгодное предложение	124
Глава 16. Ночные гости	133
Глава 17. Гильдия артефакторов	142
Глава 18. Музыкальная шкатулка	151
Глава 19. Что я стою	161
Гл	171
Конец ознакомительного фрагмента.	172

Лавка забытых вещей

Глава

Глава 1. Оценка без права обжалования

Яйцо было красивым. Это я признала сразу и честно, как признают достоинства человека, которого собираются уволить.

Оно стояло на подставке из синего бархата под отдельной лампой, и свет ложился на эмаль так, как его учили ложиться на настоящую вещь: мягко, без бликов, с тёплым розовым отливом там, где гильоше уходило под золотую сетку. Восемь жемчужин по экватору. Бриллиантовая роза на макушке. Крошечный замочек, открывающий створку, а внутри — миниатюрный портрет девочки в матросском платье.

Лот номер сорок семь. «Пасхальное яйцо с сюрпризом, мастерская К., ок. 1900 г. Происхождение: частная коллекция, Женева». Эстимейт — такой, что у меня при первом прочтении каталога заныли зубы.

— Вера Андреевна, — Глеб наклонился к моему уху, и я почувствовала запах его парфюма, нового, дорогого и неуместного, как бархатная подставка для фальшака. — Улыбайся. На тебя смотрят.

На меня действительно смотрели. В зале аукционного дома «Северная коллекция» сидело человек шестьдесят, и примерно половина из них знала, что последние восемь лет каждую вещь, которая уходила с этого подиума дороже миллиона, перед этим держала в руках я. Держала, крутила, разглядывала в лупу, обнюхивала, простукивала, отправляла на рентген и в итоге подписывала заключение. Моя подпись стоила денег. Не моих, правда, но всё-таки.

Под лотом сорок семь моей подписи не было.

— Глеб, — произнесла я, не поворачивая головы и не переставая улыбаться. — Сними его.

— Нет.

— Это подделка.

— Это спорная атрибуция. У нас есть заключение Шустова.

— Шустов пьёт с прошлого Рождества, и ты это знаешь. У сюрприза не та шарнирная ось. Золото на сетке пятьдесят шестой пробы, а не семьдесят второй, я проверяла. Эмаль положена в один слой с подкраской снизу, а не в шесть. Портрет — фотография, отпечатанная на целлулоиде и подкрашенная. Девочка в матроске родилась, если тебе интересно, где-то в районе тысяча девятьсот восьмидесятого года, у неё на запястье часы с пластиковым браслетом. Я смотрела в микроскоп.

— Вера.

— Я двенадцать раз тебе это сказала.

— А я двенадцать раз тебе ответил, — Глеб улыбался той же улыбкой, что и я. Со стороны мы, наверное, выглядели идеальной парой: управляющий и главный эксперт, склонённые друг к другу головы, доверительный шёпот. Три года назад так оно и было. Потом выяснилось, что доверительно шептать Глеб умеет не только мне. — Покупатель знает, что берёт. Его всё устраивает.

— Покупатель — пенсионный фонд одной северной области, который решил вложиться в «надёжный актив». Его консультант родился в девяносто восьмом и путает гильоше с гипюром.

— Тем более.

Аукционист, Лёша Ремезов, звучно объявил сорок седьмой лот, и зал зашелестел. Лёша на меня не смотрел. Лёша был хорошим мальчиком, и вчера вечером, когда я положила ему на стол свою записку с перечнем технических несоответствий, он долго сидел над ней, а потом сказал: «Вера Андреевна, мне ипотеку платить». Я его не осуждала. Мне ипотеку платить было не нужно по той простой причине, что никакой ипотеки мне бы никто не дал на зарплату эксперта, у которого нет своей доли в бизнесе.

Шесть лет назад Глеб обещал мне долю. Четыре года назад — что вот-вот. Год назад он сказал, что «у нас же всё общее, малыш, какая разница, на кого оформлено». Через месяц после этого я узнала, на кого оформлена квартира, в которой он жил с дизайнером интерьеров по имени Снежана. Не на меня.

— Начальная цена... — пропел Лёша.

Я встала.

Встать — это было легко. Ноги сами меня подняли, как поднимают в метро, когда видишь, что над старушкой нависает пьяный. Дальше было сложнее, потому что я никогда не выступала на торгах. Я сидела в задних рядах, в дальнем углу, в тёмно-сером костюме, который делал меня невидимой, и смотрела, как уходят вещи, в которые я влюблялась на неделю, пока их исследовала. Голос у меня был тихий, профессиональный. Голос женщины, которая говорит «к сожалению, это поздняя копия» таким тоном, что владельцы копий не плачут, а благодарят.

— Прошу прощения, — сказала я этим голосом. Акустика у зала была отличная, мы её специально заказывали. — Аукционный дом снимает лот сорок семь с торгов в связи с выявленными сомнениями в подлинности. Экспертное заключение будет предоставлено всем заинтересованным лицам.

В зале сделалось очень тихо. Где-то в третьем ряду щёлкнул затвор фотоаппарата.

Лёша Ремезов посмотрел на меня, потом на Глеба. Глеб медленно поднялся, застегнул пиджак и сказал своим бархатым голосом:

— Небольшое недоразумение. Вера Андреевна, можно вас на минуту?

Минута растянулась на сорок. Всё это время лот сорок семь стоял под лампой, розовый и прекрасный, как курортный роман, а покупатель из северной области сидел в отдельной переговорной и пил коньяк, который ему заботливо подливали.

В кабинете Глеб первым делом закрыл жалюзи.

— Ты понимаешь, что ты сделала?

— Понимаю. Я спасла репутацию дома.

— Ты уничтожила репутацию дома! Публично! Перед прессой!

— Глеб, через полгода кто-нибудь отнесёт это яйцо в Эрмитаж, чтобы похвастаться, и там его разберут на запчасти минут за пятнадцать. И тогда журналисты придут уже не на торги. Они придут к тебе домой. К Снежане.

Это было лишнее. Я поняла это по тому, как дёрнулась у него щека. Но, честное слово, восемь лет — достаточно большой срок, чтобы позволить себе одно лишнее предложение.

— Пиши заявление, — сказал Глеб.

— По собственному?

— По собственному. Или я напишу служебную записку о том, что ты сорвала торги в состоянии нервного срыва, и с этой запиской тебя не возьмёт ни один ломбард от Выборга до Владивостока. Выбирай.

Я посмотрела на него. Внимательно, как смотрю на вещь, которую мне принесли на оценку и про которую заранее всё понятно. Мужчина, сорок один год. Хорошая сохранность, следы косметической реставрации в области висков. Позолота местами стёрта. Происхождение — сомнительное. Рыночная стоимость — завышена. Историческая и художественная ценность — отсутствует.

— Дай бумагу, — сказала я.

Он дал.

* * *

Домой я ехала на маршрутке, потому что такси в пятницу вечером от Большой Морской до Купчино стоило как треть моего последнего, видимо, оклада. На коленях у меня лежала коробка с вещами из кабинета: настольная лупа с подсветкой, которую я купила на свои, два справочника по клеймам, кружка с надписью «Лучший эксперт» (подарок Лёши на прошлый

Новый год, теперь от неё хотелось плакать), пачка салфеток и фикус. Фикус я спасла в последний момент. Все восемь лет его поливала только я, и было бы глупо оставлять его Глебу, который однажды полил его остатками капучино.

В маршрутке пахло мокрыми куртками. Октябрь в Петербурге вообще пахнет мокрыми куртками, и это я любила, как ни странно. Любила этот город, в котором ничего не просыхает до апреля, любила свою работу, любила возвращаться домой затемно и включать на кухне лампу. Просто в какой-то момент стало непонятно, что из этого любит меня в ответ.

Рядом сидела женщина с пакетами из «Ленты» и пересказывала по телефону сериал. Напротив — подросток в огромных наушниках. Подросток посмотрел на мой фикус и сказал:

— Вас уволили?

— Почему вы так решили?

— У вас коробка. И цветок. Так всегда показывают.

— Наблюдательный, — сказала я. — Иди в эксперты.

— А там много платят?

— Нет.

— Тогда не пойду.

И вернулся к своим наушникам. Самая честная консультация за весь день.

Квартиру я снимала третий год. Одношка на седьмом этаже, вид на соседний дом и кусок неба между ним и следующим. Хозяйка, Лариса Михайловна, жила в Испании и раз в месяц присылала мне в мессенджер голосовое сообщение длиной в шесть минут, где после сорока секунд вежливости шла информация о том, что всё дорожает. Последнее сообщение пришло во вторник. Я его ещё не дослушала. Теперь, видимо, придётся.

Я поставила коробку на пол в прихожей, разулась, повесила пальто. Поддержала фикус на руках, решая, куда его ставить, и поставила на подоконник рядом с геранью. Герань досталась мне от бабушки. Бабушка умерла шесть лет назад, а герань продолжала цвести, упрямая, как всё бабушкино. Фикус и герань посмотрели друг на друга без особой симпатии.

— Привыкайте, — сказала я им. — Это временно.

Потом налила себе чаю, села на табуретку и минут десять смотрела в стену.

Список того, что у меня было, получался коротким. Тридцать три года. Диплом искусствоведа и двадцать сертификатов. Фамилия, которую в нашем узком мире знали, и которую к понедельнику Глеб постарается сделать неприличной. Сбережения на три месяца аренды, если не есть. Бабушкина герань. Фикус.

Список того, чего не было, был длиннее, и я его составлять не стала. Это профессиональная привычка: никогда не описывать отсутствующие детали, только сохранившиеся. Пропусты пишут отдельно, в конце, мелким шрифтом.

Телефон звякнул. Сообщение от Лёши: «Вера Андреевна, простите». Следом второе: «Лот сняли. Покупатель ушёл». И третье, через минуту: «Вы правы были».

Я ответила: «Знаю. Плати ипотеку». Подумала и добавила смайлик, чтобы он не решил, что я злюсь. Я не злилась. Я вообще как-то устала злиться ещё года два назад и с тех пор жила в режиме экономии.

* * *

Письмо я нашла, когда пошла выносить мусор.

Вернее, нет. Сначала я собрала мусор. Это заняло больше времени, чем следовало, потому что, начав, я вдруг решила разобрать всё сразу: выкинуть старые чеки, которые лежали в ящике под зеркалом, засохшие маркеры, рекламные буклеты пиццерий, пустую коробку от наушников, которую зачем-то хранила, и, наконец, папку с распечатками договоров о доле, которую Глеб так и не подписал. Папка была толстая. Я перелистала её, подумала, не оставить ли на память, и сунула в пакет целиком. Пакет получился тяжёлый, почти как настоящая утрата.

Почтовый ящик у меня был в коридоре у лифта, и я заглядывала туда раз в неделю, чтобы выгresti квитанции. Сейчас из прорези торчал угол конверта. Не квитанции — квитанции у нас приходили в тонких серых бумажках, сложенных втрое. Этот был плотный, кремовый, с неровным краем.

Я его вытащила, и пальцы сами отметили: бумага ручного отлива. Хлопок, а не целлюлоза. Вес, прикинула я, граммов сто шестьдесят — сто восемьдесят на квадратный метр. Такая бумага стоит дорого. На такой бумаге не печатают рекламу.

На лицевой стороне было написано чернилами, не принтером, а пером, с нажимом и тонкими волосными линиями:

Госпоже Вере Соколовой, дочери Ирэны Лорис.

И больше ничего. Ни адреса, ни индекса. Ни марки.

Я постояла у почтовых ящиков. Лифт загудел, кто-то поехал вниз. Пакет с мусором оттягивал руку.

Мою маму звали Ирина. Ирина Андреевна Соколова. Андреевна — это по мужу, то есть по папе, по которому я тоже Андреевна. Нет, подождите. По папе я Андреевна, а мама была... Бабушка всегда говорила: «Твоя мать». Не «Ира», не «Ирина», не «мама». «Твоя мать уехала». «Твоя мать была не отсюда». «Твоя мать, конечно, красивая была, но с ней было как с кошкой: никогда не знаешь, о чём думает». Отчества у моей матери в бабушкиных рассказах не было вовсе, будто она его не заслужила. Фамилии до замужества тоже.

Мне было пять, когда она ушла. Я помнила запах — что-то тёплое, коричневое, кажется. Помнила, как она пела на незнакомом языке, когда расчёсывала мне волосы. Помнила музыкальную шкатулку с крутящейся фигуркой, которую она заводила перед сном маленьким ключом. Больше ничего. Папа погиб, когда мне было три, его я не помнила совсем. Шкатулка пропала вместе с мамой.

«Лорис», — сказала я вслух. Слово было тёплым и чужим.

Конверт был не заклеен, а запечатан. Сургуч тёмно-синий, почти чёрный, и в нём оттиснуты три круга, один чуть заходящий на другой. Луны, поняла я. Три луны: одна полная, одна в виде серпа, одна — просто кружок, залитый сургучом гуще остальных.

Сургуч я ломала с неудобным чувством. Восемь лет я учила стажёров никогда не вскрывать исторические печати. Это сургучное письмо историческим не было — сургуч был свежий, мягкий, он даже пах ещё чем-то смоляным. Но рука у меня всё равно дрогнула.

Внутри был один лист той же бумаги, сложенный вдвое. Почерк тот же — красивый, деловой, без завитков.

Госпожа Соколова.

Нотариальная контора Д. Вель (город Лавьер, Улица Трёх Лун, дом 2) уведомляет вас, что вы являетесь единственной наследницей по завещанию госпожи Агаты Лорис, скончавшейся в день осеннего равноденствия сего года. В наследственную массу входит: дом номер семь по Улице Трёх Лун с торговым помещением «Лавка забытых вещей», всем содержимым лавки, жилыми комнатами, подвалом и чердаком, а также обязательства, связанные с означенным имуществом.

Для вступления в права наследования вам надлежит явиться в контору лично в течение одного месяца с момента получения настоящего письма.

Дорогу вы найдёте. Возьмите это письмо в руку, откройте любую дверь и подумайте о том, что вам больше нечего терять.

С уважением,

Д. Вель, нотариус.

Я прочитала его дважды. Потом перевернула, посмотрела на просвет. Водяной знак — опять три луны, тонкий, аккуратный. Бумагу делали специально под эту контору. Или под эту шутку.

— Очень смешно, — сказала я почтовым ящикам. — Очень профессионально. Глеб, ты превзошёл себя.

Почтовые ящики не ответили. Это, кстати, было первым, что не сходилось. Глеб не умел шутить так, чтобы тратить на это деньги. Глеб вообще не умел тратить деньги ни на что, кроме того, что можно потом показать. Бумага ручного отлива и сургуч ради того, чтобы разыграть уволенную сотрудницу в пятницу вечером, — это было не в его стиле. Он бы просто отправил сообщение. С ошибками.

И потом, откуда он знает эту фамилию? Я сама её не знала.

Лифт вернулся на мой этаж и раскрыл двери. В нём никого не было. Я посмотрела на него, на пакет в руке, на письмо в другой.

Мусоропровод у нас заварили лет пять назад, и мусор полагалось выносить во двор, к контейнерам. Для этого нужно было спуститься на первый этаж и выйти через заднюю дверь, железную, тяжёлую, с кодовым замком, который не работал с прошлой весны. За дверью был двор-колодец с тремя контейнерами, лужей, в которой отражались окна, и кошкой Дусей, которую подкармливала вся парадная.

Я спустилась. Пакет держала в правой руке, письмо — в левой. Почему не сунула письмо в карман, не знаю. Наверное, потому, что карманов на домашних штанах не было, а класть его в пакет к мусору было... Неправильно. Как отдать в утиль вещь, о которой ещё не понял, что она стоит.

В подъезде пахло, как всегда, сыростью и чьими-то котлетами. Свет на первом этаже мигал. Я дошла до задней двери, перехватила пакет поудобнее, взялась за холодную ручку.

И подумала. Не специально, не потому, что так было написано в письме. Это была просто мысль, одна из тех, что приходят в пятницу вечером, когда идёшь выносить мусор в старых тапках, держа в руке фамилию, которую тебе не сказали за тридцать три года.

Мне больше нечего терять.

Дверь поддалась легко, без привычного скрежета. Я шагнула за порог — и мой тапок, вместо того чтобы попасть в лужу у контейнеров, встал на камень.

Камень был мокрый, гладкий и выпуклый, как спинка большого жука. Брусчатка. Старая, отполированная тысячами ног, с травой между камнями. Шёл дождь, мелкий и тёплый, совсем не октябрьский, и пахло так, что у меня сжалось горло: мокрой листвой, печной золой, корицей и ещё чем-то, чему я не знала названия, как не знаешь названия цвета, которого ещё не видела.

Я подняла голову.

Над крышами, над острыми черепичными скатами и кривыми трубами, висели три луны.

Одна — большая, серебряная, полная, яркая, как начищенный поднос. Вторая — поменьше, золотистая, узким серпом, низко над крышами. А третья... Третью я сначала не увидела. Просто там, где небо было темнее всего, в нём была дыра. Круглая, чёрная, чернее облаков, с тонким светящимся ободком, будто кто-то вырезал из неба кружок и забыл вставить обратно.

Я обернулась. Позади была дверь. Не моя железная дверь с нерабочим кодовым замком, а деревянная, низкая, тёмно-зелёная, с медной ручкой в виде лапы какого-то зверя. Дверь была закрыта. Я дёрнула за лапу. Дверь не открылась. Я дёрнула сильнее. Где-то за ней, глухо, как сквозь вату, звякнул колокольчик — и стих.

— Нет, — сказала я двери. — Нет-нет-нет. Так не бывает.

Дверь, судя по всему, была с этим не согласна.

Я стояла посреди мокрой улицы, в домашних штанах, растянутой футболке с логотипом прошлогодней конференции по декоративно-прикладному искусству и в тапках. В одной руке у меня был пакет с мусором. В другой — письмо. Дождь шёл тёплый, и это почему-то пугало больше, чем луны. Октябрь в Петербурге не бывает тёплым. Никогда.

Улица уходила вперёд и вниз, плавно изгибаясь. По обе стороны стояли дома — узкие, высокие, в три-четыре этажа, прижатые друг к другу плечами. Окна были тёмными. Все, кроме одного: там, где улица изгибалась, на первом этаже горел жёлтый свет, и на мокрой брусчатке перед ним лежал тёплый прямоугольник.

Позади меня, в конце улицы, темнела арка. Над аркой что-то поблёскивало — три металлических круга, вмурованных в камень. Серебряный, золотой и чёрный.

Я пересчитала луны в небе. Три. Пересчитала круги над аркой. Три. Посмотрела на сургучную печать на письме. Три.

Профессиональная деформация — штука полезная. Когда ты не понимаешь, что происходит, ты начинаешь описывать. Описание — это способ удержаться. Объект: улица. Материал: камень, дерево, черепица. Датировка: затрудняюсь. Состояние: мокрое. Происхождение: неизвестно. Подлинность...

Подлинность была очевидной, и именно это было хуже всего.

— Хорошо, — сказала я вслух, тихо и твёрдо, как говорила клиентам, принёсшим «бабушкин Фаберже», купленный на Удельной. — Хорошо. Давай по порядку.

По порядку у меня получилось вот что. Если это сон, то я в нём не замёрзну, потому что дождь тёплый. Если это нервный срыв, о котором так красочно обещал написать в служебной записке Глеб, то ничего страшного не случится, если я пройду до горящего окна. Если это не сон и не срыв...

Дальше «если» у меня не шло. Мозг вежливо отказывался.

Пакет с мусором я поставила у зелёной двери. Потом подумала, вернулась и взяла его снова. Неприлично оставлять мусор на чужой улице. Мало ли, может, здесь за это штрафуют.

Письмо я прижала к груди, чтобы не намокло.

Я сделала шаг. Потом второй. Тапки шлёпали по камню неприлично громко, как аплодисменты в пустом зале. Над одной из дверей, мимо которой я шла, висела вывеска: деревянный калач с облупленной позолотой. Над другой — большой медный ключ. Над третьей ничего не висело, но на стекле витрины кто-то когда-то вывел белой краской: «...ДЛЯ ВСЕХ, КТО ПОТЕРЯЛ...» — конец надписи стёрся.

Я прошла ещё немного и остановилась перед тёмной витриной, потому что увидела в ней себя. Растрёпанная, мокрая, бледная женщина с пакетом мусора, в футболке с надписью «Экспертиза и атрибуция: современные вызовы». Вызов, надо сказать, был вполне современный.

За моим отражением в глубине витрины что-то шевельнулось.

Я замерла. Там, за стеклом, в темноте, стояли полки. Много полок, до самого потолка, и на них — вещи. Я не видела, какие именно, только смутные силуэты: что-то круглое, что-то высокое, что-то, похожее на свёрнутую шаль. И между этими силуэтами шевелилось что-то небольшое, чёрно-белое.

Над витриной висела вывеска. Буквы были выцветшие, но разборчивые, и, к моему ужасу, я прочитала их сразу, хотя алфавит был мне незнаком. Это было как узнать лицо, которого никогда не видела.

ЗАБЫТЫЕ ВЕЩИ. Лорис.

Чёрно-белое пятно в витрине придвинулось к стеклу. Это была птица — сорока, большая, гладкая, с длинным хвостом и блестящими глазами-бусинами. Она склонила голову набок, оглядела меня с тапок до мокрой макушки, с особым вниманием задержавшись на пакете, и постучала клювом в стекло. Один раз, другой.

Потом открыла клюв и отчётливо, с придыханием, как старая актриса со сцены провинциального театра, произнесла:

— Ну наконец-то. Добро пожаловать домой, милочка. Мусор, надеюсь, не наследственный?

Глава 2. Улица, которой нет

С птицами я разговаривать не умела. С ними вообще мало кто умеет, но обычно это компенсируется тем, что птицы тоже не умеют разговаривать с людьми. Здесь баланс был нарушен.

— Простите, — сказала я сороке. Голос у меня сел и звучал хрипло. — Вы сейчас что-то сказали?

— Я сейчас сказала много чего, — оскорбилась сорока. — И, заметь, в первую очередь пожелала тебе доброго вечера. Можно было бы и ответить. Агата всегда отвечала. Даже когда у неё болели зубы.

— Добрый вечер, — машинально ответила я.

— Вот. Уже лучше, — сорока прошлась по полке за стеклом туда-сюда, цокая когтями. Хвост у неё отливал зелёным и синим, как пятно бензина в луже. — Ты Вера.

Это был не вопрос.

— Да.

— Дочь Ирэны.

Я помолчала. Дождь стекал мне за шиворот, тапки промокли насквозь, а пакет с мусором в руке казался единственной надёжной вещью во вселенной.

— Видимо, да, — ответила я. — Я не знала, что её так звали.

Сорока перестала ходить. Склонила голову набок и долго на меня смотрела — одним глазом, потом другим. Глаза у неё были чёрные, без белка, и в каждом плавала крошечная серебряная луна. Отражение, разумеется. Только вот отражаться ей было неоткуда: я стояла спиной к небу.

— Ну, — произнесла она наконец, и голос у неё стал чуть ниже. — Ну, ничего. Узнаешь. Ключ у Марты. Иди в чайную, там свет. Тебя накормят, а ты потом возвращайся. Я открывать не буду. У меня лапки.

— У вас клюв, — заметила я.

— У меня, милочка, достоинство. Иди уже. Ты капаешь на мою витрину.

Я посмотрела на витрину. На неё действительно капало — с меня. Это было так нелепо, что я рассмеялась. Смех вышел странный, со всхлипом. Сорока, кажется, сделала вид, что не заметила.

* * *

Свет горел в доме на самом изгибе улицы, через три двери от лавки. Это было широкое окно в мелком переплёте, всё запотевшее изнутри, с горшками какой-то травы на подоконнике. Над дверью висела вывеска: жестяной полумесяц и чашка. Под ними было выведено: «Половинка луны. Чай, пироги, разговоры».

Я долго стояла перед этой дверью. Сколько там может быть людей? Что они скажут, когда войдёт мокрая женщина в тапках, с мусором? Вызовут ли здесь полицию? Есть ли здесь полиция? Говорят ли здесь по-русски? Я ведь как-то прочитала вывеску...

Дверь открылась сама. Вернее, её открыли изнутри, и на пороге появилась маленькая пожилая женщина в фартуке. Седые волосы заплетены в косу и уложены короной. Очки на цепочке. Фартук был с карманами, и каждый карман что-то оттопыривало.

— Ну наконец-то, — произнесла женщина голосом, удивительно похожим на голос сороки, только без театрального придыхания. — Я уж думала, ты в арке застряла. С ними бывает. Заходи, заходи, не стой. Мусор давай сюда.

И она забрала у меня пакет так естественно, будто так и было договорено.

— Я... — только и удалось выдать мне из себя.

— Вера. Знаю. Дария говорила, что письмо ушло. А её письма всегда доходят, хоть бы ты в погребе пряталась. Садись к печке. Нет, не туда, там Тобиасово место, он, конечно, не приходит уже лет двадцать, но место есть место. Вон туда, к окну. Сейчас суп.

Внутри было тепло, как в отопленной бане. Чайная оказалась небольшой: шесть столиков под клетчатыми скатертями, длинная стойка, большая изразцовая печь в углу. Вдоль стены тянулись крючки, а на крючках висели чашки. Десятки чашек, все разные: фарфоровые с розами, глиняные кривоватые, жестяная эмалированная с отбитым краем, одна огромная, как ведро, с надписью, которую я тоже прочитала: «Капитану. Не трогать». Под каждой чашкой на маленькой табличке было написано имя.

Людей в чайной не было. Только кот — огромный, рыжий, распластавшийся на печной лежанке, как упавшее одеяло, — приоткрыл один глаз и снова закрыл.

Я села к окну. Ноги дрожали, это я заметила только сейчас.

Женщина вернулась со стойки с подносом, на котором стояла глубокая миска, накрытая тарелкой, два пирожка на блюде, кружка и толстое вязаное полотенце. Полотенце она бросила мне на колени.

— Голову вытри. Простудишься. Хотя тут простудиться трудно, улица не даёт, но лучше не проверять. Ешь. Я Марта. Марта Брей. Хозяйка всего этого.

Она обвела рукой чайную — и, кажется, заодно всю улицу.

— Спасибо, — произнесла я и стала вытирать волосы. Полотенце пахло лавандой и дымом. — Марта, простите, я не очень... Я не понимаю, где я.

— На Улице Трёх Лун, — Марта сняла тарелку с миски. Там был суп, густой, янтарный, с какими-то кореньями и кусками мяса. Запах ударил так, что у меня заурчало в животе. Я вспомнила, что последний раз ела вчера вечером: бутерброд с сыром в кабинете, над описанием проклятого яйца. — В Лавьере. Столица, если тебе интересно, хотя улица к столице имеет отношение довольно приблизительное. Ешь, говорю. На голодный желудок такие вещи не понимаются.

Я взяла ложку. Ложка была деревянная, с вырезанным на черенке полумесяцем. Суп был горячий и такой вкусный, что минут на пять я перестала думать. Марта сидела напротив, сложив руки на фартуке, и смотрела на меня поверх очков с выражением, которое я где-то уже видела. У бабушки так бывало, когда она смотрела, как я ем после школы, и одновременно мысленно перебирала, что сказать соседке.

— Вы знали Агату Лорис? — спросила я, когда миска опустела наполовину.

— Сорок лет, — кивнула Марта. — Сорок лет каждое утро, в половине восьмого, она приходила сюда за чаем с чабрецом и булкой с маком. Каждое утро, милая. Даже в тот день, когда... Ну. В тот последний день тоже пришла. Выпила чай, булку не доела. Сказала: «Марта, она скоро придёт». Я спросила, кто. Она говорит: «Наследница». Я говорю: «Агата, ты что, помирать собралась?» А она так посмотрела... Ешь пирожок. С капустой.

Я взяла пирожок.

— Она знала обо мне?

— Агата много чего знала, — Марта отвела глаза. Ненадолго, на долю секунды, но я это заметила. Моя работа, в сущности, и состоит в том, чтобы замечать, где у вещи шов. — Ты не думай, я не сплетничаю. Я вообще никогда не сплетничаю. Я просто обеспечиваю информационный обмен на улице. Это разные вещи.

— Конечно.

— Вот, например, господин Тиль из дома одиннадцать. Он съехал три года назад, потому что жена сбежала с капитаном речного буксира. Тем самым, чья чашка. Буксир назывался «Неустрасимый», а капитана звали Гаспар, и, между нами, он неустрасимым никогда не был, боялся пауков до обморока. Но это я не сплетничаю, это я тебе объясняю, почему одиннадцатый дом пустой. Понимаешь разницу?

— Понимаю, — произнесла я. Суп и пирожок делали своё дело: в голове прояснялось, а вместе с ясностью приходил страх, ровный и холодный, как вода в проруби. — Марта. Где Лавьер?

— Здесь.

— А где здесь? Это... Это какая страна? Это вообще...

Я не договорила. Слово «Земля» в этой чайной с её луной на вывеске звучало бы глупо. Марта поняла.

— Это не твоя страна, — мягко ответила она. — И не твой мир, если так тебе проще. Я в мирах не разбираюсь, я в пирогах разбираюсь. Агата говорила, что миров несколько, а улица когда-то стояла сразу во всех. Потом что-то случилось, и дороги позакрывались. А теперь улица открывается только перед тем, кому нужно... Ну. Как это Агата говорила. Второй раз.

— Второй шанс?

— Можно и так, — Марта пожала плечами. — Я сюда сорок лет назад пришла с одним узелком. Тоже, представь, ночью и в дождь. Правда, хоть в башмаках. А ты, гляжу, в тапочках.

— Я мусор выносила.

— Это бывает, — серьёзно сказала Марта. — Гаспара, к примеру, улица забрала прямо из бани. Ну, когда он сюда первый раз попал. Голого. Это было, конечно, неловко. Всем.

Я засмеялась. И снова со всхлипом, и снова заметила это слишком поздно. Марта не стала делать вид, что не заметила. Она перегнулась через стол, взяла мою руку в свою — маленькую, сухую, тёплую, с мозолью от ножа на указательном пальце — и сказала:

— Страшно?

— Да.

— Правильно. Было бы не страшно, я бы беспокоилась. Значит, голова на месте. Ничего. Ночь переночуешь, утром придёт Дария, всё объяснит. Дария всё объясняет. Иногда даже то, что не спрашивали.

— А как я понимаю, что вы говорите? Вы же говорите не по-русски. Я слышу... — я прислушалась. Действительно. Слова Марты звучали странно, мягко, с какими-то перекатами, а смысл приходил сам, как приходит смысл в знакомой песне, когда слушаешь не слова, а мелодию. — Я слышу, что это другой язык. Но я его понимаю.

— Улица переводит, — Марта махнула рукой. — Не спрашивай как. Агата говорила, что для тех, кому улица нужна, она делает всё понятным. Ну, кроме налогов. Налоги здесь непонятные для всех.

Она встала, пошла к стойке и вернулась с ключом.

Ключ был большой, железный, с узорной бородкой и кольцом размером с браслет. На кольце висела деревянная бирка, и на бирке выжжено: «7».

— Дом семь, — сказала Марта. — Агата оставила мне в тот день. Сказала: отдашь ей, когда придёт. Ещё сказала: «Пусть не боится. Лавка ей обрадуется». Я, правда, не знаю, как лавка радуется. Агата знала.

Я взяла ключ. Он был тёплым. Не от руки Марты — Марта держала его недолго. Тёплым изнутри, как камень, весь день пролежавший на солнце.

— Марта, — обратилась я к собеседнице. — Вы знали мою маму?

Марта посмотрела на меня. Очки у неё съехали на кончик носа, и глаза над ними оказались светлые, серые, очень внимательные. И, кажется, вдруг очень усталые.

— Это не мой разговор, милая, — ответила она. — Иди спать. Утром Дария.

И пока я соображала, как на это ответить, она уже несла мне сухую одежду: длинное шерстяное платье табачного цвета, широкое в поясе и коротковатое, и вязаные носки толщиной в палец. Переодевалась я за печкой, под презрительным взглядом рыжего кота. Платье пахло той же лавандой. Тапки мои Марта поставила сушиться на решётку у топки и сказала, что завтра отдаст, «если Гортензия не утащит, она обувь любит, хотя ей и некуда».

— Гортензия?

— Сорока. Ты её видела. Она старший оценщик.

— Чего?

— Лавки, — сказала Марта таким тоном, будто это всё объясняло. — Она сама так сказала. Ей сто двадцать лет, милая, с ней не спорят.

* * *

Ключ повернулся в замке лавки легко, с мягким щелчком, будто его ждали. Где-то наверху, над дверью, звякнул колокольчик — один раз, высоко и чисто, и звук этот не затих сразу, а долго дрожал в воздухе, расходясь кругами, как от камешка в воде.

Я вошла. Закрыла за собой дверь.

Внутри было темно, тепло и пахло. Пыль — да, но не та мёртвая пыль, которая лежит в запертых квартирах, а живая, сухая, пыль бумаги и ткани. Лаванда. Старое дерево, натёртое воском. Кожа. Металл. Что-то сладковатое, похожее на засохшие розы. Запах большой антикварной лавки, в которой я была десятки раз, — и всё-таки не совсем он. В антикварных лавках пахнет деньгами. Здесь пахло... Я не могла подобрать слова. Наверное, людьми. Множеством людей, которых тут не было.

— Свет справа от двери, — раздался голос сверху. — Камень в чаше. Постучи по нему. Два раза. Не один, не три. Два.

Я нащарила справа на стене что-то вроде медной чаши на кронштейне. В ней лежал гладкий камень размером с яйцо. Постучала по нему пальцем. Два раза.

Камень засветился. Сначала тускло, как уголёк, потом ровнее, желтее, и через несколько секунд в лавке стало светло, как от хорошей настольной лампы. Тени отступили к углам.

Я стояла и смотрела.

Лавка была больше, чем казалась с улицы. Узкий зал уходил в глубину, к дальней стене, где виднелись лестница наверх и низкая дверь. Справа тянулся прилавок — длинный, из тёмного дерева, с латунной окантовкой, с весами, медной кассой с круглыми клавишами и раскрытой огромной книгой в кожаном переплёте. А всё остальное пространство занимали полки.

Полки шли от пола до потолка, вдоль стен и поперёк, образуя проходы, и были заставлены так плотно, что не сразу удавалось различить отдельные вещи. Чашки. Подсвечники. Шкатулки. Шляпные коробки. Детские туфельки, связанные шнурками. Перчатки — одна, вторая, ещё одна, все непарные. Очки. Часы, настольные и карманные, и одни огромные, напольные, в углу, остановившиеся на без четверти четыре. Связки ключей. Книги. Ножницы. Свёрнутые платки. Игрушки: тряпичная кукла без глаза, жестяной солдатик, деревянная утка на колёсиках. Курительная трубка. Зонт. Ещё один зонт. Скрипка без струн. Веер. Брошь в виде стрелы. Пустая рамка для портрета. Табакерка. Подкова.

И к каждой вещи была привязана бирка. Маленький кусочек картона на нитке. Я подошла к ближайшей полке, осторожно, не прикасаясь, наклонилась и прочитала на бирке, привязанной к одной из перчаток:

Перчатка левая, лайковая, цвет беж. Забыта в омнибусе. Ждёт.

Соседняя бирка, на чашке с отбитой ручкой:

Чашка, фаянс, роспись — незабудки. Забыта при переезде. Ждёт.

Ещё одна, на жестяном солдатике:

Солдатик, олово, окраска утрачена частично. Забыт выросшим. Ждёт.

Почерк на бирках был разный. Некоторые — крупные, острые, торопливые. Некоторые — мелкие и круглые. Некоторые выплели до неразличимости, другие были свежими, словно написаны вчера.

— Это Агата писала? — спросила я.

— Отчасти, — ответили сверху. — Отчасти лавка сама. Отчасти те, кто был до Агаты. Не трогай пока ничего.

Я подняла голову. Гортензия сидела на верхней полке, на чём-то, похожем на бронзовый подсвечник в виде дерева, и смотрела на меня.

— Почему?

— Потому что ты устала, милочка, и ещё ничего не умеешь. Иди наверх. Там спальня. Агата застелила свежее. Перед тем как...

Она не договорила. Перебрала лапами, отвернулась к стене. Хвост у неё дёрнулся.

— Гортензия, — произнесла я. — Мне жаль. Про Агату.

— Тебе не может быть жаль, — ответила сорока сухо. — Ты её не знала.

— Мне жаль, что вам грустно.

Сорока не ответила. Повозилась на подсвечнике, переступая с лапы на лапу. Потом сказала, не оборачиваясь:

— Наверху справа. Ступенька третья скрипит. Пятая тоже. Седьмая — это уже из вредности.

* * *

Спальня оказалась маленькой комнатой с косым потолком, одним окном на улицу и узкой кроватью с медными шишечками. На кровати лежало стёганое одеяло из лоскутов, и каждый лоскут был другим — бархат, ситец, шёлк, полотно. На тумбочке стоял подсвечник с огарком, лежали очки в роговой оправе, раскрытая книга обложкой вверх и бумажный пакетик, в котором, судя по запаху, были сушёные яблоки. Над кроватью висела вышивка в рамке: три луны и надпись, которую я прочитала с некоторым усилием, будто улице понадобилось время, чтобы перевести:

Что было — помни. Что есть — живи. Что будет — выбирай.

Я села на край кровати.

Вот теперь, когда никто не смотрел — ни Марта, ни сорока, ни рыжий кот, — меня затрясло. Не сильно. Просто мелко, неостановимо, как трясёт машину на холостом ходу. Я обхватила себя руками. Платье Марты кололось шерстью.

Я в другом мире. Я в чужом доме. Я в домашних носках, в чужом платье, без телефона, без денег, без паспорта. Где-то там, за зелёной дверью, которая не открывается, в Купчино, на седьмом этаже, стоит на подоконнике фикус. Его некому поливать. Хозяйка квартиры через неделю пришлёт голосовое сообщение на шесть минут. Через месяц — придёт сама и найдёт мои вещи, чашку на столе, недопитый чай. И что подумает? Что я сбежала? Что я...

Меня никто не будет искать. Эта мысль была самой холодной. Лёша, может, напишет пару раз. Глеб — обрадуется. Подруг у меня... Подруги у меня были, когда-то. Потом стало много работы, потом — Глеб, потом — снова работа, и как-то так получилось, что последние три года на мой день рождения мне звонила только бабушкина соседка тётя Валя и почему-то каждый раз желала «женского счастья и чтобы не болели ноги».

Я сидела и не плакала. Я вообще плохо плачу, это у меня с детства. Бабушка говорила: «Ты как мать. Та тоже никогда не плакала, а потом взяла и ушла».

Спать было невозможно. Я честно легла, накрылась лоскутным одеялом, закрыла глаза — и тут же открыла. Дом скрипел. Не так, как скрипят старые дома, оседая на холод, а как-то иначе: внизу что-то еле слышно шуршало, переставлялось, тихо постукивало. Будто кто-то в соседней комнате медленно, очень аккуратно раскладывал на полках вещи.

Через полчаса я встала, взяла с тумбочки подсвечник — свеча зажглась сама, как только я до неё дотронулась, и это я тоже решила пока не обдумывать — и пошла вниз. Третья ступенька скрипнула. Пятая тоже. Седьмая издала звук, который можно было описать только как презрительное фырканье.

Внизу никого не было. Светильник у двери горел ровно, но слабее. Полки стояли там же, где стояли. И всё-таки что-то было не так. Я прошла вдоль прилавка, всматриваясь, и поняла:

зонт. Второй зонт, чёрный, мужской, с костяной ручкой. Час назад он висел на крючке у часов. Теперь он висел у двери.

— Гортензия? — позвала я шёпотом.

Ответа не было. Сорока, похоже, спала — или делала вид.

Я подошла к ближайшей полке. Свеча в моей руке трещала. На полке, на уровне глаз, лежала маленькая детская варежка, красная, вязаная, с белой снежинкой. Одна. К ней была привязана бирка:

Варежка, шерсть. Потеряна в метель. Ждёт.

Я не собиралась её трогать. Честное слово. Гортензия сказала — не трогай, а я всю жизнь проработала там, где «не трогай» — это закон, нарушив который можно оставить отпечаток на эмали за сто тысяч евро. Но варежка была такая маленькая. Такая обычная. В Петербурге такие варежки зимой висят на всех заборах вдоль детских площадок, и прохожие поднимают их из снега и цепляют на штaketник повыше, чтобы хозяин нашёл.

Я протянула руку и коснулась её кончиками пальцев. Просто чтобы поправить. Она лежала криво.

Мир дёрнулся.

Снег. Много снега, белого и колючего, он летит в лицо, забивается в рот, в глаза, и ничего не видно, только белое и серые столбы фонарей. Ветер. Холодно так, что болят зубы. Маленькая рука, моя рука, только не моя, совсем маленькая, мёрзнет, ужасно мёрзнет, потому что варежки нет, варежка где-то там, в белом, и мама кричит, мама кричит имя, не моё имя, чужое, и голос её рвётся, а я не могу ответить, потому что снег во рту...

А потом — руки. Большие, тёплые руки хватают меня, прижимают к шерстяному пальто, пахнущему дымом, и голос — мамин, не мамин, тот самый голос — плачет и смеётся одновременно, и говорит: «Нашлась, нашлась, нашлась...» И варежки нет, но это неважно, совсем неважно, потому что...

Я сидела на полу.

Не помню, как я там оказалась. Подсвечник валялся рядом, свеча погасла. Пальцы горели, как от крапивы. В голове звенело. И по губе текло что-то тёплое. Я поднесла руку к лицу — кровь. Из носа.

— Ох, — произнесли надо мной. — Ох, милочка. Ну я же говорила.

Гортензия спланировала с полки и села рядом со мной на пол. Близко-близко. Склонила голову, разглядывая моё лицо.

— Что это было? — прошептала я. Голос не слушался. — Что это... Там была девочка. Метель. Её мать...

— Дар, — сказала Гортензия. Голос у неё был странный: и довольный, и испуганный одновременно. — Я так и знала. Агата говорила, что у Лорисов он через поколение, а у Ирэны его не было, совсем не было, ни капельки, она даже пуговицу не могла по памяти найти. А у тебя есть. Вот так сразу. Варежку. Ох, милочка.

— Я не понимаю.

— Ты оценщица.

— Я знаю, что я оценщица. Я восемь лет...

— Нет, — перебила сорока. — Ты не знаешь. Ты думала, что ты оценщица, потому что умеешь определять, сколько вещь стоит. А ты оценщица, потому что можешь узнать, чего она стоила. Тому, кто её забыл. Это разное, милочка. Совсем разное.

Я посмотрела на варежку. Она по-прежнему лежала на полке — красная, маленькая, с белой снежинкой. Теперь ровно. Наверное, я всё-таки её поправила.

Мне было страшно. Не так, как в чайной, когда страх был ровным и холодным и его можно было отложить на потом. Сейчас страх был горячим, он сидел в горле и мешал дышать. Это не сон. Сны не пахнут снегом. Сны не оставляют на пальцах ожога. Это не нервный срыв:

на нервном срыве не бывает кровотечения из носа и чужой матери, которая кричит в метели чужое имя. Это всё — по-настоящему. И я — тоже здесь по-настоящему, в мире, где вещи помнят, а я могу эту память трогать. И мне это не понравилось. Это было как засунуть руку в чужой карман и нащупать там чужое сердце.

Я сидела на полу и боялась. Просто боялась, не пытаясь ничего с этим делать.

Гортензия помолчала. Потом, неловко переступая, подобралась ещё ближе и прислонилась боком к моему колену. Перья у неё были тёплые и неожиданно мягкие.

— Нашлась она, — произнесла сорока, глядя в сторону. — Девочка эта. Если ты хотела знать. Тридцать лет назад. Варезка с тех пор и ждёт. Девочка уже бабушка, наверное. Придёт когда-нибудь.

— За варезкой?

— За тем, что в варезке. — Гортензия вздохнула. Я не знала, что сороки умеют вздыхать.

— Не бойся. Они не кусаются. В основном.

— В основном?

— Есть одна табакерка, — сказала сорока уклончиво. — Но она на верхней полке.

Я засмеялась. В третий раз за вечер со всхлипом, но теперь мне было всё равно. Вытерла нос рукавом чужого платья — Марта простит, наверное. Посидела ещё, прислонившись спиной к полке. Вокруг тихо шуршало, переставлялось, вздыхало. Вещи устраивались на ночь.

В какой-то момент мне на плечи легло что-то мягкое. Я вздрогнула, повернула голову. Шаль. Большая, вязаная, серая, с кистями. Секунду назад она лежала на соседней полке, свёрнутая, — я её видела, у неё была бирка. Теперь она лежала на мне. Бирка висела у моего уха, и я скосила глаза, чтобы прочесть:

Шаль, шерсть. Забыта на скамейке в парке. Ждёт.

Ниже, другим почерком, мелким и круглым, свежими чернилами было приписано:

Пока что — греет.

— Это ты? — спросила я Гортензию.

— У меня лапки, — ответила сорока. — Это лавка. Я же говорила: она тебе рада.

Я закуталась в шаль. Голова больше не звенела. В окне, в тёмном стекле, висели три луны — серебряная, золотая и чёрная, — и вокруг чёрной светился тонкий ободок, как край монеты, которую кто-то держит ребром. Последнее, что я помню, перед тем как уснуть прямо там, на полу, между полками, — это звук. Колокольчик над дверью звякнул один раз, тихо, сам по себе.

Как будто кто-то вошёл. Или вернулся.

Глава 3. Условия наследства

Проснулась я от того, что мне в ухо сказали:

— Без четверти восемь.

Я открыла глаза. Надо мной был потолок — низкий, с тёмными балками, в одной из которых торчал старый крюк. Под щекой — пол, а точнее, свёрнутый край шали. Шея затекла так, что поворачивать голову пришлось в три приёма.

Гортензия сидела на прилавке, как часовой, и смотрела на меня.

— Без четверти восемь, — повторила она. — Дария приходит в девять. Ровно в девять, милочка, не в без одной минуты и не в одну минуту десятого. Агата однажды не успела причесаться к её приходу, так Дария стояла на пороге и ждала, пока она закончит. Молча. Я тогда линяла от нервов.

— Доброе утро, — сказала я. Голос был хриплый.

— Доброе, — согласилась Гортензия и добавила, подумав: — Орехи в жестяной банке под прилавком. Агата давала мне три утром и три вечером. Иногда пять. По праздникам.

— Сегодня праздник?

— Сегодня наследница вступает в права, — сорока задрала клюв. — По-моему, это праздник.

Я достала из-под прилавка жестяную банку с нарисованной на крышке белкой и отсчитала пять лесных орехов. Гортензия взяла их по одному с моей ладони, аккуратно, как дама берёт пирожные со светского блюда, и спрятала куда-то в недра верхних полок. Потом вернулась и съела шестой, который я не давала.

— Это был мой, — сказала она, когда я посмотрела. — Я его там ещё в прошлом месяце спрятала.

Комната при дневном свете оказалась менее загадочной и более пыльной. Солнце пробивалось сквозь витрину полосами, в которых плавали золотые пылинки. Полки стояли на своих местах — я проверила: и зонт был у двери, и шаль, когда я сложила её и вернула на полку, легла точно туда, откуда пришла, и сама расправила кисти. Варезку я обошла стороной.

В двери постучали. Я вздрогнула и посмотрела на часы — большие, напольные, в углу. Без четверти четыре. Они не шли.

— Это Марта, — произнесла Гортензия. — Марта стучит в два удара. Дария стучит в три. Остальные стучат как придётся, их не запоминаю.

Это была Марта. С корзинкой, накрытой полотенцем, и с моими тапками под мышкой — сухими и тёплыми.

— Чай с чабрецом, — сказала она, проходя мимо меня к прилавку и выкладывая на него всё из корзинки. — Булка с маком. Масло. Яйца, я сварила всмятку, ешь сразу, а то остынут. Сыр. Если ты такое не ешь, то я не знаю, что ты ешь, но потом скажешь. Гортензия, кыш от сыра.

Гортензия отодвинулась от сыра на полкорпуса. Не больше.

— Марта, — произнесла я. — У меня нет денег.

Марта остановилась. Посмотрела на меня поверх очков, как на ребёнка, который сказал за обедом что-то неприличное.

— Да кто ж с тебя возьмёт в первый день, — ответила она. — Потом будешь платить. Агата брала у меня в долг весь последний год, а потом расплачивалась разом, в конце месяца. Пятнадцать серебрушек. Вечно ворчала, что дорого, и вечно ела две булки, а не одну. Ешь давай. Дария не любит, когда принимают с крошками на лице.

Я ела быстро. Не из-за Дарии — просто опять оказалось, что голодна. Чай был горячий и пах летом. Булка — мягкая, с хрусткой корочкой, внутри мак, сладкий, с мёдом. Яйца я разбила

ложкой, как бабушка учила, и зачерпнула жёлтое. На секунду, на одну короткую секунду, мне было хорошо. Просто хорошо, без всяких поправок.

Марта посмотрела на это и, кажется, осталась довольна. Ушла она без пяти девять, сказав, что не будет мешать, и добавив уже от порога:

— И не верь, если Дария скажет, что всё просто. У неё всё просто. А потом три года по судам.

* * *

В девять колокольчик над дверью звякнул. Ровно. Я как раз успела смахнуть крошки с прилавка в ладонь и вытереть ладонь о платье, что, конечно, было плохой идеей.

Нотариус Дария Вель оказалась высокой. Выше меня на голову, а я не маленькая. Худая, прямая, как трость, на которую она, впрочем, не опиралась, а носила её под мышкой, будто это был элемент делового костюма. Костюм был чёрный, строгий, с высоким воротником, застёгнутым до подбородка. Волосы — стального цвета, коротко подстриженные. Лицо узкое, длинное, с тонким носом и тонкими губами, и на этом лице не было ни одной лишней эмоции. Ни одной лишней морщины. Возраст я определила бы как «около пятидесяти, отличная сохранность». На груди, на тонкой серебряной цепочке, у неё висел медальон — овальный, тусклый, старый.

В руке она держала кожаную папку.

— Госпожа Соколова, — сказала Дария Вель. — Дария Вель, нотариус. Я пришла по вопросу наследства. Вы позволите?

— Да. Конечно. Проходите.

— Благодарю.

Она прошла к прилавку, положила папку, сняла перчатки — по одному пальцу, неторопливо — и положила их поверх папки. Потом посмотрела на Гортензию.

Гортензия, которая ещё минуту назад сидела на прилавке, рядом с сыром, оказалась на третьей сверху полке, в глубине, между двумя шляпными коробками. Я даже не заметила, когда она туда переместилась.

— Доброе утро, госпожа Гортензия, — сказала Дария.

— Доброе, — пискнула сорока. Не своим голосом. Совсем не своим.

Дария кивнула, будто отметила что-то в уме, и раскрыла папку.

— Давайте начнём с главного. Вы получили моё письмо.

— Получила.

— Прочитали.

— Да.

— Последовали инструкции.

— Я выносила мусор, — ответила я. — Не уверена, что это можно назвать следованием инструкции.

— Можно, — кивнула Дария. — Я сформулировала инструкцию достаточно широко. Вы взяли письмо в руку, открыли дверь и подумали о том, что вам нечего терять. Всё остальное — детали.

— А если бы я не подумала?

— Тогда вы бы вынесли мусор, — Дария перевернула страницу. — Это случается чаще, чем вы полагаете. Людям, как правило, есть что терять. Или им так кажется. Улица уважает их заблуждения. Приступим.

И мы приступили.

Я, как выяснилось, была единственной наследницей госпожи Агаты Лорис, двоюродной бабушки по материнской линии. Сестры моего деда, которого я никогда не знала. Агате было восемьдесят семь лет. Она умерла во сне, в своей постели наверху, в день осеннего равноденствия, около полудня, — и у меня мелькнула мысль, что я, наверное, сплю именно на той кро-

вати. Мелькнула и ушла. Покойники меня не пугали; меня пугали живые, которые сидят на чужих наследствах.

В наследственную массу входили: дом номер семь по Улице Трёх Лун, четыре этажа, считая подвал и чердак; торговое помещение с оборудованием («прилавок дубовый — один, весы латунные — одни, касса механическая — одна»); жилые комнаты; содержимое лавки («неисчислимо», значилось в описи, и я впервые видела, чтобы нотариус написал в официальной бумаге слово «неисчислимо»); наличные средства в кассе — три кроны семь серебряшек и четыре медяка.

— Это много? — спросила я.

— Это примерно на две недели, если покупать хлеб и молоко, а у Марты брать в долг, — ответила Дария. — Агата не держала денег. Агата держала вещи.

— А обязательства?

Дария посмотрела на меня. Впервые за всё время в её взгляде что-то промелькнуло. Одобрение, кажется. Короткое, как вспышка фотоаппарата.

— Вы спрашиваете про обязательства, — улыбнулась она. — Хорошо. Наследники обычно спрашивают, сколько стоит дом.

— Сколько стоит дом, я пойму, когда пойму, где он стоит, — честно ответила я. — А вот за долги иногда сажают.

— Здесь не сажают, — сказала Дария. — Здесь отбирают имущество. Вот перечень.

Перечень был на отдельном листе, и я читала его медленно, слово за словом, потому что за восемь лет работы видела достаточно наследств, которые сначала выглядели как подарок, а потом как приговор.

Первое. Налог на недвижимость и торговлю в казну города Лавьер. Задолженность за шесть лет. Сумма — триста сорок крон.

— Триста сорок, — повторила я. — А сколько у вас стоит... Ну, к примеру, снять комнату?

— Приличная комната в приличном квартале — четыре кроны в месяц.

Я посчитала. Семь лет аренды. Ладно, почти семь.

— Агата не платила налоги шесть лет?

— Агата считала, что налоги на улицу, которой не существует, платить нелогично.

— А улицы не существует?

— С точки зрения Земельной управы города Лавьер — нет, — Дария сказала это ровно, будто сообщала, что сегодня вторник. — Улица Трёх Лун не значится в реестре улиц, кварталов и владений. Она не значится в нём двести одиннадцать лет. Однако Казначейство ведёт собственный реестр и исходит из того, что раз в доме семь торгуют, значит, дом семь существует, а раз он существует, то должен платить. Земельная управа и Казначейство не разговаривают друг с другом с прошлого царствования.

— То есть меня обязывают платить налог за дом на улице, которой официально нет.

— Именно.

— А зарегистрировать торговлю на этой улице я могу?

— Не можете. Для регистрации торговли нужен адрес. Адреса у вас нет.

— Но налог...

— Налог взимается по факту торговли, а не по адресу. Это разные ведомства, госпожа Соколова.

Я посмотрела на неё. Она посмотрела на меня. С верхней полки донёсся слабый звук — то ли Гортензия чихнула, то ли хихикнула.

— Хорошо, — ответила я. — Второе.

Второе было условием. Не завещательным, а городским, из какого-то древнего закона о наследовании торговых домов. Наследник, получающий торговое заведение, обязан вступить

в права и подтвердить ведение дела — то есть погасить долги заведения и иметь на руках действующее торговое разрешение — до истечения срока, который в Лавьере исчисляли по лунам. Срок истекал в Ночь Чёрной Луны.

— Когда это?

— Через пятьдесят два дня.

— А если я не успею?

— Дом признают выморочным имуществом и выставят на городские торги, — Дария извлекла из папки ещё одну бумагу. — Относительно этого есть ещё кое-что, что вам следует знать. В Земельную управу уже подано прошение о покупке дома семь в случае его признания выморочным. От имени аукционного дома «Марро».

Я взяла бумагу. Плотная, хорошая, с тиснёным гербом — какая-то птица с весами в когтях. Текст был составлен грамотно, с нужными оборотами, с почтением к городским властям и с суммой, которую податель обязался внести «сверх оценочной стоимости, в знак уважения к памяти покойной владелицы и в целях сохранения исторического облика». Подпись — размашистая, уверенная: «А. Марро».

Я прочитала текст. Потом перечитала. Потом посмотрела на дату.

— Дария, — произнесла я. — Какое сегодня число?

— Седьмое число месяца листопада.

— А когда умерла Агата?

— В день равноденствия. Двадцать второго числа месяца вереска.

— Сколько дней в месяце вереска?

Дария не ответила сразу. Она смотрела на меня, и в её неподвижном лице снова было это короткое движение — вспышка.

— Тридцать, — ответила она.

— Тогда это прошение подано за два дня до её смерти, — я положила бумагу на прилавок и придвинула к ней, развернув датой. — Двадцатое вереска. Господин Марро просит продать ему выморочное имущество госпожи Лорис, пока госпожа Лорис ещё жива.

Тишина в лавке стала другой. Даже пылинки в солнечных полосах, кажется, замерли.

— Я обратила на это внимание, — кивнула Дария наконец. — Господин Марро в объяснительной записке указал, что это техническая ошибка его секретаря. Дата перепутана.

— Возможно, — ответила я. — Секретари ошибаются. А когда эта бумага поступила в управу?

Дария молча указала пальцем на штамп в углу. Входящий номер, дата. Двадцать первое вереска.

— Значит, секретарь ошибся датой, — задумчиво произнесла я. — А потом бумагу отнесли в управу на следующий день, но тоже до смерти. Это уже две ошибки. Две ошибки подряд — это не ошибка, Дария. Это привычка.

— Вы, — медленно сказала Дария. — Читаете документы.

— Я восемь лет читала документы, по которым вещь стоимостью в квартиру переходила из рук в руки. Если не читать, остаёшься без квартиры. Или без работы.

— Агата не читала, — произнесла Дария. Это прозвучало не как упрёк, а как констатация. — Агата говорила, что бумаги врут, а вещи — нет. Отчасти она была права.

— Отчасти, — согласилась я. — Вещи тоже врут. Просто дольше.

Мы посмотрели друг на друга. Кажется, это был первый момент, когда мы друг другу понравились. Ну, или хотя бы друг друга оценили.

— Третье, — сказала Дария, и голос у неё стал чуть мягче. Самую малость. — Правила лавки.

Правила были вписаны в первую страницу той огромной книги, что лежала на прилавке. Книга оказалась гроссбухом — учётной книгой, — с кожаным переплётом, с медными угол-

ками, толщиной в два моих кулака. Первые страницы были плотные, желтоватые, и почерк на них менялся: сначала — летящий, старинный, с длинными хвостами у букв, потом — другой, потом — третий. Последние записи сделала, видимо, Агата: острый, торопливый почерк, тот же, что на некоторых бирках.

Правила были пронумерованы. Их было шесть.

Первое. Вещь отдаётся тому, кому она нужна. Не тому, кто хочет, и не тому, кто большие заплатит.

Второе. Цена вещи — то, что человек готов за неё отдать. Это не всегда деньги.

Третье. Не отдавай вещь тому, кто хочет обратить её против того, кто её забыл.

Четвёртое. Не трогай вещи без нужды. Они это чувствуют.

Пятое. Подвал не открывать.

Шестое было написано другим почерком. Крупным, корявым, неровным, как будто писали не пером, а... Я наклонилась ближе.

Шестое. Сороку кормить орехами, а не обещаниями.

Я медленно подняла голову к верхней полке.

— У меня лапки, — сказала оттуда Гортензия. Своим голосом. — Но, если очень постараться, — когти.

Дария смотрела на это без выражения. Я решила, что это у неё, наверное, и есть выражение.

— Почему нельзя открывать подвал? — спросила я.

— Это одно из немногих правил, которые не нуждаются в объяснении, — ответила Дария. — Их выполняют.

— Мне это не нравится.

— Это не обязано вам нравиться, — Дария закрыла папку. — Последнее. Вы, вероятно, хотите знать, можете ли вернуться.

Я хотела. Я хотела этого так сильно, что до этой секунды не позволяла себе об этом думать. Потому что если бы позволила, то пришлось бы признать, что мне, вообще-то, не очень есть куда.

— Да, — прямо ответила я.

— Можете. Один раз, — Дария говорила спокойно и ровно, как зачитывают пункт договора. — Улица привела вас. Улица отпустит. Дверь, через которую вы пришли, откроется ещё раз — в Ночь Чёрной Луны. В полночь. Если вы пройдёте через неё, вы окажетесь там, откуда пришли, в тот самый вечер, с тем самым пакетом. Почти без потери времени. Улица аккуратна.

— А если не пройду?

— Тогда останетесь здесь.

— Насовсем?

— Насколько мне известно, — произнесла Дария. — Да. Других дверей нет. Дороги закрыты.

— Какие дороги?

Дария не ответила. Она смотрела на меня, и рука её — я заметила — коснулась медальона на груди. Коротким жестом, почти незаметным, как люди трогают крестик или обручальное кольцо, когда о них не думают.

— Это не по моей части, — ответила она.

— Дария, — сказала я. — Моя мать. Ирэна Лорис. Вы её знали?

— Знала.

— Она была отсюда?

— Она родилась в этом доме, — Дария убрала перчатки с папки. — В комнате на третьем этаже, окнами во двор. Агата принимала роды сама, потому что повитуха застряла в арке.

Ирэна ушла через ту же дверь, что и вы, тридцать пять лет назад. Остальное — не мой разговор, госпожа Соколова.

— Почему все мне это говорят? — голос у меня сорвался, я это услышала и разозлилась ещё больше. — Марта говорит: «Не мой разговор». Вы говорите: «Не по моей части». Сорока молчит, хотя она, кажется, вообще никогда не молчит. Кто-то же должен мне рассказать? Чей это разговор?

Дария помолчала. Потом сказала, и голос её впервые стал по-настоящему другим, не мягче даже, а глубже:

— Её. Вашей матери. А её здесь нет. Есть вещи, госпожа Соколова, которые никто не имеет права пересказывать за другого. Даже из лучших побуждений. Особенно из лучших. Вы поймёте. Лавка вам поможет.

— Лавка, — повторила я. — Вы говорите о ней, как о человеке.

— Нет, — покачала головой Дария. — Я говорю о ней, как о лавке. Это вы пока думаете о ней как о здании.

Она снова раскрыла папку и выложила передо мной последние бумаги: заявление о принятии наследства, опись, обязательство. Пододвинула чернильницу.

— Прошу. Если вы решите принять наследство. Если нет — я оставлю вам бумагу об отказе, она понадобится в Ночь Чёрной Луны, чтобы улица вас отпустила без претензий.

Я взяла перо. Оно было стальное, острое, непривычное. Повертела в пальцах.

Пятьдесят два дня. Долг в триста сорок крон. Три кроны в кассе. Улица, которой нет. Лавка, полная чужих воспоминаний, от одного прикосновения к которым у меня идёт носом кровь. Покупатель, который подал прошение раньше, чем хозяйка умерла. И дверь, которая откроется один раз.

Я могла подождать. Прожить эти пятьдесят два дня тихо, есть Мартины булки, отдать долг — ну, сколько смогу, — и в полночь Чёрной Луны уйти обратно в свой подъезд, к контейнерам и кошке Дусе. Вернуться в тот самый вечер. Будто ничего не было. И завтра — поискать работу в ломбарде. Если Глеб не написал служебную записку.

Или могла...

— Я прочитаю всё, — произнесла я. — Можно?

— Нужно, — кивнула Дария.

Я читала сорок минут. Заявление было на полстраницы. Опись — на семь. Обязательство — на две, но с приложением. В приложении, мелким шрифтом, нашлось, что наследник принимает на себя «все обязательства лавки перед лицами, оставившими в ней вещи, буде таковые лица явятся», и это показалось мне странным, но справедливым. Ещё там нашлось, что в случае неисполнения условий до Ночи Чёрной Луны «содержимое лавки подлежит передаче покупателю вместе с домом», и это мне не понравилось совсем.

Всё это время Дария стояла у прилавка, не садясь — я ей не предложила, сообразила только через полчаса, предложила, она ответила «благодарю, я постою», — и ждала. Гортензия сидела на полке и не шевелилась. Где-то в глубине лавки тихо тикали несколько часов из тех, что ещё шли. Солнечные полосы на полу медленно ползли вправо.

Наконец я подняла голову.

— Пункт семь приложения, — произнесла я. — «Содержимое лавки подлежит передаче покупателю вместе с домом». Значит, если я не справлюсь, господин Марро получит не только дом, но и всё это. — Я обвела рукой полки. — Всё, что здесь лежит и ждёт.

— Да.

— И правила? Правила тоже перейдут?

— Правила, — ответила Дария. — Перейдут с лавкой. Но господин Марро не обязан будет их выполнять. Закон Лавьера не признаёт правил, вписанных в грессбух, за юридическую норму.

Я посмотрела на варежку. Она лежала на полке, красная, маленькая. Ждала. Тридцать лет ждала девочку, которая нашлась в метели.

Я подумала о том, какую цену господин Марро назначил бы на эту варежку. Подумала о том, кто купил бы её и зачем. Подумала о человеке, который подаёт прошение на дом за два дня до смерти хозяйки и потом дважды ссылается на ошибку секретаря.

И подумала ещё — уже не как оценщица, а просто так, — что сегодня утром я ела булку с маком и мне было хорошо. Целую секунду.

Я обмакнула перо в чернильницу и подписала заявление.

— Я остаюсь. До Ночи Чёрной Луны. Посмотрим, что получится.

Дария взяла бумагу, просушила подпись промокательной бумагой, сложила в папку.

— Это временно, — добавила я. Не ей, а скорее себе. — Просто чтобы разобраться.

— Разумеется, — сказала Дария Вель.

Сказала она это совершенно ровно. Без единой интонации. И именно поэтому я почти услышала, как где-то на верхней полке Гортензия давится смехом в шляпную коробку.

Дария надела перчатки — по одному пальцу. Взяла трость под мышку. Пошла к двери.

На пороге она остановилась, не оборачиваясь.

— Госпожа Соколова. Я живу и работаю в доме два, в начале улицы, у арки. Открыто с девяти до пяти, перерыв с часу до двух. В перерыв я не принимаю. Если понадобится что-то срочно, в любое другое время — стучите три раза.

— Спасибо.

— И ещё, — она чуть повернула голову, и я увидела её профиль, острый, как на старинной монете. — Ваша мать тоже говорила: «Это временно».

Колокольчик звякнул. Дверь закрылась.

Я так и осталась стоять у прилавка с пером в руке. Потом медленно положила перо на подставку. Посмотрела на Гортензию. Гортензия смотрела в стену с таким видом, будто там было что-то необыкновенно интересное.

— Что это значит? — спросила я.

— Это значит, — ответила сорока. — Что Дария сегодня в хорошем настроении. Обычно она уходит, не прощаясь.

Я хотела сказать что-то ещё. Что-нибудь резкое — про то, что меня окружают люди и птицы, которые знают о моей жизни больше, чем я, и считают, что это нормально. Но не сказала. Потому что в этот момент посмотрела на прилавок.

Утром, когда я сметала крошки после завтрака, на прилавке не было ничего, кроме гроссбуха, весов и кассы. Я помнила это точно. Я ещё протёрла латунную окантовку рукавом, потому что на ней было пятно.

Теперь рядом с весами лежало кольцо.

Золотое, гладкое, тонкое, без камня. Обручальное. Немного стёртое с одной стороны — так стираются кольца, которые не снимают годами. К нему была привязана бирка, и почерк на бирке был свежий, мелкий и круглый, тот же, что ночью на шали.

Кольцо обручальное, золото. Забыто той, что забывает себя. Ждёт.

Я не стала его трогать. Не потому, что боялась крови из носа, хотя и поэтому тоже. А потому, что, даже не касаясь, даже стоя в двух шагах, я чувствовала от него — не знаю, как это назвать. Холод. Тоску. Такую тяжёлую, что она давила на виски.

— Гортензия, — тихо произнесла я. — Откуда это?

Сорока спустилась на прилавок. Осторожно, боком, обошла кольцо по широкой дуге, разглядывая. Перья у неё на загривке приподнялись.

— Не знаю, — сказала она, и это, кажется, было для неё самое неприятное признание за много лет. — Его не было. Я бы знала. Я всё знаю. Оно пришло сейчас. Пока вы с Дарией бумажки подписывали.

— Так бывает?

— Бывает, — ответила Гортензия неохотно. — Вещи приходят, когда их забывают. Только обычно ночью, тихо, и обычно они не такие... — она поискала слово. — Не такие тяжёлые.

Глава 4. Инвентаризация

Когда не знаешь, что делать, — составь опись.

Это правило я вывела для себя на втором году работы, когда мне впервые принесли на экспертизу содержимое целой квартиры. Квартира была на Петроградской, хозяин умер, наследники — трое детей от разных браков — ненавидели друг друга так, что делить вещи согласились только через независимого эксперта. Я тогда стояла посреди гостиной, заставленной шкафами, комодами, горками и этажерками, и чувствовала себя ребёнком на берегу моря, которому велели пересчитать песок. А потом взяла блокнот и начала с левого угла.

Через неделю наследники получили сорок страниц описи с фотографиями, датировками и оценками. Ещё через неделю двое из троих впервые за двадцать лет сели вместе пить чай — над бабушкиным сервизом, который никто не хотел отдавать. Опись тут была ни при чём, конечно. Но мне нравилось думать, что немного при чём.

Здесь у меня не было ни фотоаппарата, ни компьютера, ни даже нормального блокнота. Зато под прилавком нашлась стопка серой обёрточной бумаги, огрызок графитового карандаша и нож, чтобы его точить. И пятьдесят два дня. Нет, уже пятьдесят один: пока Дария читала со мной бумаги, прошёл почти весь вчерашний день, а сегодняшнее утро я потратила на то, чтобы вымыть пол наверху и понять, как работает местный водопровод. Водопровод работал, но с характером: горячая вода текла только после того, как постучишь по трубе, а холодная — только если не стучать.

Кольцо я убрала. Не руками — взяла его через носовой платок, найденный в ящике прилавка, и переложила в маленькую деревянную коробочку с бархатным дном. Коробочку поставила на дальний край прилавка. Даже через платок пальцы заломило холодом, а виски сдавило, будто я надела тесную шапку.

— Ты собираешься всё это записывать? — спросила Гортензия, наблюдая за тем, как я расчерчиваю лист бумаги на столбцы.

— Да.

— Всё?

— Всё.

— Агата ни разу не записывала всё.

— Поэтому у неё в описи написано «неисчислимо».

Гортензия подумала.

— Это оскорбление?

— Это констатация, — я провела последнюю линию. Столбцы: номер, наименование, материал, состояние, место на полке, примечание. Колонку «оценка» я пока оставила пустой. Оценивать вещи, к которым я боюсь прикоснуться, было бы непрофессионально. — Если я хочу, чтобы этот дом не забрал господин Марро вместе со всем содержимым, я должна знать, что здесь есть. Это первое. Второе — мне нужны деньги. Триста сорок крон. Значит, что-то придётся продавать.

— Ты не можешь продавать вещи, — сказала Гортензия. — Правило первое. Вещь отдаётся тому, кому она нужна.

— Значит, я найду тех, кому они нужны.

— А если им не нужно?

— Значит, буду искать дальше, — я взяла карандаш. — Гортензия, я восемь лет занималась тем, что искала, кому нужна вещь, которую больше никто не хочет. Ты не представляешь, сколько на свете людей, которые ищут ровно ту чайную ложку, которой у них не хватает в комплекте.

Сорока посмотрела на меня с новым интересом. Потом слетела на полку, где лежала связка столового серебра, перевязанная бечёвкой, и задумчиво склонила голову над ложками.

— Не смей, — сказала я сороке.

— Я просто смотрю.

— Смотри с расстояния в полметра.

Гортензия обиженно отошла на расстояние в полметра. Ровно. Я проверила.

* * *

Левый угол у входа. Полка первая снизу.

Зонт мужской, чёрный, ткань — шёлк, ручка — кость, спицы — сталь, частично погнуты.

Бирка: «Забыт у театра». Место: крючок у двери. (Примечание: накануне висел у часов.)

Зонт дамский, серый, ткань — хлопок, ручка — дерево, лакированное. Бирка: «Забыт под дождём, когда дождь кончился». Место: крючок у двери.

Галоши, пара, резина. Размер — маленький. Бирка: «Забыты в гостях». Место: пол.

Я писала, не касаясь вещей пальцами. Где нужно было перевернуть или подвинуть, я брала их через платок или поддевала карандашом. Это замедляло работу втрое, но после варежки мне не хотелось рисковать. Вещи вели себя смирно. Почти все.

К обеду я описала две полки по левой стене. Шестьдесят три предмета. Перчатки, шарфы, носовые платки, пуговицы в жестянке (пуговицы я считала отдельно и сбилась на двухсот двенадцати, после чего записала: «пуговицы разные, ок. 200, жестянка из-под леденцов»), три пенсне, детская погремушка, пояс от платья без платья, пять разных ключей на общей верёвочке, щётка для волос, губная гармошка. Всё старое, всё потёртое, всё — с бирками. Некоторые бирки были совсем истлевшие, и я их записывала как «бирка нечитаема». Одна бирка гласила: «Забыт нарочно. Не ждёт». Под ней лежала мужская фетровая шляпа с широкими полями. Бирка мне показалась самой честной из всех.

Я спустилась с табуретки, потянувшись, хрустнув спиной, и пошла к началу, чтобы свериться.

Первая полка снизу, левый угол.

Зонт мужской, чёрный, — на месте.

Зонт дамский, серый, — на месте.

Галоши — на месте.

Подставка для яиц, фарфоровая, в виде курицы...

Подставки для яиц в виде курицы в моём списке не было.

Я перечитала список. Перечитала ещё раз. Посмотрела на полку. Курица смотрела на меня нарисованным глазом. К её фарфоровой лапке была привязана бирка: «Забыта на даче. Ждёт». Чернила свежие.

— Гортензия.

— Не я, — немедленно ответила сорока с верхней полки. — У меня лапки.

— Я знаю, что не ты. Она здесь была утром?

— Нет. Она пришла, пока ты описывала пенсне. Я видела.

— И ничего не сказала?

— Ты была очень занята, — Гортензия перебрала лапами. — И у тебя было такое лицо...

Агата так делала, когда считала деньги. Её тоже нельзя было отвлекать.

Я вписала курицу в конец списка. Номер шестьдесят четыре. Поставила рядом звёздочку и пометку: «Пришла в процессе». Потом подумала, и в самом верху листа приписала мелко: «Инвентаризация не окончательна. Объект пополняется самостоятельно».

Через полчаса, когда я дошла до следующей полки и снова вернулась к началу, оказалось, что из списка исчезли две вещи. Вернее, не из списка — список был на месте, — а с полки. Ложечка для соли, серебряная, позолоченная внутри, и одна пуговица — перламутровая, с

латунной ножкой, которую я специально вынула из жестянки и описала отдельно, потому что она была красивая.

Я медленно повернулась и подняла голову.

Гортензия сидела на подсвечнике в виде дерева, и у неё был такой невинный вид, какой бывает только у очень виноватых.

— Гортензия.

— Я не брала.

— Пуговицу.

— Не брала.

— И ложечку.

— Ложечку, — с достоинством сказала сорока. — Я не брала. Я взяла её на хранение.

Ей было неудобно на полке. Там сквозняк.

— А пуговица?

Сорока помолчала.

— Пуговице тоже было неудобно.

— Верни.

— Это моя доля.

— Какая доля?

— Доля старшего оценщика, — Гортензия выпрямилась, расправив хвост. — Агата мне всегда платила долю. Одну вещь в неделю. На мой выбор.

— Агата тебе платила одну вещь в неделю, — повторила я. — Из лавки, где правило номер один — отдавать вещь тому, кому она нужна.

— Мне она нужна.

— Зачем тебе пуговица?

— Она красивая, — сказала Гортензия так, будто это был исчерпывающий ответ. И, если подумать, это и был исчерпывающий ответ. Я сама полчаса назад отложила эту пуговицу именно поэтому.

Мы смотрели друг на друга. Сорока не моргала. Я — тоже.

— Хорошо, — сказала я. — Пуговица — твоя. Ложечку — верни.

— Ложечку — завтра.

— Сегодня.

— Ей ещё неудобно.

— Гортензия, если я не найду триста сорок крон, господин Марро получит этот дом вместе с тобой. Как ты думаешь, он будет платить тебе одну вещь в неделю?

Сорока перестала перебирать лапами. Перья на загривке приподнялись, а потом медленно опали. Она долго смотрела на меня, и в её чёрных глазах я снова увидела крошечные серебряные отблески.

Потом она молча нырнула куда-то за подсвечник, повозилась там и вынырнула с ложечкой в клюве. Слетела на прилавок, положила ложечку передо мной и отступила на шаг.

— Только пуговицу, — сказала она тихо. — Пуговицу оставь.

— Оставляю.

— И не продавай меня Марро.

— Я тебя никому не продам, — ответила я. — Ты не вещь.

— А что я?

Я задумалась. Вопрос был серьёзный.

— Ты сотрудник, — сказала я наконец. — Старший оценщик, как ты сама говоришь. Сотрудников не продают. Их иногда увольняют, но для этого нужен повод. Например, хищение имущества работодателя в особо крупном размере.

— Пуговица — не крупный.

— Поэтому ты ещё здесь.

Сорока подумала, решила, кажется, что это справедливо, и улетела обратно на подсвечник. Ложечку я вернула на полку. Через десять минут, когда я снова сверялась со списком, ложечка была на месте. Пуговицы не было. А под стропилами, где у Гортензии, видимо, был тайник, кто-то тихо и довольно урчал.

К вечеру первого дня описи у меня было сто восемнадцать позиций. К утру второго, когда я пересчитала их заново, стало сто двадцать три. Новые пришли ночью: детская книжка с картинками, мундштук, наволочка с вышитыми инициалами, медная пуговица от мундира и бутылочка из-под духов, пустая, но всё ещё пахнущая фиалками. Ни одна из них не была такой тяжёлой, как кольцо. Кольцо лежало в своей коробочке на краю прилавка и молчало так громко, что я слышала его через всю лавку.

* * *

Девчонка появилась на второй день, около полудня. Без стука — то есть она постучала, но так, как стучат люди, которые не уверены, что за дверью кто-то есть, и заранее на это злятся: раз, пауза, ещё раз сильнее.

— Как придётся, — прокомментировала Гортензия с полки. — Посыльная.

Колокольчик звякнул. На пороге стояла девушка лет шестнадцати-семнадцати: худая, остроносая, в мужской кепке, надвинутой на брови, в куртке на два размера больше и в сапогах — я сразу это заметила — тоже не по ноге: она стояла, чуть поджимая пальцы, чтобы сапоги не сваливались. Из-под кепки торчали рыжевато-русые прядки. На плече у неё висела потёртая кожаная сумка с медной бляхой. На бляхе была выбита почтовая труба.

— Дом семь? — спросила она, глядя не на меня, а на полки. Глаза у неё забегали, как у ребёнка в кондитерской. — Лорис?

— Лорис. То есть да, дом семь.

— Вам письмо, — она порылась в сумке, достала серый конверт с синей казённой печатью. Протянула, но не отдала. — Два медяка.

— За что?

— За доставку.

— Разве почта не платная для отправителя?

— Для отправителя — да, — девчонка шмыгнула носом. — Только на вашу улицу почта не ходит. Улицы-то нет. Письма сюда лежат на центральном почтамте в ящике «Недоставленное, адрес не существует». Раз в неделю я этот ящик разбираю и разношу, кому смогу. За два медяка. Это не почта. Это я.

— То есть почтамт тебе за это не платит.

— Почтамт мне за это даёт ящик разбирать, — девчонка пожала плечами. — Ну и всё. Остальное — моя работа. Вы мне два медяка, я вам письмо. Честно.

Я посмотрела на неё. Девушка, лет семнадцать. Состояние — удовлетворительное, следы систематического недоедания. Сапоги чужие. Куртка чужая. Взгляд — свой. Цепкий, быстрый, оценивающий. Если бы у меня в аукционном доме были стажёры с таким взглядом, из них вышли бы хорошие эксперты. Или хорошие мошенники. Тут как повезёт.

— Сейчас, — сказала я.

Касса открывалась поворотом медной ручки. Внутри, в деревянных ячейках, лежало Ага-тино наследство: три кроны, семь серебрушек и четыре медяка. Я отсчитала два медяка — маленькие, коричневые, с дыркой посередине, — и протянула девчонке. Она взяла их быстро, как воробей хватается крошку, и только после этого отдала конверт.

— А вы новая хозяйка? — спросила она, не уходя. — Старая померла, говорят.

— Говорят.

— Я её знала немножко. Она мне один раз варенья дала. И шарф, — девчонка оттянула ворот куртки: под ним действительно был шарф, полосатый, вязаный. — Говорила, что шарф меня ждал. Чудная была.

— Как тебя зовут?

— Мира.

— А фамилия?

— Нету, — Мира снова пожала плечами. — В приюте на Пятой набережной давали фамилию по месяцу, когда подкинули. Мне дали Вересковая. Но я её не ношу. Глупая.

— Мира, — обратилась я к девчущке. — ты умеешь читать?

— Обижаете, — она даже кепку сдвинула на затылок от возмущения, и я увидела, что у неё веснушки — густые, будто кто-то брызнул краской с кисти. — Я ж письма разношу. Как бы я их разносила?

— А писать?

— Умею. Некрасиво только.

— Считать?

— До тыщи. А дальше — с бумажкой.

Я помолчала. Потом посмотрела на конверт, который держала в руках. Казённый, серый. На нём было напечатано: «Земельная управа города Лавьер. Отдел реестра владений. Лицу, именующему себя владельцем дома семь по Улице Трёх Лун (если таковое лицо существует)».

«Если таковое лицо существует». Прекрасно.

Внутри, на казённом бланке с прочерками, было вписано от руки:

«Настоящим уведомляем, что в Земельную управу поступили сведения о вступлении некоего лица в права наследования на дом семь по Улице Трёх Лун. Учитывая, что Улица Трёх Лун не значится в реестре улиц, кварталов и владений города Лавьер, а следовательно, дом семь по указанной улице не существует, а следовательно, вступление в права на него не может быть совершено, предлагаем вышеупомянутому лицу в течение десяти дней явиться в отдел реестра (приёмные часы: по вторникам и четвергам с десяти до полудня) для подтверждения существования улицы, дома и себя лично. Ведущий служащий отдела реестра, П. Пим».

— Подтверждения существования себя лично, — сказала я вслух.

— Это они всем так пишут, — произнесла Мира. Она уже, оказывается, стояла рядом и читала через моё плечо. Я даже не заметила, когда она подошла. — Господин Пим. Он всем так пишет. Меня однажды тоже попросил подтвердить существование, когда я ему письмо из ящика принесла. Я ему говорю: «Я ж стою перед вами». А он: «Это не является документальным подтверждением».

— И как ты подтвердила?

— Никак. Ушла. Я существую и без его бумажки, — гордо произнесла Мира. И тут же добавила, глядя на прилавок: — Это у вас там сыр?

Это был сыр. Остатки вчерашнего Мартиноного завтрака, завёрнутые в полотенце, и половина булки. Я посмотрела на Миру. На то, как она смотрит на сыр. И как держит руки в карманах — чтобы не взять.

— Ешь, — кивнула я.

Её не нужно было упрашивать. Она смела сыр и булку за минуту, стоя, сначала аккуратно, потом всё быстрее, а когда закончила, собрала крошки с полотенца в ладонь и отправила в рот. Гортензия наблюдала за этим с полки с выражением глубокого уважения.

— Мира, — обратилась я к девчущке, когда она дожевала. — Мне нужна помощница.

Она замерла.

— Какая помощница?

— Для описи. Вот, — я показала на исписанные листы, на полки, на огрызок карандаша. — Мне нужно описать всё, что здесь есть. Всё, до последней пуговицы. Мне нужен кто-то, кто

будет записывать, пока я диктую, кто будет залезать на верхние полки, потому что табуретка у меня одна и она качается, и кто будет бегать по поручениям. Я не могу много платить. Три медяка в день. И обед.

— Три медяка, — повторила Мира медленно. — И обед.

— И обед. Каждый день.

— А ужин?

Я подумала о трёх кронах в кассе.

— Иногда ужин.

Мира смотрела на меня. Я видела, как она считает в уме — быстро, губами, как считают люди, привыкшие считать каждую монету. Три медяка в день — это двадцать один в неделю. Плюс обед. Плюс иногда ужин. Плюс крыша над головой на всё рабочее время, тёплая, с сорокой и сыром.

— А почту мне разносить можно будет? — спросила она. — Раз в неделю? Это тоже деньги.

— Можно.

— И меня никто не будет хватать за руки? — это она спросила совсем другим голосом, тихим и ровным. — В смысле, если я сюда буду ходить. Вы не подумаете, что я тут что-то взяла? Потому что я ничего не беру. Никогда. Ну... давно не беру.

Я посмотрела на неё внимательно. И на Гортензию — краем глаза. Гортензия сидела на подсвечнике и, кажется, очень старалась не смотреть в сторону пуговицы.

— Здесь, — произнесла я. — Уже есть сотрудник, который берёт. Второго такого лавка не потянет. Так что, если ты пообещаешь не брать, я пообещаю не думать.

Мира фыркнула. Потом протянула руку — через прилавок, решительно, как мужчины на бирже, — и я пожалала её. Рука была тонкая, холодная и неожиданно сильная.

— Это временно, — ответила я, сама не зная, кому это объясняю. — Пока опись не закончим.

— Ну конечно, — сказала Мира. И стянула кепку.

* * *

С Мирой дело пошло вдвое быстрее. Она записывала под диктовку, высунув кончик языка, буквами крупными и кривыми, но разборчивыми. Лазила на верхние полки, цепляясь за стойки, как кошка. Ничего не роняла. Ничего не брала. И задавала вопросы — множество вопросов, по каждой вещи.

— А почему эта перчатка «забыта на балу», а эта «забыта нарочно»?

— Не знаю.

— А кто бирки пишет?

— Лавка.

— А как лавка пишет? У неё же рук нет.

— Мира, у сороки тоже рук нет, а она ворует.

— Я не ворую, — произнесла Гортензия с полки. — Я храню.

— А почему вы через платок трогаете?

На этот вопрос я ответила не сразу. Я стояла на табуретке у полки с часами и, придерживая платком, поворачивала маленький дорожный будильник в кожаном футляре, чтобы прочитать гравировку.

— Потому что они кусаются, — сказала я наконец.

— Вещи?

— Не все. Некоторые.

Мира посмотрела на будильник с подозрением. Потом на меня. Потом сказала:

— Вы не здешняя.

Это было сказано без вопроса и без обвинения. Просто как факт. Я чуть не уронила будильник.

— С чего ты взяла?

— Вы говорите странно. Всё понятно, но странно. Как будто слова сначала в голове переворачиваете. Платье на вас Мартино, я его знаю, она в нём на Солнцеворот ходит. И вы не знали, что почта сюда не ходит. И медяки в кассе пересчитывали, как будто первый раз видите, — Мира пожала плечами. — Я ничего не говорю. Мне всё равно. Тут на улице все не здешние. Марта — не здешняя. Агата говорила, что и сама родилась здесь, а мать её — не здешняя. Тут, говорят, вообще только такие и живут.

— А ты?

— А я из приюта, — Мира отвернулась к полке и стала очень внимательно записывать что-то, что я ещё не продиктовала. — Я ниоткуда.

Я слезла с табуретки. Поставила будильник на место. Хотела что-то сказать — и не нашла что. Девочка ниоткуда и женщина, которая два дня назад вынесла мусор не в тот двор. Хорошая получалась компания.

— Мира. Что там, за той дверью? — я показала в глубину лавки, туда, где у дальней стены за лестницей была низкая дверь. Я заметила её ещё в первую ночь, но всё время обходила стороной: то было не до неё, то просто не хотелось. Дверь была дубовая, тёмная, окованная железом, и посередине, на уровне груди, в неё был врезан круг из потускневшего серебра. Луна.

— Подвал, — ответила Мира. — Наверное. А вы что, не открывали?

— Правило номер пять.

— Чего?

— Подвал не открывать.

— А почему?

— Не знаю.

Мира посмотрела на дверь с откровенным интересом. Я знала этот взгляд. С таким взглядом стажёры открывали без перчаток витрины с неисследованными предметами, чтобы «только посмотреть».

— Нет, — твердо произнесла я.

— Я просто...

— Нет.

Мы всё-таки подошли к ней. Обе. Не открывая — просто встали рядом. Дверь была тёплой: я почувствовала это, даже не прикасаясь, — от неё шло ровное слабое тепло, как от печки, которую топили вчера. А ещё из-под неё, из узкой щели между порогом и полом, тянуло воздухом. Не подвальным — не сыростью, не плесенью, не картошкой. Воздух был свежий и солёный.

И звук. Если прислушаться — очень тихий, на грани слуха. Шорох. Ровный, повторяющийся. Он накатывал и отступал. Накатывал и отступал.

— Это что? — прошептала Мира.

— Не знаю, — ответила я тоже шёпотом. Хотя знала. Я слышала такой звук. Каждое лето, когда мы с бабушкой ездили в Зеленогорск на залив. Ровный шорох волн по песку.

Под домом в центре чужой столицы, за дверью подвала, шумело море.

— Отойди, — сказала я, и Мира отошла, не споря.

Мы вернулись к прилавку. Обе молчали. Гортензия на подсвечнике сидела очень прямо и смотрела не на нас, а в стену, и мне показалось, что перья у неё на загривке опять приподняты.

В коробочке на краю прилавка лежало кольцо. Я чувствовала его холод даже отсюда.

«Забыто той, что забывает себя».

Мне вдруг очень захотелось узнать, кто она. Не из любопытства. Просто потому, что это было — я наконец поняла, что меня в нём так мучает, — это было похоже на ощущение, кото-

рое возникает, когда держишь в руках вещь, украденную из музея. Вещь, которая не должна была здесь оказаться. Вещь, которую кто-то ищет. Или должен искать.

В этот момент в дверь постучали.

Не два раза, как Марта. Не три, как Дария. И не как Мира — неуверенно и зло. Стучали ровно и твёрдо, костяшками пальцев, четыре раза подряд, с одинаковыми промежутками, — как стучат люди, которые не спрашивают разрешения войти, а уведомляют, что сейчас войдут.

Гортензия на подсвечнике издала звук, похожий на скрип ржавой петли.

— О нет, — произнесла она с чувством. — Полиция. Я их по стуку узнаю. Они стучат так, будто дверь им что-то должна.

Глава 5. Подозреваемая

Колокольчик над дверью звякнул как-то неуверенно, будто тоже сомневался, стоит ли.

Их было двое. Первый вошёл, пригнув голову под низкой притолокой, — высокий, в сером длиннополом пальто, расстёгнутом поверх тёмного сюртука. Второй, пониже и пошире, протиснулся следом, придерживая на голове шляпу-котелок и улыбаясь так, будто пришёл на день рождения и заранее знал, что торт будет вкусный.

Первый не улыбался. Он остановился сразу за порогом и огляделся — не так, как оглядываются посетители, а так, как оглядываются люди, которые будут потом описывать помещение в протоколе. Взгляд прошёл по полкам слева направо, сверху вниз, задержался на двери в подвал, на лестнице, на Мире, на Гортензии, на мне — и вернулся к прилавку.

Я тоже на него смотрела. Профессионально, по привычке. Мужчина, тридцать пять — тридцать семь. Рост — выше среднего, сложение сухое. Волосы тёмно-русые, коротко стриженные, но давно не видевшие цирюльника: на затылке торчат. Лицо узкое, с резкими скулами и прямым носом, на котором — едва заметная горбинка, будто его когда-то сломали и он сросся почти правильно. Глаза серые, светлые, и от этого взгляд кажется ещё холоднее. Под глазами — тени, как у человека, который регулярно спит меньше, чем следует. Сохранность — хорошая. Следы износа — умеренные. Происхождение...

Происхождение было непонятным. Пальто — дорогое сукно, но потёртое на локтях. Сюртук — без украшений. На воротнике ни булавки, ни значка. На пальцах ни колец, ни перстней. Чистые руки с длинными пальцами, на указательном правом — чернильное пятно, въевшееся в кожу. Такие пятна бывают у людей, которые пишут много и быстро.

А у основания большого пальца, на левой руке, — старая, побелевшая мозоль. Твёрдая, с жёлтым краем. Я такие видела у реставраторов мебели. У столяров. У тех, кто годами держит рубанок.

Чиновник, который пишет. Столяр, который давно не держал рубанок. Интересное сочетание.

— Дом семь, Улица Трёх Лун, — произнес он. Голос был низкий, ровный, без вопросительной интонации. — Лавка Лорис.

— Да.

— Хозяйка?

— Да.

— Как вас зовут?

— Вера Соколова. А вас?

Он чуть приподнял бровь. Видимо, вопрос встречным вопросом здесь задавали не часто.

— Адриан Кальве, — ответил он. — Старший дознаватель Управления магического сыска. Это младший дознаватель Барро.

— Жиль, — представился второй и сдёрнул котелок. Под котелком обнаружились чёрные кудри и круглое весёлое лицо с ямочкой на подбородке. — Очень приятно. Какое у вас тут всё... — он поискал слово. — Много.

— Спасибо, — сказала я. — Чем обязана?

Кальве не ответил. Вместо этого он сунул руку во внутренний карман пальто и достал что-то, похожее на карманные часы. Нажал на головку, откинул крышку. Под крышкой вместо циферблата оказался круглый стеклянный колпачок, внутри которого, на тонкой оси, висела стальная игла, — компас, только без сторон света. Игла крутилась беспорядочно, как пьяная. Кальве поднял прибор на ладони и медленно повернулся вокруг своей оси.

Игла дрогнула, качнулась — и остановилась. Остриё смотрело точно на дальний край прилавка. Туда, где стояла деревянная коробочка с бархатным дном.

— Сударыня Соколова, — произнес Кальве, не отрывая взгляда от иглы. — В Управление поступило заявление о краже. Похищено обручальное кольцо из жёлтого золота, гладкое, без камня, с гравировкой по внутренней стороне. Искатель настроен на предмет. Я прошу вас открыть эту коробку.

Мира рядом со мной шумно втянула воздух. Гортензия на подсвечнике издала звук, похожий на «ой-ой-ой», но на всякий случай нечленораздельно.

Я посмотрела на коробочку. Потом на Кальве. Потом опять на коробочку.

— Я её открою, — сказала я. — Только не трогайте кольцо голыми руками.

— Почему?

— Потому что оно кусается.

Пауза. Жиль Барро издал короткий звук — то ли кашлянул, то ли подавился. Кальве посмотрел на меня тем же взглядом, каким осматривал полки, — без выражения, протокольно.

— Откройте, пожалуйста.

Я открыла. Платком, разумеется. Кольцо лежало на бархате — тонкое, тусклое, стёртое с одного бока. Холод от него ударил мне в пальцы даже через ткань, и я торопливо отдернула руку.

Кальве наклонился над коробкой. Игла в его приборе дрожала, как натянутая струна. Он смотрел на кольцо секунд десять, не прикасаясь, потом выпрямился, защёлкнул крышку искателя и убрал его в карман.

— Откуда у вас эта вещь?

— Она пришла сама.

— Сама.

— Вчера утром, около одиннадцати. Пока я подписывала бумаги с нотариусом. Госпожа Вель может подтвердить, что до её прихода кольца на прилавке не было. Я сама протирали прилавков.

— Вы протирали прилавков.

— Да.

— И кольцо пришло само.

— Да.

Кальве посмотрел на Жилу. Жиль посмотрел на Кальве. Это был короткий взгляд, но в нём уместилась, кажется, целая беседа. «Ты слышал?» — «Слышал». — «Опять эта улица». — «Опять».

— Сударыня Соколова, — произнес Кальве, и голос его стал на полтона мягче, примерно так, как становится мягче голос врача, который сейчас скажет пациенту, что ему придётся лечь в больницу. — Вы понимаете, что «оно пришло само» — не то объяснение, которое я могу внести в протокол?

— Понимаю. Но другого у меня нет.

— Вы давно в городе?

— Три дня.

— Откуда приехали?

Я помедлила. Мира рядом со мной замерла, перестав даже дышать.

— Издалека, — сказала я.

— Из какой провинции?

— Не из провинции.

— Из-за границы? Из Ортены? С островов?

— Дальше.

Кальве посмотрел на меня долгим взглядом. Я выдержала. Восемь лет я выдерживала взгляды коллекционеров, которым говорила, что их Шишкин написан в девяносто третьем году

прошлого века студентом Мухинского училища. Это было похоже. Только у коллекционеров никогда не было таких светлых глаз. И они никогда не смотрели так, словно видят шов.

— У вас есть документы, удостоверяющие личность?

— Есть свидетельство о вступлении в наследство, подписанное нотариусом Вель, — Я открыла грессбух на последней заполненной странице, куда Дария вложила копию. — Других нет.

Кальве взял бумагу. Прочитал — быстро, но, как я заметила, целиком, не пропуская мелкого шрифта. Положил обратно.

— Документ составлен по всем правилам, — произнес он. — На улицу, которой не существует.

— Мне уже сообщили. Господин Пим. Письменно.

Жиль снова издал свой звук. На этот раз определённо смешок. Кальве, не оборачиваясь, сказал:

— Барро.

— Молчу, шеф.

— Сударыня Соколова, — Кальве положил руки на прилавок. Я опять посмотрела на мозоль у большого пальца, и он, кажется, это заметил, потому что чуть повернул руку. — Я вынужден изъять предмет как вещественное доказательство. Я также вынужден задать вам ряд вопросов. Вы можете отвечать здесь, а можете — в Управлении. Здесь будет быстрее.

— Задавайте.

Он задавал. Минут двадцать, ровным голосом, без нажима, но так, что от каждого вопроса оставалось ощущение, будто тебя аккуратно, двумя пальцами, взяли за рукав. Где я была три дня назад вечером? В Петербурге. Где это? Далеко. Кто может подтвердить? Никто здесь. Кто может подтвердить, что я находилась в лавке два дня назад? Марта Брей, нотариус Вель, сорока. Сорока не может давать показаний. Сорока может, сказала Гортензия с подсвечника, но не будет, потому что фараонам ничего не говорит из принципа. «Сударыня», — сказал Кальве, повернувшись к подсвечнику с лёгким поклоном, и Гортензия от неожиданности поперхнулась и замолчала на целых пять минут.

Знаю ли я дом Марро? Нет. Знаю ли Липовую аллею? Нет. Бывала ли в квартале Белых Садов? Не знаю, где это. Кто ещё имеет доступ в лавку? Мира, которую я наняла вчера. Кальве посмотрел на Миру.

— Мира Вересковская, — произнес он. — Ты здесь работаешь?

— Со вчерашнего дня, — ответила Мира. Голос у неё был хриплый, а пальцы — я видела — вцепились в край прилавка так, что побелели. — Я ничего не брала. Я вообще не...

— Я знаю, — сказал Кальве.

Мира осеклась.

— Три дня назад вечером, — продолжил он, не глядя на неё. — Ты разносила письма в Кожевенном квартале. Я видел тебя у почтамта в шесть, когда возвращался из Управления. Ты ругалась с кучером, который облил тебя из лужи. Громко. Изобретательно. Липовая аллея на другом конце города.

Мира открыла рот, закрыла его и уставилась на Кальве так, как, наверное, смотрела бы на заговорившую лошадь.

— Хорошая работа, — сказал Кальве. — Здесь. Тебе подходит.

И снова повернулся ко мне.

Вот тут я, кажется, впервые немного поменяла мнение. Не сильно. На один пункт по шкале. Мужчина, который запоминает, где три дня назад стояла уличная посыльная и как она ругалась с кучером, — либо очень опасный человек, либо очень хороший сыщик. Возможно, и то, и другое.

— Сударыня Соколова, вы сказали, что кольцо кусается. Что вы имели в виду?

Я подумала, как бы объяснить это, чтобы не звучать сумасшедшей. Не придумала.

— Я... Здесь, в лавке, когда я прикасаюсь к вещам, я вижу. Не всегда. Не все вещи. Но иногда — вижу, что с ними было. Как они попали сюда. Кто их потерял. Первый раз это было позавчера ночью. Была варежка. Метель. Девочка.

Жиль перестал улыбаться. Кальве не изменился в лице, но взгляд у него стал внимательнее. Не теплее — именно внимательнее.

— Дар оценщика, — сказал он медленно.

— Мне так сказали.

— Это редкий дар. В Лавьере зарегистрированы три его носителя. Последний новый — двадцать лет назад. Все трое — члены Гильдии оценщиков и прошли проверку.

— Я ничего не проходила. Я здесь три дня.

— Значит, ваш дар не зарегистрирован. А незарегистрированные видения, сударыня Соколова, не являются показаниями.

— Я не даю показаний. Я говорю, что могу посмотреть, что случилось с этим кольцом. Может быть, это вам поможет.

— Мне поможет, если вы объясните, как оно здесь оказалось.

— Именно это я и пытаюсь...

— Видениями.

— Если вам удобнее — профессиональной экспертизой.

Мы смотрели друг на друга через прилавок. Он был выше меня на голову, и мне приходилось задира́ть подбородок, и это раздражало. Раздражало, что он стоит спокойно, положив руки на мой прилавок, как на свой собственный стол. Раздражало, что он говорит ровно, как будто я — пункт в отчёте, который следует отработать до конца дня. Раздражало, что он, судя по всему, неглуп. Глупого было бы легче.

— Хорошо, — произнес наконец Кальве. — Смотрите.

— Что?

— Вы предложили посмотреть. Смотрите. В моём присутствии. Если увидите что-нибудь, что я смогу проверить, я это проверю. Если нет — кольцо уходит в Управление, а вы завтра в десять являетесь туда для дальнейших объяснений. Барро, запиши время.

Жиль достал блокнот. Мира пододвинулась ко мне ближе — так, что её плечо коснулось моего. Гортензия на подсвечнике вытянула шею.

Я посмотрела на кольцо. Оно лежало на бархате, тусклое, холодное.

Мне не хотелось. Совсем не хотелось. После варежки болели пальцы целый день, а варежка была светлая — в ней было много страха, но в конце была радость, были руки и «нашлась». В этом кольце не было никакой радости. Я чувствовала это за метр. Только холод, тоска и что-то ещё, что-то вязкое, тягучее, похожее на туман, в котором теряешь дорогу.

Но если я не посмотрю, он уйдёт. И кольцо уйдёт. И завтра в десять я буду объяснять в Управлении, откуда я взялась, без документов, без родины, без единого человека, который мог бы за меня поручиться, кроме Марты, которая не сплетничает, и Дарии, у которой всё «не по её части».

Я взяла платок, сложила его вдвое, накрыла им кольцо и прижала пальцами.

Сад.

Белые розы — много, целые кусты, они осыпаются, лепестки на дорожке, как снег, и пахнет мёдом и свежей землёй. Солнце. Смех. Кто-то играет на скрипке, фальшиво и весело. И рука — мужская рука в белой перчатке, без перчатки, — надевает кольцо на палец, на мой палец, на её палец, и пальцы дрожат, и рука, которая надевает, тоже дрожит. На мизинце этой руки — перстень. Тяжёлый, золотой, с тёмным камнем, и на камне вырезано что-то... птица? Птица, раскинувшая крылья...

Холоднее.

Зеркало. Туалетный столик с тремя зеркалами, створками, как ширма. Флаконы, щётки, шкатулка. Женщина в зеркале — немолодая, светловолосая, с седыми прядями, с тонким красивым лицом — смотрит на меня, и я смотрю на неё, и я не знаю, кто она. Не знаю. Я должна знать, это так просто, это же я, это моё лицо, но я смотрю и не узнаю, и от этого так страшно, что хочется закричать, но кричать нельзя, потому что тогда придут и будут смотреть с жалостью, и это хуже, хуже всего...

Кольцо давит. Почему у меня на пальце кольцо? Чьё оно? Оно мешает, оно холодное, оно чужое. Я снимаю его. Кладу на столик, между флаконами. И ухожу. Я забываю его там, ещё не дойдя до двери. Я забываю, что оно было. Я забываю сад, и розы, и дрожащую руку, и...

— Сударыня Соколова.

Голос был близко. Очень близко. Я открыла глаза и обнаружила, что стою, вцепившись обеими руками в край прилавка, а Кальве держит меня за локоть. Крепко. Надёжно. Пальцы у него были тёплые даже через шерсть Мартинового платья.

По губе опять текло. Я торопливо подняла руку, но он уже протягивал мне платок. Свой, чистый, белый, отглаженный — со складками, острыми, как бумажные. В уголке были вышиты инициалы: «А. К.».

— Спасибо, — сказала я в платок.

Он не ответил. Отпустил мой локоть, только когда убедился, что я стою. Потом молча открыл висевшую у него на боку плоскую металлическую флягу, отвинтил крышку, налил что-то в эту крышку и протянул мне.

— Выпейте.

— Что это?

— Кофе.

Я взяла крышку. Понюхала. Пахло горелым. Горелым и чем-то металлическим, как в старом котле. Жидкость была чёрная, густая и не очень горячая.

— Это яд? — спросила я.

— Это кофе, — терпеливо повторил Кальве.

— Вы уверены?

— Пейте, сударыня. Вам нужно.

Я выпила. Одним глотком, потому что второго глотка я бы не пережила. Это было горько так, что свело скулы. Горько, кисло, обжигаяще и почему-то с перцем. Глаза у меня наполнились слезами, и я закашлялась.

— Шеф всех так угощает, — сообщил Жиль из-за его плеча с сочувствием. — Это вроде проверки. Если выжил — значит, не преступник. Преступники обычно сразу во всём признаются, лишь бы вторую не налили.

— Барро.

— Молчу, шеф.

Самое ужасное, что через минуту мне действительно стало легче. Звон в голове прошёл. Ноги перестали дрожать. Кровь остановилась. Я посмотрела на пустую крышку с подозрением.

— Что вы туда кладёте?

— Кофе, — сказал Кальве. — И корень огнецвета. От упадка сил, — он забрал крышку, завинтил флягу. — Что вы видели?

Я рассказала. Сад, розы, скрипку. Руку с перстнем. Туалетный столик с тремя зеркалами. Женщину, которая не узнаёт себя. Как она сняла кольцо — сама, без чужой помощи, никто его не крал, — положила между флаконами и ушла. И забыла, ещё не дойдя до двери.

Говорила я профессиональным голосом. Тем самым, тихим, ровным, которым говорят «к сожалению, это поздняя копия». Так было проще. Если говорить как эксперт, можно не думать о том, что ты сама стояла перед зеркалом и не узнавала себя.

Кальве слушал, не перебивая. Жиль записывал.

— Её никто не обкрадывал, — произнесла я в конце. — Она забыла кольцо. А когда вещь забывают так, совсем, она приходит сюда. Так работает лавка. Я не знаю, почему. Я здесь три дня.

— Туалетный столик, — сказал Кальве, — с тремя створками зеркал. Вы можете его описать подробнее?

Я подумала.

— Светлое дерево. Орех, кажется, или клён. Медные ручки на ящиках в виде листьев. Флаконы — четыре или пять, один большой, гранёный, с серебряной крышкой. Щётка для волос с перламутровой спинкой. Справа — шкатулка, синяя, эмалевая.

Кальве ничего не сказал. Но я увидела, как Жиль за его спиной перестал писать и посмотрел на шефа.

— А перстень? — спросил Кальве. — Вы видели, что вырезано на камне?

— Птица. С раскинутыми крыльями. В когтях что-то... — я закрыла глаза, вспоминая. Камень был тёмный, почти чёрный, и вырезано на нём было тонко, мелко, но я видела. — Весы. Птица держит в когтях весы.

Я открыла глаза — и замерла.

Плотная хорошая бумага. Тиснёный герб в углу: птица с весами в когтях. Размашистая подпись. «Сверх оценочной стоимости, в знак уважения к памяти покойной владелицы». Двадцатое вереска.

Кальве смотрел на меня. Внимательно, неподвижно. Ждал.

— Чьё это кольцо? — спросила я. Голос у меня снова сел, и на этот раз это был не дар.

Кальве помолчал. Потом достал из кармана пару тонких кожаных перчаток, надел их — неторопливо, по одному пальцу, совсем как Дария, — взял кольцо из коробочки и положил в маленький холщовый мешочек с сургучной печатью Управления. Затянул шнурок. Вынул из блокнота Жилия листок, написал на нём несколько строк своим быстрым почерком и подал мне.

— Расписка в изъятии, — произнес он. — Вы её не просили, но я на всякий случай.

— Я бы попросила, — сказала я. — Через минуту.

Он поднял на меня глаза. Впервые за весь разговор в них мелькнуло что-то, похожее на интерес. Не на подозрение — на интерес.

— Да, — хмыкнул он. — Я так и подумал.

Он застегнул пальто. Жиль надел котелок. Они уже повернулись к двери, когда я окликнула его ещё раз:

— Господин Кальве. Вы не ответили. Чьё кольцо?

Он остановился у порога, пригнув голову под притолокой. Обернулся.

— Заявление о краже подал господин Ансельм Марро, владелец аукционного дома «Марро», — ответил он. — Кольцо принадлежит его жене, госпоже Ливии Марро. Госпожа Марро уже год как больна. Она не узнаёт людей. Иногда — себя.

Колокольчик над дверью звякнул.

— Завтра в десять, сударыня Соколова, — слышались слова Кальве уже с улицы. — Управление магического сыска, Мостовая площадь, дом один. Спросите меня. И, — он чуть помедлил, — не трогайте больше ничего, что кусается. Пока не зарегистрируетесь.

Дверь закрылась.

Мы с Мирой стояли у прилавка и молчали. Гортензия на подсвечнике медленно разжала когти, которыми, оказывается, всё это время держалась за бронзовую ветку.

— Фараон, — сказала она с отвращением. — Сударыня, видите ли. Сударыня! Да меня сто двадцать лет никто сударыней не называл.

— Тебе не понравилось?

Гортензия подумала.

— Это не имеет значения, — ответила она высокомерно. — Он полицейский. И кофе у него — отравка. Я по запаху поняла.

Я посмотрела на платок, который всё ещё держала в руке. Белый, отглаженный, с бурыми пятнами моей крови. «А. К.». Я его не вернула. Он не попросил.

— Вера, — тихо произнесла Мира. — Это тот самый Марро? Который аукционный дом? Он же самый богатый... Он же...

— Тот самый, — кивнула я. — Который хочет купить эту лавку. Который подал прошение за два дня до того, как умерла Агата. И который заявил в полицию о краже кольца, которое его жена сняла сама.

Мира подумала, нахмурилась, и я видела, как у неё в голове складывается то же, что и у меня. Медленно, со скрипом, как складывается мозаика, где не хватает половины кусков.

— А зачем? — спросила она.

— Не знаю, — ответила я.

Это была чистая правда. Но почему-то мне казалось, что господин Адриан Кальве, старший дознаватель Управления магического сыска, с горелым кофе и мозолью от рубанка, уходя, думал о том же самом.

Глава 6. Справка о существовании

Управление магического сыска занимало серое трёхэтажное здание на Мостовой площади, с колоннами, которые кто-то когда-то задумал как величественные, а потом, видимо, урезал смету. Колонны получились толстые и короткие, как ноги у старого комода. Над входом висел герб: глаз в треугольнике и под ним — свиток. На ступенях курили двое в мундирах. Они проводили меня взглядами, в которых было больше любопытства, чем подозрения: я шла в Мартином платье, Мартиной шали и собственных петербургских тапках, потому что других у меня не было, а Мартины башмаки оказались мне малы на два размера.

Дорогу мне показала Мира. Вернее, довела до площади, ткнула пальцем в колонны и сказала: «Вон. Я дальше не пойду. У меня от этого места чешется спина». И ушла обратно — продолжать опись, к которой она за два дня привязалась с подозрительной страстью. Мне показалось, что ей просто нравится лазить по полкам, а описывать — это предлог.

В город с улицы я выходила впервые. Арка, через которую я проходила, изнутри выглядела так же, как снаружи: три металлических круга над сводом, серебряный, золотой и чёрный. Но когда я шагнула под свод, мне на мгновение показалось, что земля качнулась, как палуба. А потом я стояла на шумной, людной, совершенно обычной улице с лавками, экипажами и булочной на углу, и, обернувшись, увидела за собой не арку, а глухую стену из красного кирпича, с которой облезала афиша: «Цирк братьев Луэн! Последняя неделя!»

— Ты её не потеряешь, — произнесла утром Гортензия, когда я спросила, как найти дорогу обратно. — Если ты домой идёшь — найдёшь. Улица своих не теряет. Она чужих не пускает.

Хотелось бы мне, чтобы это касалось и налоговой.

Кальве принял меня в своём кабинете на втором этаже. Кабинет был маленький, узкий, с окном на площадь, и в нём было так много бумаги, что я на секунду почувствовала себя дома. Папки на столе, папки на подоконнике, папки на полу вдоль стены, перевязанные бечёвкой. На стене — карта города, утыканная булавами с цветными головками. На краю стола — спиртовка, на спиртовке — медный ковшик с длинной ручкой, и от ковшика шёл тот самый запах: горелого, металлического и, теперь я знала, — огнецвета.

— Садитесь, — кивнул Кальве на один из стульев, не поднимая головы от бумаги, которую писал. — Минуту.

Я села. Стул был жёсткий и скрипучий. Минута растянулась на четыре. Всё это время он писал — быстро, сосредоточенно, наклонив голову, и я рассматривала его, потому что больше рассматривать было нечего. Пальто висело на крючке за дверью. Сюртук он снял и сидел в жилете и рубашке с закатанными до локтя рукавами. Предплечья у него оказались неожиданно жилистыми, с выступающими венами — руки человека, который когда-то работал физически, а потом перестал, но тело ещё не забыло.

Он закончил, промокнул, положил лист поверх стопки и поднял глаза.

— Кофе?

— Нет, — ответила я быстро. — Спасибо.

Мне показалось, что уголок его рта дрогнул. А возможно и нет. Лицо у него было такое, что я бы не поручилась.

— Сударыня Соколова, — произнес он. — Вчера вечером я был в доме Марро на Липовой аллее.

Я ждала.

— Туалетный столик в спальне госпожи Марро — клёновый, с тремя створками зеркал. Медные ручки в виде листьев. Пять флаконов, один гранёный, с серебряной крышкой. Щётка с перламутровой спинкой. Синяя эмалевая шкатулка справа.

— Значит...

— Значит, вы описали предмет обстановки, которого не могли видеть, если не бывали в доме, — Кальве откинулся на спинку стула. — По словам прислуги, вы там не бывали. Ни вы, ни кто-либо похожий на вас. Горничная госпожи Марро утверждает, что кольцо в последний раз видели на руке госпожи за ужином пять дней назад. На следующее утро его не было. Госпожа Марро не смогла сказать, куда его дела. Она... — он помолчал. — Не смогла сказать, чьё это кольцо.

Я опустила глаза. На столе у него, среди бумаг, лежал тот самый холщовый мешочек с сургучной печатью.

— Я внесла в протокол, — продолжил Кальве. — Что кольцо обнаружено в лавке забытых вещей на Улице Трёх Лун. Обстоятельства его перемещения не установлены. Признаков кражи не выявлено. Дело о краже закрывается за отсутствием события преступления. Кольцо будет возвращено владельцу.

— Спасибо, — кивнула я. И почувствовала, как отпускает что-то, что сидело у меня между лопатками со вчерашнего дня.

— Это не одолжение. Это результат проверки.

— Всё равно спасибо.

Он не ответил. Только посмотрел на меня тем внимательным взглядом, в котором я вчера впервые увидела интерес.

— Господин Марро, — произнес он. — Был недоволен.

— Тем, что кольцо нашлось?

— Тем, что я не нашёл вора. Он настаивал, что лавка — притон скупщиков краденого и что в ней следует провести полный обыск. Он даже составил перечень предметов, которые, по его мнению, могли быть похищены у уважаемых граждан Лавьера в последние годы и осесть у вас.

— И вы?

— Я сказал, что для обыска нужны основания. Он сказал, что основание — кольцо. Я сказал, что кольцо — не основание, а недоразумение, — Кальве сделал паузу. — Он сказал, что напишет моему начальству.

— Напишет?

— Уже написал. Комиссар Обер получил письмо сегодня утром, — он сказал это так ровно, будто речь шла о погоде. — Это не ваша забота.

— Вас из-за меня...

— Сударыня Соколова, — голос у него не изменился, но я замолчала. — Я сказал: это не ваша забота. Ваша забота — вот.

Он вытянул из стопки бумаг лист, исписанный уже знакомым мне острым быстрым почерком, и подвинул ко мне.

«Гильдия оценщиков города Лавьер. Для проверки и регистрации дара. Податель сего — сударыня В. Соколова, проживающая... — тут почерк споткнулся, и было вписано мелко: — ...в доме семь по Улице Трёх Лун. По наблюдению дознавателя обладает признаками дара оценщика, требующими проверки. А. Кальве».

— Гильдия проводит проверки раз в месяц, в последний четверг, — произнес он. — Ближайшая — через двенадцать дней. Это рекомендация. Без неё вас даже не запишут.

Я перечитала бумагу. Потом посмотрела на него.

— Вы же сказали, что мои видения не являются показаниями.

— Не являются, — он кивнул. — Незарегистрированные.

— А если я зарегистрируюсь...

— Тогда являются, — собеседник сделал небольшую паузу. — Иногда.

Я сложила бумагу и убрала в карман шали. Мартиной шали.

— Господин Кальве. Зачем господину Марро обыск в моей лавке?

Он долго не отвечал. За окном на площади кто-то кричал, предлагая горячие каштаны, и в такт этим крикам в коридоре хлопала дверь.

— Не знаю, — покачал он головой. — Это не моё дело. Дело закрыто.

— Но вы думаете об этом.

— Я много о чём думаю, сударыня, — он встал, давая понять, что разговор окончен. — Приём в Земельной управе по вторникам и четвергам до полудня. Сегодня четверг. Сейчас без двадцати одиннадцать. Управа на Хлебном рынке, двенадцать минут пешком, если не заблудитесь, и двадцать, если заблудитесь. Вы заблудитесь.

— Откуда вы знаете про управу?

— Вчера вы сказали: «Господин Пим. Письменно», — он открыл передо мной дверь. — Он всем пишет. Он пишет даже нам. Удачи.

Я вышла в коридор. Обернулась. Он уже сидел обратно за столом, наклонив голову над бумагами, и ковшик на спиртовке тихо булькал.

* * *

Я заблудилась. Земельная управа оказалась не на Хлебном рынке, а за Хлебным рынком, в переулке, который начинался как переулок, потом превращался во двор, потом — в другой двор, а потом в лестницу, ведущую на галерею второго этажа. Когда я туда добралась, было без четверти двенадцать.

Отдел реестра владений располагался в комнате с высокими окнами и длинной деревянной стойкой, за которой стояли конторки. За конторками никого не было. Кроме одного человека в самом дальнем конце.

Человек был маленький, лысоватый, в нарукавниках из чёрного сатина, в пенсне на шнурке, с аккуратно подстриженными седыми бакенбардами. Перед ним лежала огромная книга, вдвое толще моего grossбуха, и он вписывал в неё что-то так медленно и тщательно, будто от каждой буквы зависела судьба государства.

— Господин Пим? — спросила я.

— Приём до полудня, — ответил господин Пим, не поднимая головы. — У вас тринадцать минут. Изложите суть.

— Я получила от вас письмо, — я достала серый конверт. — О доме семь по Улице Трёх Лун.

Перо остановилось. Господин Пим медленно поднял голову, поправил пенсне и посмотрел на меня поверх стойки. Глаза у него были маленькие, светлые, водянистые, и в них была такая тоска по порядку, что мне на секунду стало его жалко.

— Вы утверждаете, — произнес он. — Что являетесь владелицей дома семь по Улице Трёх Лун.

— Да.

— Это невозможно.

— Почему?

— Потому что Улицы Трёх Лун не существует.

— Я на ней живу.

— Вы не можете жить на улице, которой нет.

— Я живу там уже четыре дня.

— Это ваше субъективное восприятие, сударыня, — Господин Пим снял пенсне, протёр его о нарукавник и надел обратно. — Субъективное восприятие не является документальным подтверждением.

— Хорошо, — ответила я. Тот самый тон. Тихий, ровный, профессиональный. — Какое документальное подтверждение вам нужно?

Господин Пим, кажется, удивился. Видимо, обычно на этом месте посетители начинали кричать.

— Вы хотите зарегистрировать улицу?

— Я хочу зарегистрировать торговлю. Для этого, как мне сказали, мне нужен адрес. Для адреса нужна улица. Значит, да, я хочу зарегистрировать улицу.

Господин Пим помолчал. Потом нагнулся куда-то под стойку, долго там шуршал и вынырнул с тонкой брошюрой в бумажной обложке. Положил её передо мной.

«Уложение о неучтённых поселениях, улицах, кварталах и владениях. С дополнениями и разъяснениями».

— Статья сорок первая, — произнес он. — Внесение в реестр улицы, не значившейся в нём ранее либо исключённой из него по ошибке. Для внесения необходимы: первое — план улицы с указанием всех строений, заверенный городским землемером. Второе — письменные свидетельства не менее чем пяти лиц, проживающих на означенной улице не менее десяти лет. Третье — документ, подтверждающий основание улицы, либо доказательство её существования до момента составления реестра. Четвёртое — пошлина. Двенадцать крон.

— Двенадцать крон, — повторила я.

— Двенадцать крон, — господин Пим посмотрел на меня с некоторым сочувствием. — Должен вас предупредить, что пункт первый невыполним. Городской землемер дважды пытался произвести съёмку Улицы Трёх Лун. Оба раза он не смог её найти.

— Как это — не смог найти?

— Он дошёл до указанного места и обнаружил там стену. Кирпичную. С афишей цирка. Я вспомнила афишу. «Последняя неделя».

— Улица открывается не всем, — сказала я.

— Совершенно верно. Именно поэтому её нет в реестре, — господин Пим развёл руками в сатиновых нарукавниках. — Реестр, сударыня, должен быть доступен всем. Если улица доступна не всем, она не может быть внесена в документ, доступный всем. Это логично.

— Это логично, — согласилась я. — Но двести одиннадцать лет назад она в реестре была?

— Почему вы так думаете?

— Нотариус Вель сказала, что улица не значится в реестре двести одиннадцать лет. Значит, до этого значилась. Значит, её исключили. Пункт третий говорит: «доказательство существования до момента составления реестра». Если улица в реестре когда-то была, это и есть доказательство.

Господин Пим замер. Он смотрел на меня так, как смотрят на ребёнка, который вдруг заговорил на латыни.

— Вы... — произнес он. — Вы читали Уложение?

— Я его сейчас читаю, — я показала на брошюру. — Вы же сами мне его дали.

Господин Пим медленно, будто во сне, повернулся и пошёл вглубь комнаты. Там, между двумя окнами, стоял высокий шкаф с застеклёнными дверцами, а в шкафу — ряды толстых книг в одинаковых коричневых переплётах, с медными цифрами на корешках. Он открыл дверцу ключом, который висел у него на цепочке от часов. Провёл пальцем по корешкам. Достал одну книгу, очень старую, с потрескавшимся переплётом. Принёс, положил на стойку, раскрыл.

— Реестр улиц, кварталов и владений, — произнес он. — Том первый. Составлен двести тридцать лет назад при королеве Аделине. Улицы внесены в алфавитном порядке.

Он листал страницы. Медленно, бережно, придерживая края кончиками пальцев. Я невольно отметила: хорошая бумага, тряпичная, с высоким содержанием льна. Чернила железо-галловые, местами пожелтели, но не выели бумагу. Переплёт — телячья кожа, перешивался как минимум один раз. Обращаются аккуратно. Господин Пим, при всех его «субъективных восприятиях», любил эти книги. Это было видно.

— «Улица Тихая», — читал он вслух. — «Улица Ткацкая». «Улица Трёх Колодцев». «Улица Трёх...»

Он остановился. Я наклонилась над стойкой.

Между листом, на котором заканчивалась «Улица Трёх Колодцев», и следующим, на котором начиналась «Улица Тюремная», была узкая полоска бумаги. Корешок вырезанной страницы. Срез был ровный, аккуратный, будто сделан бритвой. Кто-то вынул страницу так, что, если не знать, где искать, никогда бы не заметил.

Господин Пим смотрел на этот срез. И лицо у него было такое, какое бывает у человека, который вернулся домой и обнаружил, что у него вырезали из семейного альбома фотографию матери.

— Этого, — сказал он тихо. — Не может быть.

— Её вырезали, — произнесла я.

— Это реестр, — задумчиво ответил господин Пим. Голос у него дрожал. — Это... Реестр нельзя... Это документ государственного значения. Его хранят под ключом. Его выдают только служащим отдела под роспись. За двести лет... Здесь даже клякс нет, сударыня. Ни одной. Я проверял.

Он провёл пальцем по срезу. Очень осторожно, как по ране.

— Когда это могло случиться? — спросила я.

— Не знаю, — ответил господин Пим. И посмотрел на меня, и в его маленьких водянистых глазах была настоящая, неподдельная боль. — Я не знаю, сударыня. Последний раз этот том... Я его открывал... Лет двадцать назад? Когда... Нет. Не помню. Не помню.

Часы на стене пробили полдень. Господин Пим вздрогнул, как от выстрела. Посмотрел на часы, потом на книгу, потом на меня. И я увидела, как в нём борются две вещи: служебный распорядок, который требовал немедленно закончить приём, и что-то другое, что требовало не закрывать книгу.

Распорядок победил. Он закрыл книгу.

— Приём окончен, — произнес он. Голос у него был сиплый. — Пункты первый, второй и четвёртый остаются в силе. Пункт третий... — он сглотнул. — По пункту третьему я подам служебную записку. О порче реестра.

— Господин Пим.

— Что?

— Вы не мой враг, правда?

Он долго смотрел на меня. Потом снова снял пенсне, протёр его и надел.

— Я служащий реестра, сударыня, — ответил он. — Принесите мне документы. Если они будут в порядке, я внесу вашу улицу. Хоть бы она находилась на луне. Порядок есть порядок.

И я подумала, что впервые за весь этот день мне сказали что-то, во что я поверила без всяких поправок.

* * *

К вечеру выяснилось, что в лавке не работает отопление.

Отопление в лавке было устроено так: в задней стене, за прилавком, стояла большая изразцовая печь, общая для первого этажа и спальни наверху. Но дров в неё не клали. Вместо дров в топке лежал плоский чёрный камень размером с хлебный каравай — грелка, как объяснила Гортензия. Агата раз в неделю стучала по нему кочергой, камень раскалялся докрасна и держал тепло семь дней. Я постучала кочергой. Камень остался чёрным и холодным. Я постучала сильнее. Камень, кажется, обиделся.

— Он старый, — сказала Гортензия. — Агата его у кого-то на рынке купила ещё до войны. Он и при ней через раз работал. Тебе к Элизе надо.

— Кто такая Элиза?

— Мастер, — Гортензия отвернулась к окну, и мне показалось, что она чем-то смущена. — Девятый дом. Через дорогу и наискосок. Хорошая девочка. Шумная. Я к ней не хожу. У неё всё время что-то взрывается.

Девятый дом был узкий, двухэтажный, с широкими воротами на первом этаже, как у каретного сарая. Ворота были приоткрыты, и оттуда шёл свет, пар и звук — тонкий, металлический, ритмичный, как будто кто-то стучал молоточком по колокольчику. А ещё — пение. Женский голос, довольно приятный, громко и с чувством выводил что-то про моряка, у которого в каждом порту по невесте и ни одной в сердце.

Я постучала по воротам.

Пение оборвалось.

— Открыто! — крикнули изнутри. — Только не наступайте на синее!

Я вошла и сразу поняла, что «синее» — это лужица светящейся голубой жидкости посреди пола, которая медленно, будто живая, расплзалась по каменным плитам. Я её обошла. Внутри была мастерская: длинные верстаки, тиски, полки с ящичками, на ящичках — надписи мелом. Пахло машинным маслом, раскалённым металлом, канифолью и почему-то ванилью. Под потолком висели на крюках лампы, чайники, утюги, медный самовар без крана и что-то, похожее на птичью клетку, только с шестерёнками вместо прутьев. Посреди всего этого, за верстаком, стояла девушка.

Красивая. Это было первое, что я про неё подумала, и не в том смысле, в каком говорят о хорошенькой продавщице, а в том, в каком говорят о вещи безупречной формы. Высокая, крепкая, с округлыми плечами и тонкой талией, перетянутой кожаными фартуком. Медовые волосы, кудрявые и густые, были кое-как завязаны цветастой косынкой, и из-под косынки во все стороны выбивались кудри. Лицо круглое, с ямочками на щеках, большие карие глаза, длинные ресницы. На шее, поверх рабочей блузы, — кружевной воротничок, белый, тонкий, аккуратно приколотый брошкой. А на щеке — чёрная полоса машинного масла от виска до подбородка.

В одной руке у неё был крошечный молоточек. В другой — паяльник.

— Ой, — произнесла она, разглядывая меня. — А я тебя знаю! То есть не знаю. То есть Марта говорила! Ты наследница! Вера, да? Я Элиза. Элиза Рон. Подожди, я сейчас.

Она отложила паяльник, вытерла руку о фартук, протянула мне — увидела, что рука всё равно в масле, вытерла ещё раз о свою же юбку, махнула рукой и протянула так.

— У меня грелка сломалась, — сказала я, пожимая руку. Рука была сильная и горячая. — В печи. Гортензия сказала, что вы...

— Гортензия? — Элиза расцвела. — Она меня до сих пор боится? Это всё из-за чайника. Я ей однажды чайник показывала, самогрейный, а у него клапан сорвало, и её немножко обдало. Ну, паром. Ну, немножко. Ну, она потом неделю была кудрявая. — Элиза хихикнула. — Пошли, посмотрим твою грелку.

Она схватила с верстака сумку размером с хороший саквояж, сунула туда, не глядя, горсть инструментов и выскочила за ворота раньше, чем я успела что-то сказать. Я пошла за ней. Голубая лужица на полу за нашими спинами тихо булькнула.

Грелку Элиза осмотрела за три минуты. Постучала по ней, послушала, приложив ухо, понюхала, лизнула — я ахнула, но она только отмахнулась, — потом достала из сумки лупу и долго разглядывала поверхность камня.

— Трещина, — произнесла она. — Вот тут, видишь? Внутренний контур повреждён. Её, наверное, лет двадцать никто не обслуживал. А они требуют, их надо раз в год перезаряжать в мастерской, а то тепло утекает. Агата, наверное, не знала. Или знала, но ей было лень. Или денег не было, — Элиза вздохнула. — Тут такие трещины, что гильдейские мастера сказали бы: «Выкидывайте и покупайте новую». Новая — две кроны.

Две кроны. У меня в кассе было три. Без двух медяков, которые я отдала Мире.

— А вы что скажете?

— А я скажу: дайте мне час и ведро воды, — Элиза уже копалась в сумке. — Только ведро держите подальше от себя. На всякий случай.

Через час грелка лежала в печи и светилась ровным тёмно-оранжевым светом, а по лавке разливалось тепло. Через час и пять минут мы стояли посреди лавки, мокрые от пара, и Гортензия с верхней полки кричала, что её опять сделали кудрявой. Через час и десять минут к нам заглянула Марта, привлечённая шумом, увидела лужу, пар, мокрую сороку и меня с ведром, вздохнула и сказала:

— Ну, раз все живы, идёте ужинать.

* * *

Ужинали в «Половинке луны», за тем самым столом у окна. Мира пришла тоже, сказав, что опись на сегодня закончена, а обед ей полагается, а она пропустила, так что ужин вместо обеда. Марта поставила перед нами горшок тушёной капусты с колбасками, хлеб, масло и большой чайник, и, когда Элиза полезла было в сумку за кошельком, сказала: «Сиди уже», — тем тоном, после которого не спорят.

Я пересказала день. Управление, Кальве, рекомендацию в Гильдию оценщиков. Господина Пима. Статью сорок первую. Вырезанную страницу.

Элиза слушала, раскрыв рот. Мира — жуя. Марта — прищурившись и подливая чай.

— Пять жителей, — произнесла Марта, когда я закончила. — Не меньше десяти лет. Ну, я одна. Сорок лет. Дария, конечно. Она здесь почти тридцать живёт, с тех пор как её мать умерла. Дальше...

— Я три года, — грустно сказала Элиза.

— А я вообще нигде не живу, — сказала Мира.

— На улице тринадцать домов, — произнесла Марта, загибая пальцы. — В двух живём мы с Дарией. Агатин — твой теперь. Элизин девятый, она снимает. Одиннадцатый пустой, я рассказывала. Пекарня закрыта, уже двадцать лет как: Ферны уехали, ключ у Дарии лежит. Гостиница стоит заколоченная, как Ориана... как старая хозяйка умерла. Остальные пустые давно. Кто уехал, кто умер. Улица, милая, не очень людная. Улица — она для тех, кому надо. Последние годы, видно, мало кому надо было.

— А раньше?

— Раньше... — Марта отставила чайник. — Раньше тут жизнь была. Мадам Ренье жила в двенадцатом, шляпница. Она переехала к дочери лет пять назад, но тридцать лет здесь жила, я её помню вот такую, с булавками во рту. Тобиас...

Она запнулась. Совсем коротко.

— Кто такой Тобиас? — спросила я.

— Часовщик, — Марта взяла нож и стала резать хлеб, который был уже нарезан. — Жил в доме пять. Двадцать лет. Потом съехал. В Медный квартал, говорят, у него там мастерская. Мы не разговариваем.

— Почему?

— Потому что не разговариваем, — произнесла Марта, и нож у неё в руке стукнул по доске громче, чем следовало. — Я, милая, не сплетничаю. И о себе — тоже. Ешь колбаску.

Элиза под столом толкнула меня коленом. Я посмотрела на неё. Она сделала большие глаза и одними губами сказала: «Потом расскажу». Мира, которая всё видела, ухмыльнулась в тарелку.

— Хорошо, — ответила я. — Пятерых я, может быть, найду. План улицы — непонятно, как, раз землемер её не видит. Документ об основании — непонятно, где. Двенадцать крон пошлины. И триста сорок долга. И пятьдесят дней.

— Сорок девять, — поправила Мира с набитым ртом.

— Сорок девять. Спасибо.

Над столом повисло молчание. Марта крутила в руках чашку. Элиза смотрела в окно, на тёмную улицу. Мира подбирала хлебом подливку.

— А чем ты занималась, — спросила вдруг Элиза. — Ну, там? Откуда ты?

— Я оценщица. Антиквариата. Старых вещей. Я определяю, сколько вещь стоит, подлинная она или подделка, когда и где сделана, кому принадлежала.

— Это работа такая?

— Это работа такая.

— За это платят?

— Платят. Не мне, правда. Тем, на кого я работала.

Элиза поставила чашку так резко, что Марта вздрогнула.

— Так в чём вопрос? — глаза у неё загорелись, ямочки на щеках обозначились глубже. — Вера! Ты же оценщица! Так оценивай! За деньги! Весь Лавьер сидит на бабушкиных сундуках, у каждого второго на чердаке какая-нибудь ваза, про которую говорят: «Это ещё прапрадед привёз из Ортены, она бесценная». А она, может, и правда бесценная. А может, ей красная цена — медяк. И никто не знает! Гильдейские оценщики берут по две кроны за визит и ещё нос воротят, если дом не в Белых Садах. А ты будешь братъ, ну, серебрушку! Две! Да к тебе очередь выстроится!

— У меня нет регистрации.

— Для того чтобы сказать, что ваза — медяк, регистрация не нужна! — Элиза взмахнула руками и чуть не снесла чайник. Марта поймала его, не глядя. — Регистрация нужна, чтобы подписывать бумаги для суда и для наследства. А чтобы прийти и сказать «Тётя, это не бесценный фарфор, это фаянс с рынка», — не нужна!

Я открыла рот, чтобы возразить. И закрыла.

Потому что она была права. Совершенно, неприлично права. Это была самая простая идея из всех, какие могли прийти в голову, и ровно поэтому она мне в голову не пришла. Я восемь лет думала о себе как о сотруднике. Как о чьём-то эксперте. Мысль о том, что можно просто ходить по домам и брать деньги за то, что я умею, не появлялась у меня, кажется, никогда.

— Элиза, — сказала я медленно. — Ты гений.

— Я знаю, — собеседница улыбнулась. — Мне все это говорят. Обычно сразу перед тем, как что-нибудь взрывается.

Марта отставила чайник, сложила руки на фартуке и посмотрела на меня поверх очков.

— Только не говори, что это я тебе сказала, — произнесла она самым будничным тоном. — Но у вдовы Ферран из Ткацкого переулка полный дом барахла от покойного мужа, и она всем жалуется, что не знает, что из этого можно продать, а что выбросить. А у аптекаря Бельмона мать на прошлой неделе переехала к нему со всеми сундуками, и он ищет, куда бы эти сундуки деть, пока жена его не выгнала. И у капитана Гаспара, который на буксире, от тётки остался целый шкаф фарфора, и он мне говорил, что не отличит чашку от супницы, — она помолчала. — Это я не сплетничаю. Это я тебе обеспечиваю информационный обмен.

— Марта, — я улыбнулась. — Я вас люблю.

— Ешь колбаску, — сказала Марта. Но порозовела.

Мира подняла голову от тарелки и, облизав ложку, деловито спросила:

— А мне сколько будешь платить, если я буду клиентов искать? Я ж весь город знаю. Я ж письма разношу.

— Процент, — сказала я. — Одну десятую с каждого заказа.

Мира подумала. Губы у неё зашевелились.

— Две десятых, — произнесла она.

— Полторы.

— Договорились.

Элиза засмеялась. Марта покачала головой. Гортензии с нами не было, но мне почему-то казалось, что, будь она здесь, она бы потребовала свою долю. Одну вещь в неделю. На её выбор.

За окном, над крышами, висели три луны. Серебряная — почти полная. Золотая — тонким серпом. Чёрная — круглым провалом с ободком, и мне показалось, что ободок стал чуть шире, чем четыре дня назад.

Сорок девять дней.

Впервые за четыре дня я думала о них не как об обратном отсчёте. А как о сроке сдачи работы.

Глава 7. Первая покупательница

Вывеску нарисовала Мира. На обороте старой доски от ящика, мелом, разведённым в молоке, — так, сказала она, держится дольше, — крупными кривыми буквами, которые клонились вправо, как подвыпившие гуляки:

ОЦЕНКА СТАРЫХ ВЕЩЕЙ. НЕДОРОГО. ЧЕСТНО. ПРИХОДИМ НА ДОМ.

Ниже, мелко, она приписала: «Спросить Миру у почтамта». Я не возражала. Улицу всё равно никто не мог найти, а почтамт мог найти кто угодно.

Доску мы повесили на гвоздь у почтамта, рядом с объявлениями о сдаче комнат, пропаже собак и продаже «совершенно нового велосипеда, на котором ездили только по воскресеньям». Мира сказала, что это лучшее место в городе: все приходят на почтамт, все стоят в очереди, всем скучно, и все читают стену.

Первой клиенткой стала вдова Ферран.

Вдова Ферран жила в Ткацком переулке, в узком доме с зелёными ставнями, и встретила меня на пороге в трауре, который носила, как выяснилось, уже девятый год. Это была крупная, громкая женщина с тремя подбородками и маленькими, очень острыми глазами. Она оглядела меня с ног до головы — Мартино платье, Мартина шаль, мои тапки, которые к тому моменту уже порядком истрепались о брусчатку, — и сказала:

— А вы точно оценщица? Гильдейские в бархатных сюртуках ходят.

— Гильдейские берут по две кроны за визит, — ответила я. — А я — две серебрушки. Бархат вы оплачиваете отдельно.

Вдова Ферран подумала. Подбородки её колыхнулись.

— Проходите.

Покойный господин Ферран, как выяснилось, сорок лет собирал табакерки. Он собирал их так, как собирают люди, которые не понимают, что собирают: покупал всё, что попадалось на рынке, у старьёвщиков и на распродажах после похорон, складывал в ящики комода, в шка-тулки, в коробки из-под шляп и, кажется, ни разу не открыл ни одной. Табакерок было шесть-сот двенадцать штук. Я пересчитала.

Большая часть была мусором. Жесть с облезлой краской, рог, грубая медь, папье-маше с отпечатанными картинками. Я раскладывала их на длинном обеденном столе вдовы, ряд за рядом, и вдова ходила вдоль стола и с каждым рядом мрачнела.

— Это всё — хлам? — спросила она наконец.

— Это всё — то, что ваш муж любил, — ответила я. — Хлам — это то, что никто не любил.

Вдова Ферран посмотрела на меня странно. Потом села на стул и, к моему ужасу, тихо заплакала. Не громко, не напоказ — просто сидела, сложив руки на коленях, и слёзы катились по её трём подбородкам.

— Сорок лет, — сказала она. — Сорок лет он таскал их в дом. Я ругалась. Я говорила, что от них пыль. Я говорила, что лучше бы мне шляпку новую купил. А он говорил: «Дорогая, вот увидишь, однажды одна из них окажется сокровищем».

Я не знала, что сказать. Поэтому продолжила работать.

Сокровище нашлось на четвёртом часу. В самой дальней коробке, на дне, под тремя одинаковыми жестянками с отпечатанным портретом какого-то генерала, лежала маленькая плоская табакерка, вся чёрная от грязи. Я протёрла её краем платка — и замерла. Под грязью было золото. Не позолота — я ковырнула ногтем уголок и посмотрела на отблеск — золото. Крышка — эмаль по гильоше, глубокого синего цвета, с крошечным пейзажем в центре: озеро, лодка, ива. Внутри — клеймо мастера, три буквы, которых я не знала, и пробирное клеймо, которое я тоже не знала, но которое было сделано с такой точностью, что сомнений не оставалось.

В Петербурге такая табакерка ушла бы на торгах за сумму с шестью нулями. Здесь, я не знала. Но точно не за медяк.

— Госпожа Ферран. Ваш муж был прав, — произнесла я, смотря на предмет.

Вдова подняла заплаканное лицо. Я положила табакерку ей на ладонь. Она смотрела на неё долго, не дыша, и потом сказала тонким голосом, совсем не подходящим к её трём подбородкам:

— Ах ты ж старый дурень. Ах ты ж... Нашёл всё-таки.

Она заплатила мне две серебрушки и ещё одну сверху. Я пыталась отказаться, она сказала, что если я не возьму, она расскажет всему Ткацкому переулку, что я гордячка. Я взяла. Уже на пороге она сунула мне в руки свёрток — пирог с ревенём, ещё тёплый.

— Я его не продам, — произнесла она, кивнув куда-то в глубину дома, где на столе остались шестьсот одиннадцать табакерок и одна золотая. — Табакерку. Пусть лежит. Пусть знают, что он был прав.

Я не стала говорить, что на эту табакерку можно было бы жить года три. Это была её табакерка. И её муж.

* * *

За первую неделю я сделала девять оценок.

У аптекаря Бельмона мать оказалась сухонькой старушкой девяноста лет, которая сидела на своих сундуках, как курица на яйцах, и отказывалась открывать хотя бы один, пока я не отвечу на три вопроса. Вопросы были такие: какой камень в её серьгах, сколько лет её шали и кто расписал фарфоровую кошку на комод. Камни оказались гранатами, но не богемскими, а с какого-то местного месторождения — я сказала, что не знаю, откуда, но они темнее и с фиолетовым отливом. Старушка просияла. Шаль была шерстяная, ручного тканья, и я сказала, что ей лет пятьдесят, может, шестьдесят. Старушка обиделась: восемьдесят. Я извинилась и сказала, что шаль очень хорошо сохранилась. Старушка смягчилась. Кошку расписывала сама старушка в четырнадцать лет, о чём я не могла знать, но я сказала, что роспись детская, неуверенная, но с большой любовью, и что кошка, судя по всему, была рыжая и наглая. Старушка заплакала, как вдова Ферран, — кажется, это у меня становилось фирменным, — и открыла все сундуки.

Капитан Гаспар с буксира «Неустрасимый» оказался огромным бородатым мужчиной с серьгой в ухе и робкими голубыми глазами. Он отпер мне тёткин шкаф, отступил на три шага и сказал: «Только если там пауки, я выйду». Пауки там были. Капитан вышел. Фарфор был хороший — сервиз на двенадцать персон, расписанный вручную незабудками, и дюжина отдельных чашек, из которых две оказались действительно старыми и ценными. Я составила ему опись, указала цены, и он смотрел на меня с таким восторгом, будто я выиграла для него морское сражение.

— А вы Марте скажите, — попросил он, провожая меня до двери, — что я не боюсь пауков.

— Но вы же вышли.

— Так она ж этого не видела.

К концу недели в Мириной жестянке из-под леденцов, куда мы складывали выручку, лежала одна крона и четыре серебрушки. Плюс пирог, банка варенья от аптекарской матушки и кулёк засахаренных орешков от капитана, который Гортензия конфисковала в первые же пять минут.

Я сидела вечером за прилавком, считала, и у меня получалось так. Одна крона четыре серебрушки за неделю. Если считать грубо, без вычетов — без Мириных полутора десятых, без медяков на хлеб, без долга Марте, — то для трёхсот пятидесяти двух крон (триста сорок долга плюс двенадцать пошлины) мне понадобится двести пятьдесят недель. Почти пять лет. А у меня было сорок два дня.

— Это всё равно хорошо, — сказала Мира, заглядывая через моё плечо. Она теперь всё время заглядывала через моё плечо, и я уже перестала вздрагивать. — Девять человек за неделю. На следующей будет пятнадцать. Капитан своим матросам расскажет, у них у всех бабки с сундуками.

— Нужны большие деньги, — сказала я. — Не по серебрушке. Нужна одна большая вещь, которую можно продать за сто крон, за двести. Или десять вещей по тридцать.

— Здесь, — сказала Мира, обводя рукой полки. — Полно вещей.

— Это не мои вещи.

— Они в твоей лавке.

— Они ждут, — я кивнула на ближайшую бирку. — Видишь? «Ждёт». Не «продаётся». Правило первое.

Мира вздохнула так, будто я лично лишала её обеда.

— А если никто не придёт?

На этот вопрос ответил колокольчик.

* * *

Он звякнул не так, как обычно. Я уже успела привыкнуть к его голосу — высокому, чистому, коротковатому, — когда входила Марта, или Мира, или Элиза с очередным «я только на минуточку». Этот звук был другим. Низким, мягким, протяжным, как будто кто-то коснулся не колокольчика, а струны, и струна долго не хотела затихать.

Гортензия на подсвечнике вскинула голову.

Дверь открылась, и вошла женщина.

Лет сорока, худая, в простом тёмном платье и сером переднике. Руки у неё были красные, распаренные — руки прачки, я видела такие у бабушкиной соседки, которая всю жизнь проработала в больничной прачечной. Волосы убраны под косынку. Лицо усталое, с глубокими морщинами у рта, и глаза — растерянные, как у человека, который проснулся в незнакомом месте.

— Простите, — сказала она. — Я, кажется... Я, кажется, ошиблась дверью.

— Вы что-то ищете? — спросила я.

— Нет. То есть... — она огляделась, обхватив себя руками. — Я шла с рынка. Как обычно, по Кожевенной. И вдруг... Тут же стена всегда была. С цирком. А сегодня — улица. И я подумала: надо же, никогда не видела. И пошла. И вот.

Она стояла посреди лавки и смотрела на полки. Растерянно, беспомощно. А потом её взгляд остановился. Я проследила за ним.

На полке, у самого прохода, свёрнутая аккуратно, с кистями, лежала серая шаль. Та самая, что укрыла меня в первую ночь.

Женщина подошла к ней медленно, будто боялась спугнуть. Протянула руку, не дотрагиваясь. Рука у неё дрожала.

— Это... — сказала она. И не договорила.

— Можете взять, — сказала я. Тихо. Голос мой сам стал тихим.

Она взяла шаль обеими руками. Развернула. Прижала к лицу — и стояла так, не двигаясь, наверное, целую минуту. Плечи у неё мелко вздрагивали.

Я не прикасалась к шали, но я её чувствовала. Теперь, когда она была в руках у этой женщины, я ощущала её так же ясно, как кольцо, только совсем иначе. Не холод — тепло. Не тоску — что-то, похожее на долгий-долгий выдох. Как будто вещь, которая очень давно стояла на цыпочках, наконец-то опустилась на пятки.

— Мамина, — сказала женщина в шаль. — Это мамина. Она её связала сама. Вот тут, видите, — она показала мне край. — Вот тут петли пропущены, она тогда уже плохо видела. Она вязала её мне. На свадьбу. Не успела отдать. Она... Она в парке сидела, на скамейке. Ей врач велел гулять. Она там сидела и вязала. А потом ей стало плохо, и её увезли, и... А шаль

осталась. Я потом ходила туда. Каждый день ходила, месяц. Спрашивала у сторожа. Никто не видел.

Она подняла на меня глаза. Мокрые, красные.

— Двадцать два года, — произнесла она. — Двадцать два года назад.

— Она ждала вас, — я понятия не имела, правильно ли это говорить. Я вообще не знала, что тут полагается говорить, в этой лавке, где вещи приходят сами и ждут. Но шаль у неё в руках будто кивнула — я почувствовала это кончиками пальцев, хотя стояла в двух шагах.

Женщина вытерла лицо краем шали, совсем как, наверное, вытирала лицо в детстве краем маминого передника. Потом спохватилась, полезла в карман передника, вытащила оттуда холщовый кошелек, стала рыться.

— Сколько? Сколько я должна? У меня... У меня немного. Я сегодня за стирку получила, вот... — она вытряхнула на ладонь монеты. Медяки, коричневые, с дырками посередине. Семь штук. — Этого хватит? Я ещё принесу. Я на следующей неделе...

Я посмотрела на медяки. Семь штук. Хлеб на два дня. Мира рядом со мной замерла, и я знала, о чём она думает. О трёхстах сорока кронах. О сорока двух днях. О том, что первая покупательница — это первая покупательница.

А я думала о другом. О правиле номер два. «Цена вещи — то, что человек готов за неё отдать. Это не всегда деньги».

Эта женщина была готова отдать всё, что у неё было. Семь медяков. Свой обед, наверное. Ужин детям. Это было видно по тому, как она их держала.

— Госпожа... — начала я.

— Ланж. Сюзанна Ланж.

— Госпожа Ланж, — я сделала небольшую паузу. — Расскажите мне про вашу маму.

Она смотрела на меня, не понимая.

— Что?

— Расскажите. Какой она была. Это... — я поискала слова. — Это цена. Здесь так принято.

Сюзанна Ланж смотрела на меня ещё секунду. А потом села на табуретку, ту самую, качающуюся, на которой я стояла, когда описывала полки, — села прямо в переднике, с шалью на коленях, — и стала рассказывать.

Её маму звали Агнесса. Она была швейей, потом, когда стали болеть глаза, — вязальщицей. Она пекла по воскресеньям пирог с яблоками и всегда его пересушивала, и все делали вид, что так и надо. Она пела, когда стирала, — громко и фальшиво, на весь двор, и соседи стучали в стену, а она пела ещё громче. Она однажды отлупила мокрым полотенцем пьяного извозчика, который хлестнул лошадь у их ворот. Она боялась грозы и прятала голову под подушку, а потом смеялась над собой. Она говорила дочери: «Сюзи, никогда не выходи замуж за того, кто не умеет чинить табуретки. Такой и тебя не починит».

— Я вышла, — произнесла Сюзанна Ланж и вдруг улыбнулась сквозь слёзы. — За того, кто умеет. Двадцать три года. Он вот эту табуретку за час бы починил. Она у вас качается.

— Качается, — согласилась я.

Она рассказывала долго. Минут двадцать, может, больше. Мира сидела на ступеньке лестницы и слушала, подперев подбородок кулаками. Гортензия не издала ни звука. А я стояла за прилавком и вдруг заметила, что грассбух, раскрытый на последней странице, где Агатиным почерком были вписаны последние приходы и расходы, — шевелится.

Не сам грассбух. Строчки. Внизу страницы, под последней записью, на чистом месте, проступали буквы. Мелкие, круглые, свежими чернилами. Тот же почерк, что на бирках. Почерк лавки.

Шаль, шерсть. Вручена: Сюзанна Ланж, дочь Агнессы. Оплачено: рассказ о матери. Полностью.

Я смотрела на это и не могла отвести взгляд. Слово «полностью» было подчёркнуто. Дважды.

Когда Сюзанна Ланж ушла — с шалью на плечах, прижимая её концы к груди, — колокольчик над дверью звякнул тем же низким, долгим звуком, каким встретил её. А потом стало тихо.

Мира сидела на ступеньке и молчала. Потом сказала, не глядя на меня:

— Ты не взяла медяки.

— Не взяла.

— А нам триста сорок крон надо.

— Надо.

— Она бы отдала.

— Знаю.

Мира помолчала. Потом встала, подошла к прилавку, заглянула в гроссбух. Прочитала запись. Прочитала ещё раз, шевеля губами.

— «Полностью», — произнесла она. — Это значит, лавка довольна?

— Наверное.

— А ей нельзя сказать, что нам за это налог не примут?

Я засмеялась. Впервые за неделю — без всхлипа. Просто засмеялась.

— Скажи ей сама, — улыбка на моих губах стала еще шире. — А я пока подумаю, где взять большие деньги.

Гортензия на подсвечнике вздохнула.

— Агата, — произнесла она негромко, ни к кому особенно не обращаясь. — Тоже никогда не брала медяки. Поэтому у нас и долг.

Я посмотрела на неё. Сорока смотрела в сторону. Но в голосе у неё не было упрёка. Было что-то другое, похожее на гордость. Или на тоску.

* * *

Ночью пришли ещё две.

Я узнала об этом утром, ещё на лестнице. Пятая ступенька скрипнула, седьмая фыркнула, а на восьмой я остановилась, потому что почувствовала холод. Не телом — пальцами, висками, тем местом под рёбрами, где у меня теперь, кажется, жил дар. Холод тянуло снизу, от прилавка, точно так же, как от кольца в первый день. Только сильнее.

Гортензия ждала меня на перилах. Перья у неё стояли дыбом, как у воробья в мороз.

— Не трогай, — сказала она сразу. — Слышишь? Сначала посмотри, потом не трогай.

На прилавке, рядом с весами, лежали две вещи. Табакерка — серебряная, тяжёлая, с выгравированным на крышке гербом: башня и три звезды. И шпилька для волос — длинная, черепаховая, с жемчужиной на конце, крупной, розоватой, неправильной формы.

К каждой была привязана бирка. Я наклонилась, чтобы прочитать.

Табакерка, серебро. Отнята. Ждёт.

Шпилька, черепаха, жемчуг. Отнята. Ждёт.

— «Отнята», — прочитала я вслух.

— Такого слова, — сказала Гортензия, и голос у неё дрожал. — Лавка никогда не писала. Никогда, милочка. Сто двадцать лет я тут. Забыто — да. Потеряно — да. Оставлено, брошено, выкинуто, забыто нарочно — да. А «отнято» — никогда. Это не её вещи. То есть её, конечно, раз пришли, но они не должны были... Они не забытые. Их не забыли. У них забрали.

— Что забрали?

— Не знаю, — ответила Гортензия. — Посмотри. Только осторожно.

Я посмотрела. Через платок, сложенный вчетверо. Только кончиками пальцев и только одну секунду, прижав и сразу отняв руку от табакерки, — как трогают утюг, чтобы проверить, нагрелся ли.

Тёмная комната. Не видно стен, только круг света от лампы на столе. На столе — табакерка, моя табакерка, её табакерка, его, — и над ней рука. Рука в перчатке, чёрной, гладкой, лайковой. Рука держит прибор. Стекланный шар, с кулак, на бронзовой ножке, и из шара торчит игла, длинная, тонкая, как у швейной машинки. Игла опускается к крышке табакерки, касается герба — и из герба тянется свет. Тонкий, золотистый, как нитка, как паутинка, на которую упало солнце. Нитка тянется, тянется вверх, в иглу, в шар, — а внутри меня, внутри вещи, внутри того, кто её помнит, что-то рвётся. Как ткань. Как старое кружево, которое тянут за край. Дедушка. Дедушкин смех. Дедушкины руки, которые набивали трубку, а табак из табакерки... Нет. Нет. Чьи руки? Чей смех? Это был...

Я отдернула пальцы так резко, что сбила со стойки весы. Латунная чашка покатилась по полу, громко, долго, кругами.

— Вера? — Мира стояла в дверях. Я не слышала, как она вошла. — Вера, ты чего? Ты белая вся.

— Нормально, — ответила я. Голос был чужой. Крови не было — не успела пойти. Я отдернула руку слишком быстро. Но в голове звенело так, будто рядом ударили в колокол, а на языке был вкус меди.

Я рассказала. Мире и Гортензии, быстро, сухо, профессиональным голосом. Тёмная комната. Рука в перчатке. Прибор с иглой. Свет, который тянется из вещи, как нитка. И то, как рвётся что-то внутри человека, которому вещь принадлежала. Не забывается — рвётся.

— Это не лавка, — произнесла я в конце. — Это кто-то. Кто-то вытягивает из вещей память. А то, что остаётся, — пустую вещь, с дырой внутри, — приходит сюда. Потому что пустая вещь — это забытая вещь. Тот, кому она принадлежала, больше не помнит, что она для него значила.

Мира смотрела на меня круглыми глазами. Гортензия — неподвижно.

— И что ты будешь делать? — спросила Мира. — Кольцо тоже такое было?

— Нет. Кольцо было забыто. По-настоящему. Его хозяйка больна. А эти... — я посмотрела на табакерку и шпильку. Даже не касаясь, я чувствовала, как они холодят. — Эти украли. Кто-то пришёл в дом, взял вещь, сделал с ней это, а потом выбросил. И вещь пришла сюда.

— Ну так это ж хорошо, — сказала Мира. — Они же у нас. Значит, можно вернуть.

— Если мы их вернём, а нас спросят, откуда они у нас.

Мира замолчала. Я видела, как до неё доходит. Лавка в несуществующем доме, на несуществующей улице. Хозяйка без документов. Подручная из приюта. И краденые вещи, которые «пришли сами».

— Вчера был Кальве, — произнесла Мира медленно. — В смысле, позавчера. С кольцом. Он нас уже... Он, если узнает...

— Он узнает, — сказала я. — Потому что я ему скажу.

* * *

Мира отнесла записку на Мостовую площадь. Я написала её на клочке обёрточной бумаги, огрызком карандаша: «Господин Кальве. В лавке появились две вещи, похожие на краденые. Табакерка с гербом (башня, три звезды) и шпилька с жемчужиной. Я их не трогала. Почти. В. С.» Мира вернулась через сорок минут, запыхавшаяся, и сказала: «Он сразу встал. Даже кофе не допил. Сказал — сейчас будет». А ещё через двадцать минут колокольчик звякнул четыре раза подряд — Кальве стучал в дверь, и колокольчик, видимо, решил ему подыгрывать.

Он пришёл один, без Жилия. Пальто расстёгнуто, будто он шёл быстро, волосы растрёпаны ветром. Встал у прилавка, наклонился над вещами. Долго смотрел. Не прикасаясь.

— Табакерка, — произнес он. — Собственность семьи Дюмаре, Ореховая улица. Похищена девятнадцать дней назад. Шпилька — семья Лаверн, квартал Белых Садов. Похищена одиннадцать дней назад.

— Вы их знаете?

— Это моё дело, — он выпрямился. — Сударыня Соколова, вы понимаете, что вы сейчас сделали?

— Сообщила о находке вещей, похожих на краденые.

— Вы сообщили следователю, что в вашей лавке находятся вещи из двух нераскрытых краж. Через три дня после того, как в вашей же лавке нашлось кольцо, о краже которого заявил человек, требующий у вас обыска, — он говорил ровно, без нажима, но мне вдруг стало зябко. — Любой другой дознаватель на моём месте сейчас арестовал бы вас.

— А вы?

Он помолчал.

— Почему вы мне написали?

— Потому что это правильно.

— Это не ответ. Это лозунг.

— Хорошо, — я положила руки на прилавок, напротив его рук. — Правило номер три, — я развернула к нему grossбух, на первой странице. — «Не отдавай вещь тому, кто хочет обратить её против того, кто её забыл». Эти вещи не забыли. Их отняли. Тот, кто это сделал, обратил их против хозяев. Если я буду их прятать — я помогаю ему. Если я отдам их вам — я помогаю хозяевам. Это не лозунг. Это правило лавки. Я их выполняю.

Кальве посмотрел на страницу. На правила, написанные летящим старинным почерком. На шестое правило про сороку. Задержался на нём — и, мне показалось, что-то в его лице дрогнуло.

— Вы видели что-нибудь? — спросил он. — Как с кольцом?

Я рассказала. Тёмную комнату. Круг света. Руку в чёрной лайковой перчатке. Прибор: стеклянный шар на бронзовой ножке и игла. Свет, который тянется нитью.

Чем больше я говорила, тем меньше в его лице оставалось цвета. Он не пошевелился, не изменил позы, но я видела, как у него на скулах проступают желваки.

— Экстрактор, — сказал он, когда я закончила.

— Что это?

— Прибор, — он говорил медленно, будто вспоминал. — Его изобрели лет восемьдесят назад для врачей. Чтобы вынимать из памяти тяжёлое. Страх после пожара. Кошмары у солдат. Сначала думали, это благословение. Потом выяснилось, что он вынимает не только страх, но и всё, что рядом. Если вынуть из памяти пожар, человек забудет и дом, который горел. И мать, которая выносила его из огня. — Кальве замолчал. — Их запретили пятьдесят лет назад. Все экземпляры уничтожили. Гильдия артефакторов дала клятву никогда больше их не делать.

— Значит, кто-то нарушил клятву.

— Значит, — он посмотрел на табакерку. — У семьи Дюмаре после кражи старший сын не может вспомнить деда. Он думал, что это от потрясения. Врач сказал, что пройдёт. У Лаверн дочь не помнит, как звали бабушку, которой принадлежала шпилька. Они думали, что это нервы. Ещё в двух домах — то же самое. Четыре кражи за месяц. Все — старые семьи. Все — фамильные вещи. Ничего ценного не взяли, кроме этих вещей. Никаких следов. В Управлении это дело считают... — Он поискал слово. — Курьёзом. Мне его отдали, потому что больше никто не хотел.

— А теперь?

— А теперь у меня есть вещи и свидетель, — ответил Кальве. — Свидетель, чьи показания незаконны, потому что дар не зарегистрирован. Вещи, которые нашлись в месте, которого не существует, — он потёр переносицу, ту самую, со сросшейся горбинкой. — Блестяще.

— Я могу помочь.

— Вы и так помогли.

— Нет. Я могу помочь больше, — я наклонилась вперёд. — Если вещи с вытянутой памятью приходят сюда, значит, будут приходить и дальше. После каждой кражи. Я буду знать раньше вас. Я смогу посмотреть, что осталось в вещах. Может быть, рука в перчатке — это не всё, что я увижу. Может быть, в следующий раз будет лицо. Или комната. Или голос.

— А может быть, в следующий раз у вас из носа пойдёт кровь и не остановится.

Я осеклась. Он смотрел на меня прямо, без усмешки.

— Я видел ваше лицо в прошлый раз, — произнес он. — И сегодня тоже вижу. Вы бледная. Руки дрожат. Вы ещё не умеете с этим обращаться, сударыня Соколова. И не знаете, сколько можете выдержать.

— Поэтому я и сказала «через платок».

— Через платок, — повторил он. И на секунду мне показалось, что он сейчас засмеётся. Но он не засмеялся. — Хорошо.

— Хорошо?

— Хорошо, — он выпрямился. — Предлагаю следующее. Вещи, которые приходят в лавку с биркой «отнята», вы не трогаете без меня. Вообще не трогаете. Сообщаете мне сразу. Я прихожу, и вы смотрите в моём присутствии. Не больше одного раза в день. Если начинается кровь — прекращаете. Я записываю всё, что вы видите, как оперативные сведения. Не как показания. Для показаний вам нужна регистрация.

— А вещи?

— Вещи остаются здесь. Под печатью Управления, — он вынул из кармана моток бечёвки и плоскую жестяную коробочку с сургучом. — Если я их заберу, они будут лежать в хранилище в подвале на Мостовой. В темноте. Среди ножей и отмычек, — он замолчал. — Ваша сорока утверждает, что вещи здесь чувствуют. Я ничего не утверждаю. Но если она права, пусть лучше лежат здесь.

Я посмотрела на Гортензию. Гортензия смотрела на Кальве. В её чёрных глазах было что-то, чего я раньше не видела. Удивление, наверное.

— Он сказал «ваша сорока утверждает», — шёпотом сообщила она мне. — Ты слышала? Он меня цитирует. Фараон меня цитирует.

— Слышала.

— Это неслыханно.

Кальве, не обращая на неё внимания, обвязал табакерку и шпильку бечёвкой — крест-накрест, не касаясь самих вещей, только бирок, — и опечатал узлы сургучом. Расплавил его на огне от свечи, которую зажёл, щёлкнув пальцами над фитилём. Я отметила этот жест и не стала спрашивать. Потом он написал две расписки, одну оставил мне, вторую сложил и убрал в карман.

— Вы не боитесь, — спросила я, когда он закончил. — Что я окажусь скупщицей? Что я сама всё это устроила, а теперь пудрю вам мозги?

Он поднял на меня глаза. Светлые, серые. Внимательные.

— Скупщица, — произнес он. — Не взяла бы с собой в дело посыльную из приюта, которую я знаю в лицо. И не написала бы мне записку, где указаны приметы вещей, но не сказано, что они ценные. И не отказалась бы от семи медяков за шаль.

Я открыла рот. Закрыла.

— Откуда вы знаете про медяки?

— Сюзанна Ланж стирает бельё в прачечной на Кожевенной, — ответил Кальве. — Это в двух кварталах от Управления. Вчера вечером она рассказывала об этом всей очереди. Половина Кожевенной теперь знает, что за стеной с цирком есть лавка, где возвращают потерянное и не берут денег, — он застегнул пальто. — Ждите посетителей.

Он уже шёл к двери, когда я окликнула его:

— Господин Кальве.

— Да?

— Вы мне не ответили. В прошлый раз. Зачем господину Марро обыск в моей лавке? Он остановился на пороге. Не обернулся.

— Не знаю, сударыня, — ответил он. — Но четыре кражи из пяти — в семьях, которые в последний год продавали вещи через его аукционный дом.

Колокольчик звякнул. Дверь закрылась.

Я долго стояла у прилавка. Мира тоже. Гортензия на подсвечнике медленно, с достоинством, приглаживала клювом встопорщенные перья.

— Мне надо в аукционный дом «Марро», — решила я наконец.

— Зачем? — спросила Мира.

— У меня там дело, — я посмотрела на полки, на гроссбух, на табакерку с сургучной печатью. — Я оценщица. А Марро — крупнейший аукционный дом в городе. Мне нужны большие деньги. А ещё мне нужно посмотреть, что за человек подаёт прошение о покупке дома раньше, чем умирает его хозяйка.

— Он тебя не пустит.

— Пустит, — ответила я. — Я принесу ему кое-что на продажу.

И впервые за всё время я посмотрела на полки не как на чужое, а как на вещи, про которые нужно думать. Не о том, сколько они стоят. А о том, есть ли среди них хоть одна, которая никого не ждёт.

Бирку с надписью «Забыт нарочно. Не ждёт» я помнила. Фетровая шляпа на левой стене, вторая полка снизу. Но шляпа, даже очень хорошая, не стояла трёхсот крон.

— Гортензия, — обратилась я к сороке. — В этой лавке есть вещи, которые не ждут?

Она перестала чистить перья. И посмотрела на меня так, как, наверное, смотрела на Агату, когда та собиралась сделать что-то очень глупое.

— Есть, — ответила она медленно. — Наверху. На чердаке. Агата их туда сносила. Говорила, что их место — не здесь.

— Что это за вещи?

— Не знаю. Она меня туда не пускала, — Гортензия помолчала. — А я, между прочим, старший оценщик.

Глава 8. Дом Марро

Дверь на чердак оказалась заперта. Это было логично: Агата, по словам Гортензии, сорок лет никого туда не пускала. Нелогично было то, что ключ от неё висел на гвозде рядом с дверью, на уровне глаз, на красной шерстяной нитке. А под ключом, приколотая к двери обойным гвоздиком, висела записка. Почерк — острый, торопливый, Агатин.

Здесь то, от чего отказались. Эти вещи никого не ждут. Им можно найти новый дом. Не продавай дёшево. Не отдавай дуракам. И не пускай сюда сороку. — А.

Я прочитала записку вслух. Гортензия, сидевшая у меня на плече — она напросилась со мной наверх под предлогом «присмотреть», — оскорблённо щёлкнула клювом.

— Сорок лет, — буркнула она. — Сорок лет одно и то же. «Не пускай сороку». А я, между прочим...

— Старший оценщик.

— Вот именно.

Я посмотрела на неё. Она — на меня. Глаза-бусины блестели с той особенной надеждой, с какой ребёнок смотрит на мать перед витриной с игрушками.

— Ты можешь войти, — сказала я. — Если пообещаешь ничего не трогать без спроса.

— Обещаю.

— И ничего не брать на хранение.

Гортензия подумала.

— А если вещи будет неудобно?

— Гортензия.

— Обещаю, — сказала она скорбно.

Я повернула ключ.

Чердак был большой — во весь дом, — низкий, под скатами крыши, с маленьким круглым окном в торце, через которое лился пыльный дневной свет. Пахло сухим деревом, нафталином и мышами. Мышей, впрочем, видно не было: может быть, их распугала Гортензия, которая немедленно взлетела на балку и оттуда победно огляделась.

Вещи стояли вдоль стен и громоздились посередине, накрытые старыми простынями. Я стянула ближайшую простыню и закашлялась от пыли.

Под ней был комод. Хороший комод, тёмного дерева, с выпуклым фасадом, с бронзовыми накладками в виде дубовых листьев. Я выдвинула верхний ящик — пусто. Провела рукой по крышке — и ничего не почувствовала. Ни холода, ни тепла. Ни памяти. Комод был просто комодом.

На его боку, на гвоздике, висела бирка: *Комод. Отказано наследниками. Не ждёт.*

Я пошла дальше.

За следующие два часа я сняла простыни со всего, что было на чердаке, и составила опись. Тридцать семь предметов. Комод. Два кресла, обитых выцветшим шёлком. Ширма с вышитыми журавлями. Скрипка в футляре — хорошая скрипка, с тёплым медовым лаком и трещиной на деке, аккуратно заклеенной. Серебряные подсвечники, пара. Шкатулка из чёрного дерева с перламутром. Три картины в тяжёлых рамах: пейзаж с мельницей, натюрморт с фазаном и портрет строгой дамы в чепце, которая смотрела с холста так, будто я задолжала ей денег. Сундук с платьями — их я разбирала дольше всего, потому что платья были старые, но хорошие, и некоторые даже моего размера. Фарфоровая ваза. Каминные часы с бронзовой фигуркой пастушки. Рулон кружева.

На каждой вещи висела бирка. И почти на всех было написано одно и то же, разными словами: от вещи отказались. Её оставили сознательно. Её выставили за дверь, потому что она напоминала о плохом. Или не напоминала ни о чём. Или о ней просто не хотели помнить.

Скрипка. Отказана после ссоры с учителем. Не ждёт.

Портрет. Отказан внуками, «потому что смотрит». Не ждёт.

Платье бальное, шёлк. Отказано после расторгнутой помолвки. Не ждёт.

Ни одна из этих вещей не отзывалась под пальцами. Я трогала их без платка — сначала осторожно, потом смелее — и ничего не происходило. Как будто память из них ушла сама, тихо, без боли. Вытекла, как вода из треснувшего кувшина. Остались просто вещи: дерево, шёлк, серебро, краска.

Это было странно и немного грустно. Но, если честно, в первую очередь я подумала о том, что это — товар.

— Гортензия. Агата когда-нибудь продавала отсюда что-нибудь?

— Иногда, — ответила сорока с балки. — Когда совсем не было денег. Она уносила что-нибудь в город и возвращалась с кошельком. Злая. Говорила, что её надули.

— Кому продавала?

— Не знаю. Кому-то в городе. Она не рассказывала, — Гортензия перебрала лапами. — Она плохо продавала, милочка. Она всё время думала, что вещь стоит больше, а ей говорили, что меньше, и она верила. Потому что вещи не врут, а люди — да, но она всё равно им верила.

Вот тут я её поняла. Агату. Я сама восемь лет смотрела, как люди продают вещи за десятую часть цены, потому что им сказали, что больше не дадут. Обычно им это говорили такие, как Глеб.

Последней вещью на чердаке, в самом дальнем углу, под круглым окном, был маленький плоский ящик, обитый кожей. Я открыла его — и затаила дыхание.

На подкладке из выцветшего синего бархата лежало ручное зеркало.

Овальное, на короткой ручке. Серебро, потемневшее почти до черноты, но под чернотой угадывался рисунок — тонкая, невероятно тонкая гравировка: ветви, листья, цветы шиповника, и среди них, по краю овала, — три луны. Полная, серп и пустой кружок, залитый чернью. Серебряная, золотая и чёрная. Золотая была инкрустирована настоящим золотом, крошечной пластинкой. Чёрная — чернью, густой, бархатной. Ручка была обвита серебряной лентой с надписью, которую я не смогла прочесть — буквы были похожи на здешние, но старше, с длинными хвостами, как на первой странице гроссбуха.

Я перевернула зеркало. На обороте, у основания ручки, стояло клеймо. Крохотное, меньше ногтя мизинца: круг, а в нём — три луны, одна за другой, слева направо. Серебряная, золотая, чёрная.

Бирка была привязана к ручке. Почерк — тот же летящий, старинный, что на первой странице гроссбуха.

Зеркало. Оставлено той, что ушла. Не ждёт. Но, может быть, однажды кто-то придёт.

Я долго держала его в руках. Холода не было. Тепла тоже. Было что-то другое, очень слабое, на самом пределе — будто далеко-далеко, за много комнат отсюда, кто-то тихо закрыл дверь.

— Гортензия, — позвала я. — Ты знаешь, чьё это?

Сорока слетела с балки, села на край ящика. Посмотрела на зеркало. Посмотрела долго.

— Нет, — ответила сорока. — Но клеймо знаю. Такое же над аркой. И на печати у Дарии. И... — она запнулась. — И на некоторых вещах внизу. Старых. Очень старых.

— Это клеймо мастерской?

— Это клеймо улицы, — сказала Гортензия. — Так Агата говорила.

Я завернула зеркало в кусок бархата и положила обратно в ящик. Остальное — скрипку, подсвечники, шкатулку, кружево, часы с пастушкой — сложила у двери.

Тридцать семь предметов, от которых отказались. Если продать их правильно — не дёшево и не дуракам, как завещала Агата, — то, по моим прикидкам, выходило крон двести.

Может, двести пятьдесят. Может, больше, если зеркало действительно то, чем кажется. Это было ещё не триста пятьдесят две. Но это было уже не пять лет.

* * *

Проблема была в том, что продавать мне было не в чем.

Мартино платье я носила уже девятый день, и оно начинало пахнуть не лавандой, а мной. Мои петербургские тапки после похода к вдове Ферран и капитану Гаспару держались на честном слове. Идти в таком виде в крупнейший аукционный дом города было бы всё равно что прийти на торги «Кристис» в пижаме: впустить, может, и впустят, но никто не воспримет всерьёз.

Элиза, когда я зашла к ней посоветоваться, немедленно вывалила на верстак всё содержимое своего шкафа. Платья у неё были красивые, яркие, с кружевными воротничками, — но сшиты на её фигуру, а у меня, мягко говоря, другие пропорции. Я примерила одно, синее в мелкий цветочек, и мы обе посмотрели в зеркало.

— Ну, — произнесла Элиза. — Сверху можно подложить носовые платки.

— Спасибо.

— Или шаль. Шаль всё скроет.

— Элиза.

— Я помогаю! — она замахала руками. — Ну хорошо, хорошо. А сундук на чердаке? Ты же говорила — платье.

Я вернулась на чердак. Открыла сундук, который уже разбирала. Сверху лежало бальное платье, «отказанное после расторгнутой помолвки», шёлковое, бледно-розовое, — совершенно невозможное для деловой встречи. Под ним — тёмно-синее, с кринолином, явно столетней давности. Под ним...

Под ним лежало платье, которого в прошлый раз там не было. Я это точно помнила, потому что составляла опись.

Тёмно-зелёная шерсть, плотная, мягкая. Простой крой: облегающий лиф с рядом мелких пуговиц, узкие рукава, длинная юбка без лишних складок, высокий воротник-стойка, отделанный узкой полоской чёрного бархата. Ни кружев, ни бантов. Платье, в котором можно было бы прийти на совет директоров. Или на похороны. Или на торги.

Бирка: *Платье. Не ждёт. Пусть пригодится.*

Я надела его прямо там, на чердаке, стоя на холодных досках. Оно село так, будто его шили по мне. Пуговицы застегнулись сами — то есть я застёгивала их, но пальцы находили каждую петлю, не глядя. Рукава закончились ровно на косточке запястья. Подол — в двух пальцах от пола.

Я спустилась вниз. Мира, сидевшая за прилавком с описью, подняла голову, открыла рот и забыла его закрыть. Гортензия сказала: «О».

— Лавка, — объяснила я.

— Ты похожа на нотариуса, — произнесла Мира с благоговейным ужасом.

— Это хорошо?

— Это страшно, — ответила Мира. — Но хорошо.

Башмаки я купила на рынке, за пять серебрушек. Тупоносые, на низком каблуке, из тёмно-коричневой кожи. Продавец пытался продать их за восемь, но я спросила его, сколько он сам заплатил сапожнику, и посмотрела на него тем взглядом, которым смотрела на Глеба, когда он показывал мне финансовые отчёты. Он отдал за пять. Мира потом всю дорогу до дома повторяла: «Ты видела его лицо? Ты видела его лицо?» — и хихикала.

На это ушла треть недельной выручки. Но, как говорила моя бабушка, по одежке встречают. Встречать меня собирались по одежке, это я знала точно.

* * *

Аукционный дом «Марро» занимал целое здание на Королевской набережной — трёх-этажный особняк из светлого камня, с широкой лестницей, колоннами и большими окнами, за которыми угадывались хрустальные люстры. Над входом висел герб, выбитый в камне: птица с распахнутыми крыльями, сжимающая в когтях весы. Я остановилась перед ним на секунду. В голове всплыла рука в белой перчатке, дрожащие пальцы, перстень с тёмным камнем.

— Что? — спросила Мира. Она шла рядом и несла ящик с зеркалом, обёрнутый в холстину. Остальное — скрипку, подсвечники и часы с пастушкой — мы везли на тачке, которую одолжил капитан Гаспар. Тачку пришлось оставить у бокового входа, под присмотром мальчишки-рассыльного, которому Мира пообещала медяк и сказала, что, если он хоть пальцем тронет, она узнает.

— Ничего, — ответила я. — Пошли.

Внутри было тихо, тепло и пахло воском. Мраморный пол, на мраморном полу — ковровая дорожка. На стенах — картины в золочёных рамах. В нишах — статуи и вазы, каждая под своей лампой. Посреди вестибюля, за широкой стойкой красного дерева, сидел молодой человек с прилизанными волосами и смотрел на меня так, как смотрят на вошедшего в ювелирный магазин голубя.

— Чем могу помочь? — спросил он голосом, в котором не было ни малейшего желания помогать.

— Я хочу предложить вещи для продажи на торгах.

Он смерил меня взглядом. Зелёное платье. Башмаки с рынка. Мира с её кепкой и ящиком в холстине. Взгляд его задержался на Мириных сапогах.

— Приём вещей на комиссию осуществляется по предварительной записи, — произнес он. — Ближайшая свободная дата — через три недели. Оставьте ваше имя и адрес.

— Соколова. Улица Трёх Лун, дом семь.

Он записал «Соколова». Потом поднял голову.

— Такой улицы нет.

— Я в курсе, — спокойно ответила я. — Тем не менее у меня с собой вещь, которую вы, вероятно, захотите увидеть сегодня, а не через три недели.

— Сударыня, у нас правила.

— У меня тоже, — я пожала плечами. — Правило первое: не продавать дуракам.

Молодой человек побагровел. Мира за моей спиной издала звук, который можно было бы принять за чих.

— Что здесь происходит?

Голос был женский, холодный и чистый, как вода из горного ручья. Я обернулась.

На лестнице, ведущей на второй этаж, стояла женщина. Лет тридцати, высокая, тонкая, в платье стального цвета, сшитом так безупречно, что у меня, привыкшей к хорошим вещам, ёкнуло сердце. Тёмные волосы, гладко зачёсанные и собранные в узел на затылке. Бледное узкое лицо, высокие скулы, прямой нос, тонкие губы. Очень светлые глаза — почти прозрачные, серо-голубые. На груди, на длинной цепочке, висела лупа в серебряной оправе. Не украшение — инструмент. Я видела, как она лежит: не по центру, а чуть сбоку, там, где её удобно взять правой рукой.

Женщина, тридцать — тридцать два. Безупречная сохранность. Высочайшее качество исполнения. Провенанс — безукоризненный. Рыночная стоимость — недостижимая. Вещь, которую не выставляют на торги, потому что владельцы не продают таких никогда.

— Госпожа Марро, — пролепетал молодой человек. — Эта сударыня...

— Я слышала, — сказала женщина. — «Не продавать дуракам», — она спустилась на две ступеньки и остановилась, глядя на меня сверху. — Это вы ему или мне?

— Ему, — сказала я. — Вас я пока не знаю.

Пауза. Светлые глаза оглядели меня. Платье — задержались. Башмаки — задержались. Миру — задержались. Ящик в холстине — задержались надолго.

— Корнелия Марро, — представилась она. — Главный оценщик. Что у вас?

— Вера Соколова. Наследница Агаты Лорис.

Что-то мелькнуло в её лице. Быстро, почти незаметно — как рыба под водой. Не удивление. Скорее, узнавание.

— Поднимитесь, — наконец, сказала Корнелия Марро. — Оба. Девочка может подождать внизу.

— Девочка, — сказала я, — моя помощница. Она несёт ящик.

Корнелия посмотрела на Миру. Мира, к её чести, выпрямилась и посмотрела в ответ — исподлобья, но не отводя глаз.

— Хорошо, — кивнула Корнелия. — Поднимайтесь обе.

* * *

Её кабинет был светлым, строгим и пустым, как операционная. Большой стол, обитый зелёным сукном. Две лампы с зелёными абажурами. Полки с книгами — справочники, каталоги, реестры клейм, всё в одинаковых тёмных переплётках. Никаких безделушек, никаких картин, никаких цветов. Только на углу стола — стеклянное пресс-папье с застывшим внутри одуванчиком.

Я поставила ящик на стол. Развернула холстину. Открыла крышку.

Корнелия наклонилась над зеркалом. Взяла лупу. Смотрела долго, не прикасаясь. Потом надела белые нитяные перчатки — у неё их в ящике стола лежала целая стопка — и подняла зеркало, повернула к свету. Рассмотрела гравировку. Перевернула. Нашла клеймо. Поднесла лупу.

Я видела, как у неё на шее, над высоким воротником, бьётся жилка. Ровно, сильно и часто.

— Откуда это? — спросила она, не поднимая головы.

— Из лавки моей двоюродной бабушки. С чердака.

— Провенанс?

— Неизвестен. Бирка гласит: «Оставлено той, что ушла».

— Бирка, — повторила Корнелия. Без насмешки — просто констатировала. — Хорошо. Она положила зеркало на сукно. Сняла перчатки.

— Серебро. Работа старая, двести лет как минимум, может, больше. Гравировка ручная, очень высокого класса. Золотая инкрустация. Чернь. Клеймо — три луны в круге, — она подняла на меня свои прозрачные глаза. — Предварительная оценка — тридцать крон. Если хотите выставить на торги, дом берёт пятую часть.

Тридцать.

Я посмотрела на неё. Она — на меня. Ни один мускул не дрогнул в её лице.

— Корнелия, — произнесла я серьезным тоном. — Можно я буду звать вас Корнелией? Сударыня Марро звучит длинно.

— Можно.

— Корнелия, у вас на шее жилка бьётся, как у кошки перед прыжком. Вы смотрели в лупу на это клеймо сорок секунд. На гравировку — минуту. Вы надели перчатки, хотя на серебре и так видно, что оно не чищено лет двадцать. Это не тридцать крон.

Она не ответила.

— Я не знаю здешних цен, — продолжила я. — Это правда. Но я знаю, как выглядит человек, который держит в руках вещь, ради которой он пришёл на работу. Я сама так выглядела. Много раз. Это не тридцать крон, и вы это знаете. Вопрос только в том, сколько вы надеетесь, что я не знаю.

Корнелия медленно откинулась на спинку кресла. Сложила руки на груди. Посмотрела на меня — по-новому. Так, как я сама, наверное, смотрела на неё на лестнице.

— Сто, — сказала она.

— Я ещё не сказала, что продаю.

— Сто двадцать. С учётом нашей доли.

— Я ещё не сказала, что продаю, Корнелия.

Пауза. Где-то внизу, на первом этаже, гулко пробили часы.

— Вы оценщица, — сказала она наконец. Не вопрос.

— Да.

— Где учились?

— Далеко.

— Насколько далеко?

— Дальше Ортены. Дальше островов, — я пожала плечами. — Вы не слышали об этом месте. Но там тоже есть фальшивки.

Уголок её рта дёрнулся. Это была не улыбка. Скорее, её предупредительный выстрел.

— Хорошо, — сказала она. — Что ещё у вас есть?

Я рассказала про скрипку, подсвечники, часы, шкатулку. Про остальное на чердаке. Корнелия слушала, кивала, записывала в блокнот — быстро, коротко, явно своей собственной системой сокращений. Тут я впервые подумала, что мы с ней в чём-то похожи. Неприятное было чувство. Как увидеть в витрине своё отражение в чужом пальто.

Пока она писала, я огляделась. На краю стола лежала пачка листов, ещё влажных от типографской краски. Каталог. «Осенние торги аукционного дома Марро. Предметы старины, искусства и редкостей». Я протянула руку и, не спрашивая, взяла верхний лист. Корнелия подняла голову, но ничего не сказала.

Лот номер двадцать три. Гравюра, довольно точная, — овальное ручное зеркало с короткой ручкой, ветви, шиповник, три луны по краю. Подпись:

«Зеркало Аделаиды Лорис, основательницы Улицы Трёх Лун. Серебро, гравировка, чернь. Ок. 230 лет. Клеймо мастерской основательниц. Единственный известный предмет, достоверно связанный с легендарной Улицей. Эстимейт: 400–600 крон».

Ниже, отдельной маленькой гравюрой — клеймо. Круг. Три луны.

Я смотрела на гравюру. Потом на зеркало, лежащее на зелёном сукне. Потом снова на гравюру.

— Корнелия, — сказала я очень тихо. — Лот двадцать три у вас в здании?

— Да. В экспозиционном зале, на втором этаже. Предварительный показ начался вчера.

— Можно на него посмотреть?

Она смотрела на меня, и я видела, как у неё что-то складывается в голове. Быстро, чётко. Она была очень умная женщина. Это было видно.

— Зачем?

— Затем, что ваше клеймо в каталоге отпечатано наоборот.

* * *

Экспозиционный зал был длинный, высокий, освещённый люстрами. По стенам — витрины, в витринах — предметы. Посередине — несколько отдельных стеклянных колпаков на постаментах. Вокруг ходили люди: человек десять, может, двенадцать — дамы в шляпках, господа в сюртуках, один пожилой мужчина с тростью, который разглядывал в лорнет фарфоровую пастушку очень похожую на нашу каминную. Негромкие разговоры, шорох платьев, стук каблучков по паркету.

Лот двадцать три стоял под отдельным колпаком в центре. Овальное зеркало на синем бархате. Ветви, шиповник, три луны.

Красивое. Очень красивое. Мастер был хороший — я это признала сразу и честно, как признаю достоинства человека, которого собираюсь разоблачить.

— Откройте, пожалуйста, — попросила я.

Корнелия махнула рукой служителю. Тот снял колпак. Мира стояла рядом со мной, прижимая к груди ящик с нашим зеркалом. Люди вокруг — я почувствовала это кожей — начали поворачивать головы.

Я не трогала лот. Я наклонилась над ним и смотрела. Потом сказала, достаточно громко, чтобы Корнелия услышала, но не настолько, чтобы это было похоже на представление. Получилось, впрочем, всё равно похоже. В этом зале была отличная акустика. Как у нас в «Северной коллекции».

— Клеймо. Три луны в круге. На этом зеркале — слева направо: чёрная, золотая, серебряная, — я показала, не касаясь. — На арке над Улицей Трёх Лун — серебряная, золотая, чёрная. На печати нотариуса Вель — серебряная, золотая, чёрная. На вышивке в спальне моей бабушки — серебряная, золотая, чёрная. Прошрое, настоящее, будущее. Всегда в этом порядке. А здесь — наоборот. Мастер копировал клеймо с оттиска. С отпечатка на сургуче или на бумаге. А оттиск — это зеркальное отражение.

Тишина. Пожилой мужчина с лорнетом опустил лорнет.

— Мира, — обратилась я к своей помощнице. — Открой, пожалуйста.

Мира открыла ящик. Корнелия, не дожидаясь моей просьбы, снова надела перчатки и вынула наше зеркало. Перевернула. Поднесла к лоту, клеймо к клейму.

Серебряная, золотая, чёрная. Чёрная, золотая, серебряная.

Корнелия смотрела на два клейма, и лицо у неё было совершенно неподвижным. Только жилка на шее, над воротником, билась теперь так, что это видела, наверное, даже Мира.

— Есть и ещё кое-что, — произнесла я, уже тише. — Гравировка на лоте сделана хорошо. Но штихель шёл слишком ровно. Посмотрите на листья шиповника: у вашего зеркала каждый лист прорезан одинаковой глубины. На нашем — разной. Тот, кто резал наше, работал от руки, усталой рукой, может быть, при свечах, и к вечеру линия у него становилась глубже. Тот, кто резал ваше, работал недавно и торопился. И чернь на вашем — свежая, она ещё блестит, а старая чернь становится бархатной. Это хорошая работа, Корнелия. Очень хорошая. Но ей нет двухсот тридцати лет. Ей нет и года.

— Это возмутительно, — сказал кто-то за моей спиной. Мужской голос, высокий, обиженный. — Кто эта женщина? Корнелия, кто это?

Корнелия не ответила. Она медленно положила наше зеркало обратно в ящик. Сняла перчатки. Выпрямилась. Повернулась к залу. И сказала — ясно, отчётливо, тем самым голосом горного ручья:

— Лот двадцать три снимается с торгов в связи с необходимостью дополнительной экспертизы. Дом приносит извинения.

По залу прошёл шорох. Дамы зашептались. Мужчина с лорнетом хмыкнул. Обиженный голос что-то возмущённо сказал. Корнелия, не обращая ни на кого внимания, кивнула служителю, и тот накрыл лот колпаком.

Потом она повернулась ко мне. И впервые я увидела в её прозрачных глазах что-то живое. Это была злость. Холодная, яркая, сосредоточенная злость. Только направлена она была, как мне показалось, не на меня.

— Это было, — сказала она очень тихо. — Непрофессионально.

— Что именно?

— Говорить об этом при клиентах.

— Мне жаль, — ответила я. И мне действительно было жаль, потому что это была правда. Я знала, каково это. Я сама восемь лет назад, на своих первых торгах, видела, как пожилой

эксперт из конкурирующей фирмы при всём зале назвал «новоделом» вещь, которую атрибутировала я. Он был прав. Мне потом неделю было плохо. — Но вы бы его не сняли.

— Сняла бы, — она смотрела мне в глаза. — Я бы его сняла, сударыня Соколова. Тихо. Сегодня вечером. Потому что я оценщица, а не торговка. Вы этого не знаете. Вы меня не знаете.

Это было сказано без вызова. Просто как факт. Как я сказала ей наверху: «Вас я пока не знаю».

Я хотела ответить. И не успела.

— Корнелия, дорогая. Что за переполох?

* * *

Он вошёл в зал так, как входит хозяин в свою гостиную, где собрались гости. Неторопливо, с улыбкой, кивая направо и налево. Высокий, широкоплечий, седой — серебряные волосы, густые, зачёсанные назад, и аккуратная серебряная бородка. Лет пятьдесят пять — шестьдесят. Тёмно-синий сюртук, жилет с золотой цепочкой, трость с набалдашником в виде птичьей головы. Лицо крупное, красивое, с глубокими складками у рта, какие бывают у людей, которые много улыбаются, — и тёплыми карими глазами.

На мизинце правой руки — перстень. Тяжёлый, золотой, с тёмным камнем. На камне — птица с весами.

Я узнала руку раньше, чем лицо. Я видела её. Она дрожала, надевая кольцо на чужой палец, в саду, где осыпались белые розы.

— Отец, — сказала Корнелия. Ровно. — Лот двадцать три оказался подделкой. Я его сняла.

— Подделкой! — Ансельм Марро всплеснул руками. Голос у него был бархатный, глубокий, с лёгкой хрипотцой, — голос, которым хорошо рассказывать сказки детям или убеждать инвесторов. — Какой ужас. Какой стыд. Дамы и господа, приношу свои глубочайшие извинения. Мы немедленно разберёмся. Немедленно, — он повернулся ко мне. — А вы, если не ошибаюсь, тот самый острый глаз, которому мы обязаны спасением репутации?

— Вера Соколова, — представилась я.

— Сударыня Соколова! — он взял мою руку и поднёс к губам, не коснувшись. Пальцы у него были тёплые и сухие. Перстень холодно мазнул меня по костяшке. — Наследница Агаты! Я так и подумал, когда услышал, что кто-то выиграл спор у моей дочери. Это мало кому удаётся. Агата была мне другом, знаете ли. Старым другом. Мы много лет... — он вздохнул. — Много лет вели дела. Позвольте мне пригласить вас в кабинет. Чаю? Вы, должно быть, устали.

Его глаза — тёплые, карие, внимательные — скользнули с моего лица вниз, на ящик в руках у Миры. Крышка была открыта. На синем бархате лежало зеркало.

Ничего не изменилось в его лице. Улыбка осталась на месте. Голос не дрогнул. Только зрачки — я была достаточно близко, чтобы видеть, — на мгновение расширились, как у кошки, которая увидела в траве мышь.

— Какая прелесть, — произнес он мягко. — Это... ваше?

— Моё, — сказала я. И закрыла крышку.

Мира, умница, тут же подхватила ящик поудобнее и прижала к себе обеими руками, как прижимают ребёнка.

* * *

Чай в кабинете Ансельма Марро был отличный, в тонком фарфоре, с лимоном и печеньем. Кабинет — большой, тёплый, обитый деревом, с камином, с картинами, с витринами, в которых стояли вещи такой красоты, что я на минуту забыла, зачем пришла. Марро был очарователен. Он расспрашивал меня о лавке, о том, как я устроилась, не нужна ли мне помощь. Вспоминал Агату — «упрямую, как мул, и честную, как солнечные часы». Говорил о своей жене, Ливии, с такой нежностью и печалью, что у меня защемило сердце. «Она меня не узнаёт, сударыня. Иногда. Иногда узнаёт. Это хуже». Благодарил меня за кольцо: «Дознаватель Кальве

вернул его вчера. Я понятия не имел, что она могла... Простите, я, кажется, наговорил лишнего в полиции. Был расстроен».

И предложил.

Предложение было щедрым. Он брал на торги всё, что я принесла, без очереди, с долей дома в одну десятую вместо пятой. Он предлагал мне место эксперта в своём доме, с жалованьем, от которого у меня закружилась бы голова, если бы я ещё помнила, как выглядят деньги. Он предлагал выкупить лавку, если я решу, что не справляюсь, — «за любую разумную цену, сударыня, за любую, назовите сами», — с сохранением её облика и содержимого, «в память об Агате».

И очень мягко, между делом, будто вскользь, спросил о зеркале. Не хочу ли я выставить его тоже. Он дал бы за него, не дожидаясь торгов, двести крон. Прямо сейчас.

— Спасибо, — ответила я. — Скрипку, подсвечники и часы я оставлю. Зеркало — нет. Пока нет.

— Конечно, конечно, — он улыбнулся. — Подумайте. Я не тороплю.

— Господин Марро, — обратилась я к хозяину дома. — Можно вопрос?

— Сколько угодно.

— Ваше прошение о покупке дома Агаты. Оно датировано двадцатым вереска. Агата умерла двадцать второго.

Он не дрогнул. Ни одна складка у рта не сдвинулась.

— Ошибка моего секретаря, — ответил он с лёгкой досадой. — Я уже объяснил это нотариусу Вель. Мальчишка перепутал даты. Я его, конечно, уволил, — он развёл руками. — Агата, видите ли, была больна последний год. Мы говорили с ней о будущем лавки. Она знала, что у неё нет наследников... — он запнулся, улыбнулся. — Она думала, что нет. Я обещал ей позаботиться о лавке. Видимо, я поторопился. Это некрасиво, я понимаю. Прошу прощения.

Это было хорошее объяснение. Гладкое. Человечное. Как хорошая подделка.

— Благодарю вас за чай, — кивнула я и встала.

* * *

Мы вышли на набережную. Ветер дул с реки, холодный, сырой, пахнувший тиной и мокрым камнем. Мира несла ящик, я — расписку на скрипку, подсвечники и часы, где Корнелия своим мелким почерком поставила предварительные оценки. Двадцать пять за скрипку. Восемнадцать за подсвечники. Двенадцать за часы. Пятьдесят пять крон. Торги через девять дней.

На ступенях нас догнали. Корнелия Марро сбежала вниз без пальто, в своём стальном платье, и остановилась на две ступеньки выше. Так, чтобы смотреть сверху. Это у неё, видимо, было привычкой.

— Сударыня Соколова.

— Да?

Она помолчала. Ветер трепал выбившуюся из её узла прядь.

— Вы были правы насчёт зеркала, — произнесла она.

— Я знаю.

— Не радуйтесь, — она смотрела не на меня, а на ящик в руках у Миры. — Мой отец не выставляет вещь, не зная, что она поддельная. Никогда. За тридцать лет — ни разу.

Я замерла.

— Что вы хотите сказать?

Корнелия перевела взгляд на меня. Светлые, прозрачные глаза. Жилка над воротником больше не билась. Лицо было совершенно спокойным, и от этого спокойствия становилось холодно.

— Ничего, — сказала она. — Я ничего не хочу сказать. Я оценщица, а не торговка. Я сказала вам, что вы правы насчёт зеркала. Всего доброго.

Она повернулась и пошла вверх по ступеням. Дверь за ней закрылась бесшумно.

Мы с Мирой стояли на набережной. Река шумела внизу, серая, широкая, с белыми барашками у опор моста.

— Вера, — обратилась ко мне Мира. — Я ничего не поняла. Но он на наше зеркало смотрел, как Гортензия на пуговицу.

— Я видела.

— И если он знал, что то зеркало ненастоящее... Зачем он его тогда выставил?

Я посмотрела на ящик в её руках. На синем бархате, под крышкой, лежало зеркало с правильным клеймом. Серебряная, золотая, чёрная. «Единственный известный предмет, достоверно связанный с легендарной Улицей». Эстимейт — четыреста — шестьсот крон. Каталог, который разойдётся по всему городу. По всем, кто интересуется стариной. По всем, у кого на чердаке может лежать что-то похожее.

— Чтобы посмотреть, кто придёт с настоящим, — ответила я.

Мира ничего не сказала, только крепче прижала к себе ящик.

Я пришла. Сама. С ящиком в холстине и наглой фразой про дураков. И показала ему, при свидетелях, при его дочери, при двенадцати покупателях — вот оно, настоящее, вот клеймо, вот у кого оно лежит.

Восемь лет я ловила подделки. И только сегодня поняла, каково это — когда подделкой ловят тебя.

Глава 9. Письмо, которое опоздало на сорок лет

Зеркало спрятала Гортензия.

Это было её собственное предложение, и сделала она его с таким видом, будто сорок лет ждала этого момента. Вечером, когда мы с Мирой вернулись из дома Марро и я рассказала всё — про лот двадцать три, про клеймо, про то, как расширились зрачки у человека с перстнем, — сорока долго молчала, сидя на подсвечнике. Потом слетела на прилавок, постучала клювом по ящику и сказала:

— На хранение.

— Что?

— Давай его мне. На хранение, — она выпрямилась во весь свой невеликий рост. — Никто не знает, где мой тайник. Даже Агата не знала. Сорок лет искала — не нашла. Если кто-нибудь залезет в лавку, он будет искать в ящиках, под полом, за полками. Под стропилами никто искать не будет. Там только я.

— Гортензия, оно тяжёлое.

— У меня, — отозвалась Гортензия. — Когти.

Я посмотрела на зеркало. Посмотрела на сороку. Подумала о том, что под прилавком у меня нет сейфа, а у двери — только замок, который открывается одним ключом с биркой «7», и такой ключ, при желании, сделает любой слесарь за полчаса.

— Хорошо, — кивнула я. — Только без ящика. Ящик я уберу отдельно, пусть ищут ящик.

Гортензия посмотрела на меня с внезапным уважением.

— Ты хитрая, — усмехнулась сорока. — Агата не была хитрой.

Я завернула зеркало в кусок бархата, перевязала бечёвкой так, чтобы получилась петля. Гортензия подцепила петлю лапами, тяжело, с усилием взмахнула крыльями — зеркало было явно тяжелее её — и, раскачиваясь, кренясь набок, ругаясь вполголоса словами, которых улица мне почему-то не перевела, поднялась под потолок и скрылась где-то в темноте между балками. Оттуда донеслась возня, шуршание и тихое удовлетворённое урчание.

Потом стало тихо.

— Гортензия? — позвала я.

— На хранении, — послышалось сверху. — Можешь спать спокойно. И мне за это платится орех. Нет, два. Это была сверхурочная работа.

Я дала ей три.

* * *

Письмо пришло утром.

Я спустилась вниз в половине восьмого, как привыкла за эту неделю: умыться, постучать по грелке, чтобы не остыла, поставить чайник на маленькую спиртовку, которую Элиза приспособила за прилавком. Мира должна была прийти к девяти. Гортензия ещё спала — или делала вид, — нахохлившись на подсвечнике.

Письмо лежало на прилавке, прямо посередине, поверх раскрытого грессбуха, как будто его кто-то положил, чтобы я точно не пропустила.

Конверт был старый. Очень старый. Бумага пожелтела до цвета топлёного молока, края обтрепались и стали мягкими, как ткань. На лицевой стороне чернилами, которые выцвели до бледно-коричневого, было написано аккуратным, немного угловатым почерком, каким пишут люди, привыкшие к мелкой точной работе:

Сударыне Марте Брей. Улица Трёх Лун, дом десять. В собственные руки.

Конверт был запечатан. Сургуч — красный, потрескавшийся, с оттиском простой печати: шестерёнка.

К уголку конверта была привязана бирка. Почерк лавки, мелкий и круглый.

Письмо. Не доставлено. Ждёт сорок лет.

Я долго смотрела на него. Потом пошла к двери, открыла её и выглянула на улицу. Утро было пасмурное, сырое, по брусчатке тянуло туманом. В «Половинке луны» уже горел свет: Марта всегда открывалась в семь, к тому моменту, когда приходила Агата за чаем с чабрецом. Агаты больше не было, а Марта всё равно открывалась в семь. Я видела через запотевшее окно, как она ходит за стойкой, переставляет чашки, протирает их полотенцем.

Сорок лет.

Я закрыла дверь. Вернулась к прилавку. Посмотрела на письмо.

Читать чужие письма я не умею. Это не моральный принцип, это профессиональная деформация. За восемь лет мне приносили на оценку сотни писем — любовных, деловых, военных, — и каждое я рассматривала так, как рассматривают документ: бумага, чернила, почерк, печать, дата, адрес. Содержание меня интересовало только в той мере, в какой оно помогало установить подлинность. Если письмо было запечатано, я его не вскрывала. Никогда. Однажды мне принесли пачку нераспечатанных конвертов времён Первой мировой — письма с фронта, которые не дошли до адресата. Владелица, правнучка того солдата, просила оценить, сколько они стоят. Я сказала, что ничего. Что они стоят ровно столько, сколько стоят для неё. Она заплакала и ушла, не вскрыв ни одного. Глеб потом неделю мне выговаривал, что я упустила хорошую партию.

Это письмо я тоже не собиралась вскрывать. Но мне нужно было понять, кому его отдавать. Правило первое: тому, кому оно нужно. Адресату — понятно. Но почему оно не дошло? И почему пришло сейчас?

Я сложила платок вчетверо, накрыла им конверт и коснулась кончиками пальцев. Осторожно. Как утюг.

Тиканье. Множество часов тикают вокруг, вразнобой, как дождь по крыше. Свет лампы на верстаке, жёлтый, тёплый. Рука — молодая, жилистая, с тонкими пальцами, на одном пальце — ожог от паяльника, — выводит буквы. Медленно. Зачёркивает. Начинает заново. Ещё раз. Сердце колотится так, что перо дрожит. Наконец — последняя строчка. Подпись. Сургуч, печатка-шестерёнка, нажать, подержать.

Улица. Тот же поворот, те же дома, только окна светятся почти во всех. Мальчишка — рыжий, в большой кепке, с почтовой сумкой. «Вот. В десятый дом. В собственные руки. Сегодня же». Монета переходит из руки в руку — серебрушка, целая серебрушка, слишком много за доставку. Мальчишка ухмыляется, убегает. А потом...

Потом — лужа. Большая, осенняя, на углу Кожевенной. Мальчишка бежит, перепрыгивает, сумка бьёт его по боку, клапан открыт, и конверт вылетает, кружится в воздухе, падает в воду. Мальчишка не замечает. Бежит дальше. Конверт лежит в луже. Потом на него наступает лошадь. Потом его отбрасывает колесом под забор. Потом его замечает листьями.

И где-то в доме с часами молодой человек с ожогом на пальце стоит у окна, на часах без четверти четыре, он ждёт ответа, он ждёт, он...

Я отняла руку.

Крови не было. Только в груди саднило, как бывает, когда долго бежишь на морозе. И почему-то очень хотелось плакать — не от горя, а от досады. От той острой, нелепой досады, которая бывает, когда в фильме двое героев расходятся в дверях, не заметив друг друга, и хочется крикнуть экрану: «Да обернись же ты!»

Я посмотрела на напольные часы в углу. Большие, тёмного дерева, с медным маятником за стеклом. Они стояли с моего первого дня. Без четверти четыре.

— Гортензия, — позвала я.

— Сплю, — ответила сорока, не открывая глаз.

— Кто сделал эти часы?

Пауза. Гортензия приоткрыла один глаз.

— Тобиас, — сказала она. — Часовщик. Он для Агаты делал. Давно. Ещё когда тут жил. А что?

— Когда они остановились?

Гортензия открыла второй глаз. Посмотрела на часы, потом на меня, потом на письмо на прилавке. И вдруг встрепенулась, взъерошилась вся, как от холодной воды.

— Ох, — задумчиво произнесла она. — Ох, милочка. Сорок лет назад. Осенью. Агата всё время говорила — надо позвать Тобиаса, пусть починит. А он не приходил. А потом съехал. А часы так и стояли.

* * *

— Свести их! — сказала Элиза.

Она сказала это с таким восторгом, что опрокинула чашку. Чай разлился по прилавку, и Мира, которая к этому моменту уже пришла и сидела на табуретке с описью на коленях, вскочила, спасая бумаги.

Было десять утра. Элиза прибежала в лавку, потому что Мира, прежде чем прийти ко мне, заглянула к ней в мастерскую сказать, что я «сiju над каким-то письмом с таким лицом, будто кто-то умер». Элиза бросила паяльник и примчалась, на ходу развязывая фартук. Фартук она так и не развязала, и он висел на ней одной лямкой.

Я рассказала им всё. Про письмо, про мальчишку, про лужу, про часы, остановившиеся без четверти четыре. Мира слушала молча, нахмурившись. Элиза — прижав кулаки к груди и всё шире раскрывая глаза.

— Свести! — повторила она. — Вера, ты понимаешь? Это же... Это ж как в романе! Сорок лет! Он написал, а она не получила! Он думал, что она отказала, а она думала, что он не спросил! И они сорок лет... Ой, я сейчас заплачу.

— Не плачь на опись, — буркнула Мира. — Чернила поплывут.

— Мне надо просто отдать ей письмо, — ответила я. — Это её письмо. Правило первое.

— Нельзя просто так! — Элиза схватила меня за руку. — Ей шестьдесят пять лет! У неё сердце! Ты представляешь: она открывает конверт, а там — предложение руки и сердца! От мужчины, с которым она сорок лет не разговаривает! Она же упадёт!

— Марта не упадёт, — возразила Мира. — Марта капитана Гаспара однажды скалкой выгнала, он вдвое её больше.

— Вот именно! Скалкой! — Элиза взмахнула руками. — А если она его опять скалкой? Тобиаса? Он же старенький уже, наверное. А если он женат? А если у него дети? А если он умер?

— Он не умер, — произнесла я. — Марта говорила, у него мастерская в Медном квартале.

— А если женат?

Мы замолчали. Этого я не знала.

— А откуда ты знаешь, что там предложение? — спросила Мира. — Ты ж его не читала.

— Не читала, — я посмотрела на письмо. — Но я видела, как он его писал. Так пишут только две вещи. Предложение. Или завещание.

Элиза тихонько взвыла и закрыла лицо руками.

— Значит, так, — сказала она сквозь пальцы. Потом опустила руки, и лицо у неё было решительное, как у полководца перед битвой. — Значит, так. Сначала мы идём к Тобиасу. Узнаём, женат ли он. Жив ли. Помнит ли. А потом уже — к Марте.

— Мы не можем просто прийти и спросить: «Господин Грен, вы женаты? Мы к вам по поводу письма сорокалетней давности».

— Конечно, не можем, — согласилась Элиза. — Нужен предлог.

Мы посмотрели друг на друга. Потом все трое, не сговариваясь, повернули головы к напольным часам в углу.

Без четверти четыре.

* * *

Медный квартал оказался районом мастерских — узкие улочки, низкие дома с широкими окнами, вывески, вывески, вывески: «Лудильщик», «Ключи и замки», «Починка зонтов», «Позолота и серебрение». Из дверей пахло горячим металлом, кислотой и угольным дымом, и отовсюду доносились звуки: стук молотков, визг напильников, шипение паяльных ламп. Элиза шла по этим улочкам, как ребёнок по ярмарке, и через каждые десять шагов останавливалась, чтобы заглянуть в чью-нибудь витрину и сказать: «Ой, смотри, какой у него резец!»

Мастерская Тобиаса Грена была в самом конце, в тупичке, под вывеской в виде циферблата без стрелок. Под циферблатом — надпись, скромная, выцветшая: «Т. Грен. Часы всех систем».

Мы вошли — и я остановилась.

Часы были везде. На стенах, на полках, на полу, на подоконниках, на прилавке, на свисающих с потолка цепях. Настенные с кукушками, настенные с маятниками, настольные в бронзе, в мраморе, в деревянных корпусах, карманные в витринах, разложенные рядами, как бабочки в коллекции. Маленькие, с ноготь, и огромные, выше человеческого роста. И все они тикали. Вразнобой, каждые в своём ритме, и этот звук был таким же, как в моём видении: как дождь по крыше. Только теперь это был не дождь, а ливень.

— Иду, иду! — раздался голос из-за занавески в глубине. — Минуточку!

Занавеска отодвинулась, и вышел старик.

Высокий, сутулый, очень худой — одежда висела на нём, как на вешалке. Лысина, обрамлённая венчиком белых волос, торчащих во все стороны, будто их только что ударило током. На лбу — часовая лупа на ремешке, сдвинутая вверх. Лицо узкое, морщинистое, с длинным носом и неожиданно яркими, тёмными, живыми глазами. На руках — я сразу посмотрела на руки — старые пятна, вздувшиеся вены, тонкие длинные пальцы. И на указательном левой — давний, побелевший шрам от ожога.

— Чем могу служить, сударыни? — он оглядел нас троих, задержался на Элизе — она ему улыбнулась так, что он заморгал, — и снова посмотрел на меня.

— Господин Грен? — сказала я. — Тобиас Грен?

— Он самый.

— Меня зовут Вера Соколова. Я... Я новая хозяйка лавки Лорис. На Улице Трёх Лун.

Что-то произошло с его лицом. Оно не изменилось — просто как будто замерло. Как замирает маятник в верхней точке, на долю секунды, перед тем как пойти обратно.

— Агата, — сказал он тихо. — Да. Я слышал. Мне жаль.

— У неё в лавке стоят ваши часы. Напольные, в углу. Они остановились. Я бы хотела их починить.

— Без четверти четыре, — сказал Тобиас.

Я вздрогнула. Элиза рядом со мной тихо ахнула. Мира, стоявшая у двери, перестала разглядывать кукушку на стене.

— Откуда вы знаете?

Тобиас не ответил сразу. Он снял лупу со лба, повертел её в пальцах, положил на прилавок.

— Я их делал, — ответил он. — Для Агаты. Сорок один год назад. А через год они остановились. Агата прислала мне записку, просила зайти. Я... — он улыбнулся, и улыбка у него была грустная. — Я не зашёл. Часы, знаете ли, иногда останавливаются не потому, что сломались.

— А почему?

— А потому, что ждут.

Вот тут Элиза не выдержала.

Я её не виню. Я понимаю, как это было. Она стояла рядом со мной, вся натянутая, как струна, со слезами на глазах, с письмом, которое лежало у меня в сумке, и слушала, как старый часовщик говорит «ждут» — тем голосом, каким говорят о покойниках и о первой любви. И у неё просто сорвало клапан. Как у того самогрейного чайника.

— Господин Грен! — выпалила она, шагнув вперёд. — А вы женаты?

Тобиас моргнул.

— Простите?

— Элиза, — шикнула я.

— Нет, подожди! Это важно! — Элиза схватила старика за рукав. — Господин Грен, скажите честно: вы женаты? У вас есть кто-нибудь? Сердце ваше свободно?

— Сударыня... — Тобиас посмотрел на неё, потом на меня, потом снова на неё, и в его тёмных глазах появилось выражение человека, который понимает, что разговор пошёл куда-то не туда, но не понимает куда. — Я не... Нет, я не женат. Никогда не был. Но...

— Прекрасно! — Элиза просияла. — Вера! Ты слышала? Он не женат!

— Я слышала, Элиза.

— Сударыни, — Тобиас осторожно высвободил рукав. — Я, право, польщён, но я не совсем понимаю...

— Господин Грен, — произнесла я, решив, что пора брать дело в свои руки, пока Элиза не сделала хуже. — Простите мою подругу. Мы пришли к вам с одним предложением...

Это было неудачное слово. Я поняла это, ещё не договорив.

Тобиас побледнел. Отступил на шаг. Посмотрел на меня — на мою молодость, на моё строгое зелёное платье, на мою сумку, на Элизу, которая сияла рядом со мной, как невеста на картинах, — и лицо его медленно залилось краской. От шеи до самой лысины.

— Сударыня, — произнес он слабым голосом. — Сударыня Соколова. Вы очень... Вы очаровательная молодая особа. И ваша подруга тоже. Но я... Мне шестьдесят восемь лет. И моё сердце, видите ли, сорок лет как занято. Я не могу принять... никакого предложения.

— Да нет же! — покачала я головой. — Я не вам предлагаю! То есть вам, но не себя!

— Не себя? — Тобиас перевёл испуганный взгляд на Элизу.

— И не её!

— Не меня! — подтвердила Элиза. И тут же добавила, совершенно некстати: — Хотя вы очень милый.

— Элиза!

— Я просто сказала!

Колокольчик над дверью звякнул. Мы трое — я, Элиза и Тобиас — так увлеклись, что не обернулись. А Мира, стоявшая у двери, обернулась — и издала звук, похожий на кваканье.

— Господин Грен, — сказала я твёрдо, отчётливо и громко, чтобы наконец пробиться сквозь недоразумение. — Послушайте меня. Я пришла сказать вам, что вы должны жениться. Не на мне. Сорок лет — это достаточно. Хватит ждать.

— Поздравляю, господин Грен, — сказал за моей спиной знакомый ровный голос.

Я обернулась.

В дверях стоял Адриан Кальве. В сером пальто, с котелком в руке. Ни одна черта на его лице не дрогнула. Только в серых глазах — я была уверена, абсолютно уверена — плясало что-то такое, чего я раньше в них не видела.

— Господин Кальве... Это не то, что вы подумали, — только и смогла выдавить я из себя.

— Я ничего не подумал, сударыня Соколова. Я пришёл за часами, — он положил на прилавок карманные часы в стальном корпусе, простые, без украшений. — Господин Грен, вы обещали к четвергу. Сегодня четверг.

— Да-да, — Тобиас, всё ещё красный, схватил часы, как утопающий хватается доску. — Готовы. Сейчас. Один момент.

Он скрылся за занавеской. Мы остались — я, Элиза, Мира и Кальве — посреди ливня тиканья.

— Мы обсуждали часы, — сказала я.

— Я так и понял.

— Напольные часы. В лавке.

— Конечно.

— И одну личную историю. Не мою.

— Безусловно.

— Господин Кальве, перестаньте.

— Я ничего не делаю, сударыня, — он стоял, держа котелок за поля, совершенно неподвижно. — Я жду свои часы. Вы делаете предложение часовщику. Каждый занят своим делом.

— Я не делала предложения!

— «Вы должны жениться. Хватит ждать», — процитировал он невозмутимо. — Я записываю дословно, это профессиональная привычка.

Элиза за моей спиной издала тихий, придушенный звук и уткнулась лицом в плечо Миры. Плечи у неё тряслись. Мира смотрела в потолок с выражением мученицы.

— Это недоразумение! Я могу объяснить.

— Не нужно, — покачал головой Кальве. — Я уверен, что ваше объяснение будет логичным, последовательным и подкреплённым документами.

Тобиас вынырнул из-за занавески с часами, вложил их Кальве в ладонь. Кальве открыл крышку, послушал, кивнул, расплатился — две серебрушки — и надел котелок.

— Всего доброго, господин Грен, — сказал он. — Сударыни.

У двери он остановился и чуть повернул голову.

— Сударыня Соколова. Если вы закончили со сватовством, зайдите в Управление. Завтра. Есть новости по нашему делу.

— Я не сваталась!

— Я так и запишу, — сказал Кальве. И вышел.

Колокольчик звякнул. Элиза оторвалась от Миры и, всхлипывая от смеха, простонала:

— Вера... Вера, его лицо... Ты видела...

— Я видела, — ответила я сквозь зубы.

— Он улыбался!

— Он не улыбался.

— Внутри! Внутри улыбался! Я видела!

Тобиас смотрел на нас с растерянным, почти испуганным видом человека, к которому в мастерскую ворвались три сумасшедшие. Я глубоко вздохнула. Достала из сумки письмо. И положила его на прилавок, перед ним.

Он посмотрел на конверт.

Очень долго смотрел. Не прикасаясь. Тиканье вокруг вдруг стало громче, или мне так показалось, — сотни часов, вразнобой, как дождь, как ливень, как сорок лет.

— Это... — сказал он. Голос у него сломался. — Это же...

— Его не доставили, — сказала я тихо. — Мальчишка-посыльный уронил его в лужу на углу Кожевенной. Он не заметил. Письмо пролежало там, под листьями, а потом... потом оно пришло в лавку. Сегодня ночью. Оно ждало сорок лет.

Тобиас протянул руку. Пальцы у него дрожали. Он коснулся конверта — красного потрескавшегося сургуча, своей шестерёнки, — и отёрнул руку, будто обжёгся.

— Она не получила, — прошептал он.

— Нет.

— Она не... Я ждал. Я ждал у часовой башни. В четыре. Я написал: если да — приходи к башне в четыре. Я стоял там до темноты. Она не пришла. Я думал... — он закрыл глаза. —

Сорок лет я думал, что она отказала. Что она не хотела даже... даже ответить. Даже прийти и сказать «нет».

— А она, — ответила Мира от двери, тихо и хрипло. — Сорок лет думала, что вы так и не спросили.

Тобиас открыл глаза. Посмотрел на Миру, потом на меня. Тёмные глаза его были мокрыми.

— Откуда вы знаете?

— Марта не сплетничает, — покачала я головой. — О себе — тем более. Но я видела, как она стукнула ножом по доске, когда сказала ваше имя. Так стучат, когда очень долго злятся. На того, кого очень долго... — я не договорила.

Мы помолчали. Часы тикали.

— Это её письмо, — сказала я. — Не ваше. Вы отправили его ей, значит, оно её. Я отнесу. Но я хотела, чтобы вы знали. Прежде чем она прочитает.

Тобиас кивнул. Медленно. Потом ещё раз. Потом снял со стены маленький ключ на шнурке — длинный, тонкий, с узорной головкой, — и положил рядом с письмом.

— Это от напольных, — произнес он. — Для Агаты. Ключ завода. Я его тогда так и не...
Передайте ей тоже. Марте. Пусть она решит, заводить или нет.

* * *

Письмо я отдала Марте вечером, после закрытия.

Я пришла в «Половинку луны», когда последний посетитель — какой-то незнакомый мне старик с трубкой, который весь вечер сидел в углу, — ушёл. Марта мыла чашки за стойкой. Рыжий кот лежал на печи. Элиза и Мира остались в лавке: Элиза сказала, что не выдержит, если увидит, и что она будет подсматривать в окно, и что я ей потом всё расскажу, вот прямо всё-всё. Мира сказала, что подсматривать не будет, потому что это неприлично, и тут же заняла место у окна.

Я положила письмо на стойку. И ключ рядом.

Марта посмотрела на конверт. Потом на ключ. Потом на меня. Чашка в её руке застыла.

— Это пришло сегодня ночью в лавку, — сказала я. — Его не доставили сорок лет назад. Мальчишка уронил его в лужу. Я его не читала. Ключ — от часов Агаты. Тобиас просил передать.

Марта не сказала ни слова. Поставила чашку. Вытерла руки о фартук — медленно, тщательно, каждый палец. Взяла конверт.

Я вышла. Тихо закрыла за собой дверь.

Я не подсматривала. Честное слово. Я встала у стены рядом с окном, спиной к нему, и смотрела на улицу, на три луны над крышами, на туман, который полз по брусчатке, и слушала, как в лавке напротив Элиза шёпотом спорит с Мирой, кто из них лучше видит. А потом всё-таки повернула голову. Совсем чуть-чуть. Потому что я тоже человек.

Марта сидела за столиком у окна. Тем самым, где я ела суп в первую ночь. Письмо лежало перед ней, раскрытое. Она не плакала. Она сидела очень прямо, сложив руки на коленях, и смотрела на листок. Потом сняла очки. Достала из кармана фартука платок. Протёрла очки — медленно, тщательно, как только что вытирала руки. Надела обратно. И снова стала читать. С начала.

Рыжий кот спрыгнул с печи, подошёл и сел у её ног. Марта, не глядя, опустила руку и погладила его. Один раз. Потом снова сложила руки.

Я отвернулась. Это было не моё. Это был не мой разговор.

* * *

На следующее утро, в половине восьмого, когда я открыла дверь лавки, чтобы впустить свежий воздух, «Половинка луны» была закрыта. Впервые за неделю. На двери висела табличка, написанная от руки: «Закрыто до обеда. Не стучать».

А через минуту дверь открылась, и вышла Марта.

На ней было тёмно-синее платье с белым кружевным воротником, которого я раньше не видела. Шерстяное пальто, перешитое явно не один раз, но вычищенное до блеска. Перчатки. И шляпка. Маленькая, соломенная, совершенно не по сезону, с тёмно-красной лентой и пучком искусственных вишен сбоку.

Она заперла дверь, подёргала ручку, проверяя. Повернулась. Увидела меня.

Мы смотрели друг на друга через улицу. Туман клубился у её ног.

— У меня дела, — как будто бы виновато, произнесла Марта. — В Медном квартале.

— Хорошо, — кивнула я.

— Не спрашивай.

— Не спрашиваю.

— Я не сплетничаю, — буркнула Марта. — И о себе — тем более.

— Я знаю.

Она поправила шляпку. Вишни качнулись.

— Ключ, — сказала она, будто вспомнив. — От часов. Он у меня. Я его тебе потом отдам. Или... — она помолчала. — Или сама занесу. С кем-нибудь.

И пошла вверх по улице, к арке. Прямая, маленькая, в старом пальто и летней шляпке с вишнями. Не оглядываясь.

Из окна мастерской напротив, через улицу и наискосок, высунулась Элиза — в ночной сорочке, с распущенными кудрями, с паяльником в руке, который она, видимо, схватила спросонья. Посмотрела вслед Марте. Посмотрела на меня. Открыла рот.

Я приложила палец к губам.

Элиза закрыла рот. Прижала паяльник к груди. И беззвучно, одними губами, со слезами на глазах, сказала: «Вишни!»

Над дверью у меня за спиной тихо звякнул колокольчик. Я обернулась — никого. А в углу лавки, в полумраке, за стеклом напольных часов, медный маятник, сорок лет висевший неподвижно, вдруг качнулся. Один раз. Будто кто-то толкнул его пальцем.

И замер снова. Без четверти четыре.

Ключ был у Марты.

Глава 10. Клеймо с тремя лунами

— Кофе? — спросил Кальве.

— Нет.

— Вы даже не дослушали.

— Я дослушала в прошлый раз. Мне хватило на всю оставшуюся жизнь.

Он кивнул, будто именно такого ответа и ждал, налил кофе себе — из того же медного ковшика, в ту же шербатую фаянсовую кружку с отбитой ручкой — и отпил. Не поморщившись. Я смотрела на это с тем же чувством, с каким в детстве смотрела в цирке на шпагоглотателя.

— Как вы это пьёте?

— Привычка.

— К чему? К страданию?

— К тому, что не спишь третьи сутки, — он поставил кружку. — Садитесь, сударыня Соколова. И, если можно, без сватовства.

— Я не...

— Шучу.

Я села. Посмотрела на него. Он посмотрел на меня. Лицо у него было совершенно серьёзным.

— Вы не шутите, — покачала я. — Вы не умеете шутить.

— Барро говорит то же самое, — он вытянул из стопки на столе папку, толстую, перетянутую бечёвкой. — Это, видимо, общее мнение. Смотрите.

Он развязал бечёвку и разложил передо мной листы. На каждом — рисунок, тонкий, аккуратный, тушью, с пометками на полях. Табакерка с башней и тремя звёздами — та самая, что лежала у меня на прилавке под сургучом. Шпилька с жемчужиной. Брошь в виде ветки с тремя ягодами. Футляр для очков, серебряный, с резной крышкой. И медальон — круглый, плоский, на тонкой цепочке.

— Пять.

— Верно. Медальон похищен позавчера ночью. Семья Ривьер, Каштановая улица. Старший сын, Матьё Ривьер, сегодня утром не смог вспомнить, как выглядела его мать. Она умерла четыре года назад. Портрет висит у него над кроватью. Он смотрит на портрет и говорит, что не знает эту женщину.

Я молчала. Рисунок медальона лежал передо мной, и мне не нужно было касаться его, чтобы почувствовать холод.

— Брошь и футляр похищены раньше, — продолжил Кальве. — До табакерки. Они к вам не приходили?

— Нет.

— Значит, не все вещи приходят. Или приходят не сразу.

— Или их не все выбросили, — предположила я. — Может быть, некоторые он оставил себе.

Кальве посмотрел на меня. Внимательно. Коротко кивнул и записал что-то на полях.

— Наш художник зарисовал все вещи по описаниям владельцев и, где было возможно, по старым портретам и фотографиям, — сказал он. — Посмотрите внимательно. Есть что-нибудь общее?

Я наклонилась над листами.

Сначала — ничего. Разные вещи, разные материалы, разные эпохи — нет, это я определить не могла, рисунки были слишком схематичными. Табакерка — классическая, массив-

ная. Шпилька — изящная, лёгкая. Брошь — простая, почти деревенская. Футляр для очков — строгий, мужской. Медальон...

Медальон был нарисован в двух видах — открытый и закрытый. На открытом, на внутренней стороне крышки, художник старательно изобразил гравировку: какой-то вензель из переплетённых букв. А под вензелем, у самого шарнира, крохотная, почти незаметная пометка тушью. Кружок. И в нём — три точки. Нет, не точки.

Я выпрямилась.

— У вас есть лупа?

Кальве молча выдвинул ящик стола и протянул мне лупу на деревянной ручке — большую, тяжёлую, с медной оправой. Я поднесла её к рисунку.

Кружок. И в нём — три крошечных луны. Полная, серп, залитая тушью.

— Ваш художник, — сказала я, не отрывая глаз от лупы. — Очень хороший художник.

— Я передам, — Кальве наклонился над столом. Я чувствовала его рядом — тепло, запах. Горелый кофе, бумага, чернила и что-то ещё, хвойное, острое, как будто он мылся дегтярным мылом. — Что вы видите?

— Клеймо. Три луны в круге. Серебряная, золотая, чёрная. — Я перевела лупу на рисунок табакерки. Там, на шарнире крышки, — то же самое. Ещё мельче, но художник не пропустил. Шпилька — на основании, где черепаха переходит в серебряный зажим. Брошь — на обороте, у застёжки. Футляр — на донышке. — На всех пяти.

Я отложила лупу.

— Это клеймо улицы. Такое же над аркой. На печати нотариуса Вель. На зеркале, которое я позавчера отнесла в аукционный дом Марро.

Кальве выпрямился.

— Какое зеркало?

Я рассказала. Чердак. Зеркало в кожаном ящике. Корнелия и её жилка над воротником. Лот двадцать три — «Зеркало Аделаиды Лорис, основательницы Улицы Трёх Лун», эстимейт четыреста — шестьсот крон. Клеймо, отпечатанное наоборот. Ансельм Марро, его улыбка, его зрачки, его чай с лимоном. Предложение — двести крон наличными, прямо сейчас. Слова Корнелии на ступенях: «Мой отец не выставит вещь, не зная, что она поддельная».

Я говорила минут десять. Кальве за это время не произнёс ни звука. Он стоял у стола, опираясь на него обеими руками, и лицо у него было такое, какое я видела у него только раз, — когда я рассказывала про экстрактор. Только сейчас под скулами не ходили желваки. Сейчас всё было ещё хуже: лицо было совершенно неподвижным, будто высеченным из того же камня, что колонны Управления.

— Вы показали ему зеркало, — произнес он, когда я закончила.

— Да.

— При свидетелях.

— Да.

— При двенадцати покупателях, его дочери и его служащих.

— Да, — я сжала руки на коленях. — Я не знала. Я поняла, только когда вышла.

— Где оно сейчас?

— В надёжном месте.

— Где?

— У сороки.

Пауза. Где-то за дверью кто-то уронил что-то тяжёлое и выругался.

— У сороки, — повторил Кальве.

— У неё тайник под стропилами. Агата сорок лет искала — не нашла.

Он медленно опустился на стул. Потёр лицо ладонями. Посидел так, не отнимая рук. Потом опустил их и посмотрел на меня.

— Сударыня Соколова, — произнес он очень ровно. — Вы понимаете, что сделали себя мишенью?

— Понимаю.

— Если человек, который ворует вещи с этим клеймом и вытягивает из них память, узнает, что у вас есть вещь с этим клеймом...

— Я понимаю, господин Кальве.

— ...которая, судя по всему, принадлежала одной из основательниц улицы, то есть, возможно, является тем самым, что он ищет...

— Я понимаю! — голос у меня сорвался, и я разозлилась на себя. — Я понимаю. Поэтому я вам и говорю. Не потому, что мне нужна ваша помощь. А потому, что это — сведения по делу. Вы просили сообщать.

Он смотрел на меня. Долго. И в какой-то момент мне показалось, что в его лице что-то сдвинулось. Совсем чуть-чуть. Будто в камне появилась трещинка.

— Вы правы, — сказал он. — Это сведения по делу. Спасибо.

— Пожалуйста.

— И вам нужна помощь.

— Я этого не говорила.

— Я знаю, — он снова взял лупу, повертел в пальцах. — Я говорю.

Мы помолчали. На спиртовке тихо булькал ковшик.

— Четыре из пяти семей, — произнес Кальве, глядя не на меня, а на рисунки. — За последний год продавали вещи через дом Марро. Не эти. Другие. Старые картины, мебель, фарфор. Аукционный дом, прежде чем принять вещь, составляет опись имущества владельца. Для оценки. Полную опись, сударыня. Всего, что есть в доме.

— Он знал, у кого что лежит.

— Он знал, у кого что лежит, — Кальве кивнул. — И пятая семья, Ривьер, — не продавала. Но два года назад госпожа Ривьер-старшая, та самая, чей портрет висит над кроватью у сына, выставляла медальон на оценку в Гильдию оценщиков. Для страховки. Гильдия ведёт реестр. Доступ к реестру имеют члены Гильдии.

— Корнелия — член Гильдии.

— И её отец.

Я посмотрела на рисунок медальона. Вензель, переплетённые буквы. Кружок с тремя лунами у шарнира.

— Этого достаточно? — спросила я. — Для ордера? Для обыска?

— Нет.

— Почему?

— Потому что аукционный дом Марро за год составил описи для двухсот семей, — Кальве откинулся на спинку стула. — Потому что доступ к реестру Гильдии имеют триста человек. Потому что господин Марро — член городского совета, почётный попечитель трёх приютов и личный знакомый моего начальника, комиссара Обера. Потому что единственный свидетель, который видел экстрактор, — женщина без документов с несуществующей улицы, чей дар не зарегистрирован. И потому что, — он помолчал, — у него нет мотива. Зачем богатейшему человеку в городе фамильные безделушки, которые не стоят и десятой части его табакерки?

— Не безделушки, — ответила я. — Не вещи. Память. Он ищет что-то в памяти.

— Что?

— Не знаю, — я встала, подошла к окну. Внизу на Мостовой площади торговец каштанами раздувал жаровню. — Но он выставил поддельное зеркало Аделаиды Лорис, чтобы посмотреть, кто придёт с настоящим. Значит, ему нужно что-то, связанное с основательни-

цами. Что-то, что было у них двести лет назад. И что, может быть, помнят только вещи, которые они сделали.

— Что?

— Я не знаю, господин Кальве! — я обернулась. — Я здесь двенадцать дней! Я не знаю, кто такие основательницы, я не знаю, почему улица — улица, я не знаю, почему за дверью моего подвала шумит море...

Я осеклась. Он смотрел на меня.

— Море? — спросил он.

— Неважно.

— За дверью вашего подвала шумит море.

— Правило пятое: подвал не открывать. Я его не открывала.

Он смотрел на меня ещё секунду. Потом встал, взял со спинки стула сюртук и надел его.

— Идёмте, — сказал он.

— Куда?

— К вам. Я хочу посмотреть на ваши вещи с этим клеймом. И на вашу дверь в подвал. Не открывая, — добавил он, видя, что я собираюсь возразить. — Правило пятое.

* * *

Вещей с клеймом в лавке нашлось три.

Это заняло у нас с Мирой весь остаток дня. Мира ныла, что мы уже описали две стены, а теперь надо проверять заново, но, когда узнала, зачем, — замолчала и полезла на верхние полки с лупой Кальве, которую он мне одолжил, не дожидаясь просьбы. Кальве сидел на табуретке у прилавка — я предупредила, что она качается, он ответил, что знает, и сидел так, чтобы не качалась, — и записывал. Гортензия с подсвечника комментировала каждое его движение. «Пишет». «Опять пишет». «Он вообще что-нибудь делает, кроме как пишет?» «Сударыня, — не поднимая головы, сказал Кальве, — я ещё думаю». Гортензия поперхнулась и замолчала минут на двадцать.

Три вещи. Напёрсток — серебряный, крошечный, стёртый почти до дыр, с биркой «Забыт швейей. Ждёт». Ножницы — маленькие, рукодельные, в виде журавля, у которого клюв — это лезвие. «Забыты. Ждут». И подставка для пера, бронзовая, в виде полумесяца, — «Забыта в конторе. Ждёт». На каждой — кружок с тремя лунами. Серебряная, золотая, чёрная.

Я держала их в руках, по очереди, без платка. Осторожно. Они были тёплыми — не холодными, как отнятые, а тёплыми, спокойными, как вещи, которые просто лежат и ждут, и знают, что дождутся. Память в них была. Я чувствовала её — тихую, глубоко, как воду в колодце. Но не стала доставать. Не стала тянуть. Кальве, когда я подняла напёрсток, отложил карандаш и смотрел на меня так пристально, что я не решилась.

— Ничего тяжёлого, — произнесла я. — Ничего странного. Просто старые вещи. Чьи-то.

— Чьи?

— Не знаю. Швей. Того, кто резал нитки. Того, кто писал, — я положила подставку для пера на прилавок. — Им очень много лет. Гораздо больше, чем всему остальному здесь. И они... — я поискала слово. — Они не грустные. Остальные вещи здесь грустят. А эти — нет. Как будто их хозяева не потеряли их, а просто вышли на минутку. И вот-вот вернуться.

Кальве ничего не сказал. Записал.

Потом мы стояли у двери в подвал. Все трое. Я, Кальве и Мира. Гортензия — на перилах лестницы, с перьями, приподнятыми на загривке.

Кальве не прикасался к двери. Он стоял в шаге от неё, засунув руки в карманы сюртука, и смотрел. На серебряный круг посередине. На кованые петли. На щель под порогом, из которой тянуло солёным свежим воздухом.

Потом закрыл глаза.

Я видела, как он прислушивается. Наклонив голову, чуть приоткрыв рот. Как человек, который пытается расслышать мелодию за стеной. Шорох волн по песку. Накатывает — отступает. Накатывает — отступает.

Он открыл глаза.

— Двести одиннадцать лет назад, — произнес Кальве медленно. — Из городского реестра исчезла Улица Трёх Лун. Примерно тогда же, если верить старым хроникам, в Лавьере перестали появляться «странные гости». Люди из ниоткуда. В хрониках их называли «пришлыми с дороги». Их было много, сударыня. Торговцы, путешественники, мастера. Они приносили товары, которых здесь никогда не было. Пряности. Ткани. Книги на незнакомых языках. А потом перестали.

— Откуда вы это знаете?

— Я читаю хроники, — он пожал плечами. — Это недорогое развлечение.

— Это развлечение?

— У меня мало развлечений, сударыня Соколова, — он отвернулся от двери. — Дороги. Вот что ищет человек с экстрактором. Не вещи. Не память ради памяти. Дорогу.

Над нами, на перилах, Гортензия издала короткий свистящий звук. Мы все трое обернулись. Сорока сидела неподвижно, растопырив крылья, будто собиралась взлететь — и передумала.

— Гортензия? — обратилась я к говорящей птице.

— Ничего, — ответила она. — Ничего. Пойдёмте отсюда. Тут дует.

* * *

Марта вернулась из Медного квартала около четырёх. Без шляпки.

Я узнала об этом не от неё. Я вообще узнала об этом до того, как она дошла до «Половинки луны». Сначала прибежала Элиза — без фартука, без косынки, растрёпанная, с глазами по чайному блюдцу — и, задыхаясь, сообщила, что Марта идёт по улице без шляпки, а шляпку несёт в руке, и вишни на ней помяты, и Марта улыбается. «Улыбается, Вера! Ты понимаешь? Я никогда не видела, чтобы Марта улыбалась на улице! Только в чайной! И то не всем!» Потом, через минуту, в окно постучала Мира, которую я отправила за хлебом, и сообщила то же самое, только с подробностями: что шляпка помята не только вишнями, но и полями, и что у Марты на перчатке пятно от машинного масла, а у часовщика, как она точно знала, всегда руки в машинном масле.

— Я не сплетничаю, — добавила Мира. — Я обеспечиваю информационный обмен.

— Ты слишком много времени проводишь у Марты, — ответила я.

— Она меня кормит.

Это был аргумент.

Ещё через пять минут к лавке подошла Дария Вель. Не постучала — просто остановилась перед витриной и посмотрела на меня через стекло. Сказала, едва шевельнув губами, так, что я прочитала по ним, а не услышала:

— Марта вернулась.

И ушла. Ровным шагом, с тростью под мышкой.

Я стояла за прилавком и смотрела ей вслед. Кальве, который всё ещё сидел на табуретке у прилавка, дописывая свои заметки, поднял голову и посмотрел туда же.

— Что происходит? — спросил он.

— Марта вернулась из Медного квартала.

— Я понял. Почему это важно?

— Потому что она сорок лет туда не ходила.

— Из-за часовщика?

Я посмотрела на него с подозрением.

— Откуда вы знаете?

— У неё на башмаках медная пыль, — ответила Кальве, глядя в окно, туда, где по брусчатке к «Половинке луны» шла маленькая прямая фигура. — Такая бывает только в Медном квартале, там у лудильщиков сточные канавы прямо по мостовой. И на левой перчатке машинное масло, — он помолчал. — Часовое. Оно светлее, чем у слесарей.

— Вы это откуда видите?

— Я много чего вижу, сударыня. Это моя работа.

Я посмотрела на него. На его светлые внимательные глаза, на руки, лежащие на блокноте. Длинные пальцы. Чернильное пятно на указательном. Старая, побелевшая мозоль у основания большого. Сухожилия, которые двигались под кожей, когда он постукивал карандашом. На тыльной стороне левой ладони — тонкий белый шрам, наискосок, как от соскользнувшего резца.

И вдруг поймала себя на том, что смотрю на них уже, кажется, минуту. Очень внимательно. С профессиональной тщательностью, с какой рассматриваю клейма. Только здесь не было клейм. Были просто руки. Красивые. Сильные. Мужские.

Очень важное наблюдение, сказала я себе. Именно его мне и не хватало, чтобы спасти лавку от Марро. Двенадцать дней в чужом мире, сорок дней до Чёрной Луны, триста пятьдесят две кроны долга, человек с экстрактором, который ищет, возможно, именно то, что сейчас лежит у сороки под стропилами, — а я рассматриваю руки следователя. Прекрасно. Великолепно. Профессионально.

Кальве поднял глаза от блокнота.

— Что-то не так?

— Нет, — ответила я. Слишком быстро. — Нет. Всё так.

— Вы смотрели на мой блокнот.

— Да. На блокнот. У вас... хороший почерк.

Он посмотрел на блокнот. Посмотрел на меня.

— У меня ужасный почерк, — не согласился он. — Его никто не может прочитать, кроме Барро. И то не всегда.

— Значит, интересный.

— Значит, — согласился он после паузы, и я не смогла понять, что было в его голосе. Ничего, скорее всего. Ничего не было.

Гортензия на подсвечнике издала звук, подозрительно похожий на кашель. Я не стала на неё смотреть.

* * *

Вечером Марта накрыла стол.

Не в чайной — у меня в лавке, на прилавке, отодвинув весы и грессбух. Она пришла в начале седьмого с огромной корзиной, в которой было всё: жаркое в глиняном горшке, обёрнутом полотенцем, тёплый хлеб, масло, солёные огурцы, сыр, яблочный пирог и бутылка вина из чёрной смородины, «своего, домашнего, прошлогоднего». Элиза принесла тарелки — свои, разномастные, с щербинками — и стулья, три штуки, из мастерской. Мира принесла хлеба ещё, на всякий случай, и свою кружку. Дария Вель не пришла, но прислала с Мирой записку: «Благодарю за приглашение. Не могу. Поздравляю. Д. В.» Кого с чем она поздравляла, в записке не было сказано.

Кальве собирался уходить. Он уже надел пальто и взял котелок, когда Марта, расставлявшая тарелки, подняла голову и посмотрела на него поверх очков.

— Дознатель, — произнесла она. — Садитесь.

— Благодарю, сударыня, но мне нужно в Управление...

— Садитесь, — повторила Марта тем самым тоном, который не предполагал возражений. — Вы худой. И третьи сутки не спите, у вас под глазами мешки, как у моего покойного дяди, а он пил. Вы пьёте?

— Нет, сударыня.

— Значит, не спите. Садитесь, говорю. Жаркое остынет.

Кальве посмотрел на меня. Я пожала плечами. Он медленно снял пальто, повесил его на крючок у двери — на тот самый, где висел мужской зонт, забытый у театра, — и сел.

Жаркое было с черносливом и чесноком, мясо таяло во рту. Вино — терпкое, сладкое, крепкое, и после второго глотка у меня порозовели щёки. Мира ела так, будто её неделю не кормили, хотя кормили её, если честно, всю неделю. Элиза ела мало, потому что всё время говорила.

А говорила она, как выяснилось к середине ужина, с совершенно определённой целью.

— Вот вы, дознаватель, — сказала Элиза, подкладывая Кальве жаркого, хотя он не просил. — Вы ведь, наверное, совсем один живёте? Работа, работа...

— Я живу при Управлении, — ответил Кальве. — Там есть комната.

— Одни! — Элиза всплеснула руками. — Вот и Вера одна. Всё работает. Совсем себя не жалеет. Правда, Вера?

— Элиза, — я смерила подругу уничтожающим взглядом.

— Я просто говорю! Двое таких трудолюбивых людей. Это же так... — она поискала слово. — Так похоже.

— На что похоже? — спросил Кальве с вежливым интересом.

— Ну... — Элиза посмотрела на меня, на него, снова на меня. Ямочки на её щеках стали глубже. — На что-то. Что-то общее. Вы не находите?

Кальве подумал.

— У нас обоих нет документов, удостоверяющих место проживания, — произнес он. — У меня комната числится за Управлением, а у сударыни Соколовой — дом на несуществующей улице. Да, это общее.

Элиза открыла рот. Закрыла. Посмотрела на меня с отчаянием.

Мира, не поднимая головы от тарелки, хрюкнула.

— Я имела в виду... — начала Элиза снова.

— Сударыня Рон, — перебил Кальве. — У вас на рукаве свежая окалина. Вы сегодня паяли латунь. И, судя по запаху, жгли канифоль, но не сосновую, а еловую, которая даёт больше копоти. В сосновой меньше примесей. Если вам нужно, могу дать адрес поставщика в Медном квартале.

— Ой, — сказала Элиза. И забыла, о чём говорила.

Марта, которая всё это время молча ела, сидя во главе прилавка, — то есть с той стороны, где касса, — вдруг поставила вилку. Посмотрела на Кальве. Потом на меня. Потом снова на Кальве. Поправила очки.

— Дознаватель, — произнесла она. — Вы, значит, всё замечаете.

— Это моя работа, сударыня.

— Всё-всё?

— Стараюсь.

— Хм, — сказала Марта. И снова взялась за вилку.

Я посмотрела на свою тарелку и почувствовала, что краснею. От вина, конечно. Домашнее, прошлогоднее, крепкое.

— Сударыня Брей, — сказал Кальве, повернувшись к Марте. — Как часовщик Грен?

Тишина упала на прилавок, как крышка на кастрюлю. Элиза замерла с поднятой вилкой. Мира перестала жевать. Гортензия на подсвечнике вытянула шею так, что стала вдвое длиннее.

Марта медленно положила вилку. Поправила салфетку на коленях. Посмотрела на Кальве поверх очков — долго, внимательно.

— Откуда вы знаете?

— Медная пыль на башмаках. Часовое масло на перчатке. Шляпка помята с левой стороны, — он помолчал. — Обычно так мнутся шляпки, когда на улице кто-то обнимает их владелицу. Если он выше её на голову.

Элиза выронила вилку. Вилка звякнула о тарелку, потом о прилавок, потом о пол.

Марта сидела неподвижно. Потом сняла очки. Протёрла их уголком салфетки. Медленно, тщательно. Надела обратно.

— Я не сплетничаю, дознаватель, — сказала она.

— Я знаю, сударыня.

— И о себе — тем более.

— Безусловно.

— Но если вас интересует, — ответила Марта, и голос у неё вдруг чуть дрогнул, совсем чуть-чуть. — То Тобиас Грен в воскресенье придёт сюда заводить часы. В четыре. Ключ у меня. Я его ему отдам, — она взяла вилку. — Это всё. Ешьте жаркое.

Мы ели жаркое. Молча. Минуты две. Потом Элиза, глядя в тарелку, тихонько, совсем по-детски шмыгнула носом. Мира протянула ей свой платок — грязноватый, но чистосердечно. Марта сделала вид, что ничего не заметила.

А Кальве, взяв кусок пирога, вдруг поднял глаза и посмотрел на меня через прилавок. Коротко. Одну секунду. И в его глазах, светлых, серых, было то же, что и тогда в мастерской часовщика, — что-то тёплое, пляшущее, совсем не протокольное.

Я отвела взгляд первой.

Это он заметил. Наверняка заметил. Всё замечает.

Кроме, судя по всему, Элизы с её «что-то общее».

И кроме меня. Которая минуту рассматривала его руки.

Я решила, что это к лучшему.

* * *

Провожать его до арки я пошла сама. Не потому, что хотела. Потому что Марта сказала: «Проводи гостя, неприлично», — а с Мартой, как я уже выяснила, не спорили.

Улица была тёмной и тихой. Туман лежал на брусчатке, как вата. Три луны висели над крышами — серебряная, почти полная, золотая, серпом, и чёрная, с ободком, который, как мне показалось, стал ещё немного шире. Мы шли рядом, молча, и наши шаги звучали в тумане глухо, как сквозь одеяло.

У арки он остановился.

— Сударыня Соколова.

— Да?

Он полез во внутренний карман пальто и достал что-то плоское, размером с ладонь. Протянул мне. Это была дощечка — тонкая, в деревянной рамке, с грифельной поверхностью, тёмно-серой, гладкой, как у школьной доски. К рамке на шнурке был привязан кусочек мела.

— Что это?

— Парная доска, — сказал он. — Управление выдаёт их агентам для связи. Вторая — у меня. Если напишете что-нибудь на этой, через минуту это появится на моей. И наоборот.

Я повертела дощечку в руках. Она была тёплой, гладкой и почему-то неожиданно тяжёлой для своего размера.

— Вы же не агент.

— Нет.

— И я не агент.

— Тоже нет.

— Тогда зачем?

Он помолчал. Туман клубился у его ног.

— Если что-нибудь случится, — произнес он. — Ночью. Или днём. Если вы увидите в вещах что-то, что не сможете выдержать. Если кто-то придёт за зеркалом. Если... — он не договорил. — Напишите.

— А если ничего не случится?

— Тогда не пишите. — он надел котелок. — Мне её выдали под расписку. Если потеряете — я буду должен Управлению четыре кроны.

— Это шантаж?

— Это бухгалтерия, — спокойно ответил Кальве. — Спокойной ночи, сударыня Соколова.

Он шагнул под арку — и исчез. Не растворился, не пропал, просто его вдруг не стало, будто арка была дверью и он закрыл её за собой. На той стороне, я знала, была глухая кирпичная стена с афишей цирка. «Последняя неделя».

Я стояла у арки, в тумане, с грифельной доской в руках. Над головой у меня светились три металлических круга. Серебряный, золотой, чёрный.

Потом я вернулась в лавку. Помогла Марте собрать посуду. Проводила Элизу и Миру — Мира теперь ночевала у Элизы в мастерской, на раскладушке, «временно», потому что её прежний угол на Пятой набережной хозяйка сдала кому-то другому, а сказать об этом мне Мира постеснялась, и я узнала от Марты. Поднялась вверх.

Доску я положила на тумбочку у кровати. Рядом с очками Агаты и пакетиком сушёных яблок. Смотрела на неё, наверное, минут пять. Тёмная, гладкая, пустая.

Потом взяла мел и написала одно слово, крошечными буквами, в самом уголке:

Спасибо.

И стёрла его рукавом раньше, чем прошла минута.

А может быть, и не раньше. Я не была уверена. Я не засекала.

Глава 11. Экзамен

В воскресенье, без пяти четыре, в лавку пришёл Тобиас Грен.

Он постучал — один раз, негромко, почти виновато, — и вошёл, сняв шляпу ещё на пороге. На нём был тёмный сюртук, явно лучший, явно давно не надёванный: по плечам пролегли складки от вешалки, а от лацканов пахло нафталином. В руке он держал маленький кожаный саквояж, какие бывают у врачей и часовщиков.

Следом вошла Марта. В синем платье с кружевным воротником. Без шляпки.

Я стояла за прилавком. Мира сидела на ступеньке лестницы. Элиза пряталась за полкой с зонтами, но так плохо, что её кудри было видно с улицы. Гортензия сидела на часах — прямо на резном навершии напольных часов, как на троне, — и смотрела на Тобиаса сверху вниз.

— Господин Грен, — сказала она. — Сорок лет.

— Сударыня Гортензия, — Тобиас поклонился ей, совершенно серьёзно, как кланяются старой знакомой. — Вы прекрасно выглядите.

— Винтики есть?

Тобиас сунул руку в карман сюртука и вынул на ладони три крошечных латунных винтика, блестящих, как золото. Гортензия слетела, взяла их по одному, аккуратно, и унесла под стропила. Оттуда донеслось довольное урчание.

— Он мне всегда давал винтики, — сообщила она сверху. — Приличный человек. Не то что некоторые.

Марта протянула Тобиасу ключ. Тот самый, длинный, тонкий, на шнурке. Он взял его — пальцы их соприкоснулись, на секунду, и Марта убрала руку быстрее, чем следовало. Тобиас открыл стеклянную дверцу часов. Вставил ключ в отверстие на циферблате. Посмотрел на Марту.

— Сама. Ты сама.

Марта фыркнула.

— Ещё чего. Твои часы, ты и заводи.

— Твой ключ.

— Ключ мне отдали на хранение.

— Марта.

Она посмотрела на него поверх очков. Он — на неё. Сверху, с высоты своего роста, сутулясь, держа руку на ключе.

Потом Марта вздохнула, подошла и положила свою руку поверх его. И они повернули ключ вместе.

Раз. Два. Три. Пружина скрипнула, застонала, натянулась. Тобиас тронул пальцем маятник. Медный диск качнулся влево — и вернулся. Качнулся вправо — и вернулся.

Тик.

Так.

Стрелки дрогнули. Минутная сдвинулась с места, на одно деление, потом ещё на одно. Тобиас достал из кармана свои карманные часы, открыл крышку, глянул — и подвёл стрелки на напольных, быстро и точно. Без четверти четыре стало без двух минут четыре. Потом — четыре.

Часы пробили. Низким, глубоким, медным звуком, который прошёл по лавке, как волна, отразился от полок, от окон, от потолка, — и все вещи вокруг, честное слово, все вещи вздрогнули, будто проснулись. Звякнули чашки. Качнулись зонты на крючках. Шаль на ближайшей полке шевельнула кистями.

Четыре удара.

Элиза за полкой с зонтами всхлипнула в голос, уже не скрываясь. Мира вытерла нос рукавом. Гортензия под стропилами замолчала.

А Марта стояла у часов, рядом с Тобиасом, и смотрела на маятник. Её рука всё ещё лежала поверх его руки на ключе.

— Сорок лет, — сказала она тихо. — Старый дурак.

— Старый дурак, — согласился Тобиас.

— Я ждала, что ты спросишь.

— Я спросил.

— Я не получила.

— Я знаю. Теперь знаю.

Марта отняла руку. Достала из кармана фартука — она надела фартук поверх синего платья, — платок, высморкалась. Громко, деловито.

— Ну всё. Хватит. Пойдём чай пить. У меня пирог. Вера, ты тоже. И вы все, — она повернулась к полке с зонтами. — Элиза, вылезай, я тебя с порога видела.

Мы пили чай в «Половинке луны». Тобиас сидел у печки, на своём месте. «Тобиасово место», — сказала Марта в первую ночь, и я подумала тогда, что так говорят про мёртвых. А он был живой. Сидел, сутулясь, держал чашку обеими руками и смотрел, как Марта режет пирог. И она, отрезав ему кусок, положила его на тарелку не сразу, а сначала поправила — чтобы ровно.

Рыжий кот лёг ему на ноги, хотя на мои колени ни разу не лёг.

* * *

Экзамен в Гильдии оценщиков проходил в четверг, в полдень, в зале на втором этаже старого здания на Монетной улице. Здание было похоже на шкатулку — маленькое, вычурное, с лепниной, позолотой и толстыми ковровыми дорожками, в которых тонули шаги. На стенах висели портреты бывших гильдмейстеров в мантиях и цепях. Все они смотрели на входящих одинаково — как на подделку, которую им ещё только предстоит разоблачить.

Кандидатов было четверо. Я и трое молодых людей. Все трое — в бархатных сюртуках, разных оттенков: винном, бутылочном и сливовом. Все трое — с гладко зачёсанными волосами, в начищенных ботинках и с одинаково снисходительным выражением лиц. Сливовый посмотрел на моё зелёное платье и на мои рыночные башмаки и сказал что-то винному. Винный хихикнул. Бутылочный не хихикал — он нервно грыз ноготь и, кажется, вообще никого вокруг не видел.

Мира ждала внизу, у входа. Внутри её не пустили, сказав, что посторонние в здание Гильдии не допускаются. Мира сказала, что она не посторонняя, а помощница кандидата. Ей сказали, что у кандидатов не бывает помощниц. Мира сказала, что у этого кандидата бывает. Её выставили за дверь. Через окно я видела, как она сидит на ступенях, подперев подбородок кулаками, и сверлит взглядом швейцара.

Комиссия сидела за длинным столом на возвышении. Трое. Посередине — гильдмейстер, мэтр Ожье: очень старый, сухой, как осенний лист, в мантии и с тяжёлой золотой цепью на груди. Глаза у него были маленькие, почти без ресниц, и смотрели не мигая, как у черепахи. Слева от него — пухлый господин лет пятидесяти, в лиловом жилете, с напояженными усами и моноклем, который он поминутно вставлял и вынимал из глаза. Табличка перед ним гласила: «Мэтр Г. Флери». Справа...

Справа сидела Корнелия Марро. В стальном платье, с лупой на цепочке. Табличка: «Мэтресса К. Марро».

Она посмотрела на меня, когда я вошла. Ни один мускул на её лице не дрогнул. Только жилка над воротником — я видела — один раз сильно ударила.

— Кандидаты, займите места, — проскрипел мэтр Ожье.

Мы заняли места — четыре стула перед возвышением, на некотором расстоянии друг от друга. Сливовый сел рядом со мной и демонстративно отодвинул свой стул ещё дальше.

— Экзамен состоит из трёх частей, — продолжил мэтр Ожье. — Первая — знание клейм, мер и проб. Вторая — практическая оценка. Третья — для кандидатов, заявляющих дар, — проверка дара. Начнём с первой. Мэтр Флери.

Мэтр Флери вставил монокль и взял со стола стопку карточек.

Первая часть была катастрофой.

Я поняла это на второй карточке. На карточке было нарисовано клеймо — какой-то зверь в щите, под ним цифры, — и вопрос: «Укажите пробирную палату, пробу и период». Сливовый, которому досталась первая карточка, ответил бойко и, судя по тому, как кивнул Флери, правильно. Винный тоже. Бутылочный — запинаясь, но правильно. Потом карточку повернули ко мне.

Зверь в щите. Я его не знала. Я его никогда не видела. Я знала клейма Петербургской пробирной палаты, Московской, Варшавской, знала лондонских леопардов и бирмингемских якорей, знала парижскую голову Минервы и венские цифры. Но этого зверя я не знала. Его не было в моём мире.

— Не знаю.

Мэтр Флери вынул монокль.

— Простите?

— Я не знаю этого клейма. Я не знаю здешних пробирных палат.

Сливовый рядом со мной издал короткий смешок. Винный — тоже. Мэтр Флери вставил монокль обратно и посмотрел на меня через него, как на насекомое.

— Сударыня, — сказал он. — Вы явились на экзамен в Гильдию оценщиков. Не зная клейм.

— Я не знаю здешних клейм, — я старалась говорить ровно. Тем самым голосом. — Я училась далеко. Там другие палаты и другие пробы. Я знаю, как устроена система клеймения. Я могу определить по клейму, что это клеймо, а не случайная царапина, что оно поставлено пуансоном, а не процарапано, и что это скорее всего проба, а не именник мастера, потому что цифры. Но какая палата — не знаю. Если вы дадите мне справочник и час, я выучу.

— Час, — повторил мэтр Флери. — Справочник Гильдии по клеймам — четыреста страниц.

— Тогда два часа.

Сливовый рассмеялся в голос. Мэтр Ожье постучал пальцем по столу, и он смолк.

Корнелия Марро ничего не сказала. Она смотрела на меня, подперев подбородок рукой, и я не могла понять, что в её взгляде. Мне показалось — хотя это, наверное, только показалось, — что она слушает очень внимательно.

Следующие девять карточек я ответила на две. Одна была про меры веса — и там оказалось, что местная унция почти совпадает с аптекарской, я поняла это по соотношениям в задаче и посчитала. Вторая — про пробу золота, и там было указано в процентах, а не клеймом, и я ответила сразу. Остальные — нет. Не знаю. Не знаю. Не знаю.

К концу первой части Сливовый смотрел на меня с откровенным презрением. Винный — с жалостью. Бутылочный — с облегчением человека, который понял, что не будет худшим. Мэтр Флери что-то быстро писал на листке и, кажется, подчёркивал.

— Вторая часть, — проскрипел мэтр Ожье.

Вторая часть была легче.

Перед каждым кандидатом поставили столик, а на столик — пять предметов. Нужно было определить материал, технику, состояние, примерную датировку и оценить. С датировкой и оценкой у меня было плохо по той же причине — я не знала здешней истории и здешних цен. Но с материалом, техникой и состоянием...

Это я умела. Это я умела лучше всех в этом зале. Я поняла это минут через пять, когда услышала, как Сливовый, справа от меня, сказал про фарфоровую чашку: «Подглазурная роспись», — а роспись была надглазурная, я видела это даже со своего места по тому, как свет ложился на мазки. Как Винный назвал серебряную ложку «литой», хотя она была кованой, — ручка тянулась, это было видно по волокнам металла у основания. Как Бутылочный долго сидел над миниатюрой на кости и в итоге написал «акварель», хотя это была гуашь — плотная, кроющаяся, с белилами.

Я писала. Быстро, подробно, профессионально. Чашка — фарфор твёрдый, надглазурная роспись, золочение, мелкие сколы по краю, потёртость золота на ручке — вероятно, использовалась часто, датировка затруднена, но форма ручки и стиль росписи схожи с теми, что я видела на чашках в шкафу у капитана Гаспара, а там бирка его тётки говорила «свадебный сервиз, восемьдесят лет назад». Ложка — серебро, ковка, гравировка вензеля поздняя, вероятно, добавлена при перепродаже, следы полировки, скрывающей предыдущий вензель. Миниатюра — гуашь по кости, портрет женщины в чепце, мастер профессиональный, но провинциальный — ошибки в перспективе плеча, — состояние хорошее, мелкая трещина на кости в левом нижнем углу.

Когда мэтр Флери забрал мой лист и пробежал его глазами, он снова вынул монокль. Посмотрел на меня. Вставил обратно. Ничего не сказал. Но что-то подчеркнул уже в другом месте.

— Третья часть, — произнес мэтр Ожье. — Проверка дара. Кандидаты, заявляющие дар, — шаг вперёд.

Шаг вперёд сделали двое. Я — и Сливовый.

Я удивилась. Сливовый, судя по всему, удивился, что удивилась я, и посмотрел на меня с выражением «а ты что думала, только тебе можно?».

— Мэтресса Марро, — сказал мэтр Ожье. — Предмет.

Корнелия встала. Взяла со стола маленький ящичек, обитый кожей, открыла его и вынула — на чёрной бархатной подушечке — карманные часы. Серебряные, в гравированном корпусе, с откидной крышкой. На крышке — якорь и роза ветров.

— Кандидаты, — произнесла она своим голосом горного ручья. — Перед вами предмет с известной историей. История записана, заверена и хранится в архиве Гильдии. Задача: прикоснувшись к предмету, изложить его историю. Оценивается точность. Мэтр Дюпон, прошу.

Сливовый — мэтр Дюпон, видимо, — шагнул к столу. Взял часы. Закрыв глаза. Постоял секунд десять, раскачиваясь, будто прислушиваясь к далёкой музыке. Потом заговорил — глубоким, проникновенным голосом.

— Море. Я слышу море. Шторм. Корабль. Капитан... Это часы капитана. Он стоит на мостике, держит их в руке, смотрит на время. Волны. Огромные волны. Корабль... тонет. Капитан не покидает мостик. Часы... часы остановились в тот момент, когда... — он сделал драматическую паузу. — Когда вода сомкнулась над его головой. Их вынесло на берег. Вдова нашла их через месяц. Она хранила их до самой смерти.

Он открыл глаза. Положил часы на подушечку. Отступил.

Мэтр Флери закивал. Мэтр Ожье смотрел, не мигая. Корнелия Марро — я смотрела на неё — сидела совершенно неподвижно. Только пальцы её правой руки, лежащие на столе, чуть сжались.

— Сударыня Соколова. Просту.

Я подошла к столу.

Часы лежали на чёрной подушечке. Серебряные. Якорь и роза ветров на крышке. Красивые. Аккуратные. С правильной патиной в углублениях гравировки, с потёртостью на ободке, где большой палец открывает крышку.

Я протянула руку и взяла их. Без платка. Мне нужно было, чтобы они ответили полностью.

И ничего.

Ни холода. Ни тепла. Ни моря, ни шторма, ни капитана, ни вдовы. Ни того далёкого звука закрывающейся двери, который был в зеркале на чердаке. Ни той тихой воды в колодце, которая была в напёрстке. Ничего. Часы лежали у меня на ладони — тяжёлые, гладкие, прохладные от комнатного воздуха, — и они молчали. Не как вещи с чердака, из которых память вытекла сама. Не как отнятые, в которых осталась дыра. А так, как молчит то, в чём никогда ничего и не было.

Я держала их секунд тридцать. Потом поднесла к глазам. Открыла крышку. Посмотрела на механизм. Закрыла. Перевернула. Посмотрела на ободок, на патину в гравировке, на потёртость.

Положила обратно на подушечку.

— В них нет памяти.

Тишина.

— Простите? — переспросил мэтр Флери.

— В этих часах нет памяти. Совсем. Ни капитана, ни шторма, ни вдовы. Ни чьей-нибудь другой. Их никто никогда не носил. Их никто никогда не любил, — я посмотрела на Корнелию. — Им меньше года. Пatina в гравировке нанесена искусственно — серной печёнкой, скорее всего, судя по оттенку, — и протёрта по выпуклым местам, чтобы выглядело естественно. Потёртость на ободке сделана абразивом, слишком равномерно: настоящая потёртость идёт от одного пальца, с одной стороны, а здесь — по всему кругу. Механизм новый, смазка свежая, на винтах нет следов отвёртки. Это новодел. Хороший новодел. А история про капитана — выдуманна.

Сливовый — мэтр Дюпон — побагровел так, что слился цветом со своим сюртуком.

— Это... это возмутительно! — он шагнул вперёд. — Мэтресса Марро, она что, утверждает, что я...

— Сядьте, мэтр Дюпон, — оборвала Корнелия.

Сказала негромко. Но Дюпон сел. На ближайший стул, не на свой.

Корнелия встала. Обошла стол. Взяла часы с подушечки — без перчаток, голыми пальцами, — и подняла их так, чтобы видела вся комиссия.

— Эти часы, — сказала она, — изготовлены по моему заказу в мастерской Медного квартала одиннадцать месяцев назад. Пatina нанесена серной печёнкой. Потёртость — абразивом. История о капитане записана мной и заверена в архиве Гильдии как вымышленная, — она перевела взгляд на мэтра Ожье. — Я предлагала включить такой предмет в проверку дара три года. Вы каждый раз отказывали, мэтр. Сегодня вы согласились. Благодарю.

Мэтр Ожье долго смотрел на неё своими черепашьими глазами. Потом медленно, со скрипом, кивнул.

— За последние шесть лет, — продолжила Корнелия, — Гильдия зарегистрировала одиннадцать кандидатов, заявлявших дар оценщика. Девять из них, насколько я могу судить по их дальнейшей работе, дара не имели. Они рассказывали истории. Красивые, правдоподобные истории, основанные на внешнем виде предмета, его стиле и том, что они знали о его эпохе. Это навык. Хороший навык. Но это не дар, — она положила часы обратно. — Дар оценщика не сочиняет. Дар оценщика может сказать: здесь ничего нет. Это самое трудное. Это то, что отличает настоящего оценщика от рассказчика.

Мэтр Флери вынул монокль и, кажется, забыл вставить обратно.

— Дар кандидата Соколовой, — сказала Корнелия. — Подтверждаю.

Она села на своё место. Взяла перо. Написала что-то на листе. Подписала. Не глядя на меня.

* * *

Результаты объявили через час. Мы ждали в коридоре, под портретами бывших гильд-мастеров. Сливовый — мэтр Дюпон, как выяснилось, сын известного ювелира, — ушёл, не дождавшись, громко хлопнув дверью. Винный ходил туда-сюда. Бутылочный сидел на подоконнике и грыз ногти уже на второй руке.

Меня вызвали последней.

Мэтр Ожье зачитывал, держа лист на вытянутой руке, как держат дальнозоркие. Первая часть — неудовлетворительно. Вторая часть — отлично, с пометкой «по технике и состоянию лучшая работа за последние годы; по датировке и оценке — неудовлетворительно, ввиду незнания местного рынка». Третья часть — дар подтверждён.

— Решение комиссии, — проскрипел он. — Дар оценщика зарегистрировать. Квалификацию оценщика присвоить условно, с обязательством сдать первую часть экзамена в течение трёх месяцев. До сдачи — право давать заключения о подлинности, сохранности и технике изготовления, а также показания, основанные на даре. Без права давать заключения о денежной стоимости предметов, — он опустил лист. — Вы удовлетворены, кандидат?

Я подумала. Право давать показания, основанные на даре. Это было главное. Это было то, что нужно Кальве. Право определять подлинность — это было то, что нужно мне. Без права называть цену... Ну, цену я и так не знала.

— Да, мэтр. Спасибо.

— Не благодарите, — мэтр Ожье посмотрел на меня поверх листа. Черепашьи глаза моргнули — первый раз за всё время. — Справочник по клеймам можете взять в библиотеке Гильдии. Под залог. Четыреста страниц. Через три месяца жду.

Через три месяца, подумала я, меня здесь может и не быть. Через три месяца была уже Чёрная Луна, и прошла, и дверь, через которую я пришла, открылась и закрылась. Но вслух я этого не сказала. Я сказала:

— Буду.

И, выходя из зала, вдруг поняла, что сказала это совершенно серьёзно.

* * *

Корнелия догнала меня на лестнице. Это, видимо, становилось у нас традицией.

— Сударыня Соколова.

Я остановилась. Она стояла на две ступеньки выше. Как в прошлый раз.

— Вы могли соврать. В первой части. Сказать что-нибудь наугад. Иногда угадывают.

— Я не вру о вещах.

— А о себе?

Я подумала.

— О себе — иногда. Когда не знаю правды.

Корнелия смотрела на меня сверху. Долго. Светлые прозрачные глаза.

— Дюпон пожалуется отцу, — сказала она наконец. — Отец Дюпона — ювелир при дворе. Он будет возмущён. Мне устроят неприятности.

— Мне жаль.

— Не жалейте, — она спустилась на одну ступеньку. Теперь мы были почти на одном уровне. — Мне неприятности устраивают, сколько я себя помню. Я оценщица, а не торговка. Это никому не нравится.

— Мне нравится.

Корнелия моргнула. Это было неожиданно, и, кажется, для неё тоже. Она стояла на ступеньке и не знала, что сказать. Я впервые видела её растерянной. Это длилось секунду.

— Отец спрашивал о вас, — произнесла она. Тихо, глядя не на меня, а на перила. — Дважды. Вчера и позавчера. Где вы живёте, с кем, кто у вас бывает. Что хранится в лавке. Я сказала, что не знаю.

— Это правда?

— Это правда, — она подняла глаза. — Я не знаю, что хранится у вас в лавке, сударыня Соколова. И не хочу знать. Если не буду знать — не смогу сказать.

Она повернулась и пошла вверх по лестнице. Стальное платье, гладкий узел волос, лупа на цепочке. Прямая спина.

Я смотрела ей вслед. И думала, что в той комиссии было три человека, а по-настоящему понимала, что происходит, — одна. И что она только что, кажется, предупредила меня о своём отце. Тем единственным способом, каким дочь может предупредить о своём отце, не предав его. Сказав, что ничего не знает.

* * *

Мира ждала на ступенях. Когда я вышла, она вскочила.

— Ну?!

Я показала ей бумагу. Гербовую, с печатью Гильдии — весы и глаз — и подписями трёх членов комиссии. Подпись Корнелии была мелкой, чёткой, без завитков.

Мира прочитала. Шевеля губами. Потом ещё раз. Потом подняла на меня глаза.

— Ты теперь настоящая?

— Условно настоящая.

— Это лучше, чем ненастоящая, — решила Мира и обняла меня. Быстро, крепко, костлявыми руками, — и тут же отпустила, будто испугалась. Отвернулась. Сунула руки в карманы, — пошли. Есть хочу.

* * *

В банке меня не приняли.

Это был большой, мраморный, гулкий банк на Королевской набережной, через три дома от аукционного дома Марро. Я пришла туда открыть счёт, потому что торги в доме Марро были через два дня, а Корнелия, ещё тогда, в первый раз, сказала, что дом платит продавцам только банковским переводом. Наличными — только покупатели. Такое правило.

Служащий за стойкой был вежлив, как гробовщик. Он выслушал меня, посмотрел на гильдейскую бумагу, кивнул и спросил адрес.

— Улица Трёх Лун, дом семь.

Он записал. Поднял голову.

— Такой улицы нет.

Я закрыла глаза. Сосчитала до пяти. Открыла.

— Я в курсе.

— Без адреса мы не можем открыть счёт, сударыня. Правила.

— А без счёта я не могу получить деньги за проданные вещи.

— Это не наша забота, сударыня, — он вернул мне гильдейскую бумагу. — Принесите справку о месте проживания из Земельной управы.

— Земельная управа не выдаёт справку о месте проживания на несуществующей улице.

— Тогда, к сожалению...

Я вышла из банка и минут пять стояла на набережной, глядя на реку. Мира молча стояла рядом.

— Знаешь, что смешно? — спросила я наконец.

— Что?

— Налоги с меня берут. Казначейство. С несуществующей лавки на несуществующей улице. Триста сорок крон. А деньги, чтобы эти налоги заплатить, получить я не могу, потому что улицы не существует.

Мира подумала.

— Это не смешно.

— Нет, — согласилась я. — Это не смешно.

* * *

Выход нашла Дария.

Вечером, когда я зашла к ней в дом номер два — ровно в шестнадцать сорок пять, за четверть часа до закрытия, постучав три раза, — и рассказала про банк, она выслушала меня молча, сидя за огромным письменным столом в кабинете, обшитом тёмным деревом, где каждая бумага лежала на своём месте, а каждое перо — в своём гнезде. Потом достала из ящика бланк.

— Нотариальное хранение. Аукционный дом переводит деньги на мой счёт, в пользу третьего лица, то есть вас. Я выдаю их вам наличными под расписку. Пошлина — одна сотая от суммы. Это законно, это используется, когда наследник находится в отъезде или не может открыть счёт по иной причине.

— По иной причине, — повторила я.

— «Несуществование адреса» в перечне оснований не значится, — сказала Дария, — но «иная причина» его покрывает. Подпишите.

Я подписала. Прочитав. Дария смотрела, как я читаю, и, кажется, это доставляло ей удовольствие — насколько я могла судить по неподвижному лицу.

Когда я закончила, она взяла бумагу, просушила, убрала в папку. Подняла на меня глаза.

— Мэтресса Марро подписала вашу регистрацию.

— Откуда вы знаете?

— Мэтр Ожье — мой двоюродный дядя. Он заходил сегодня к обеду, — Дария помолчала. — Он сказал, что Корнелия Марро за всё время своей работы в комиссии ни разу не подтверждала дар. Ни разу. Шесть лет.

— Она подтвердила, потому что он был.

— Безусловно, — Дария кивнула. — Именно поэтому, госпожа Соколова, будьте осторожны. Вы сегодня приобрели друга. Возможно. Но её отец приобрёл повод.

Она взялась за медальон на груди. Тем же коротким бессознательным жестом, что и в первый день. Овальный, тусклый, старый. Я смотрела на него — и вдруг, в свете лампы с зелёным абажуром, увидела то, чего не замечала раньше. На ободке медальона, у самого ушка, где цепочка продевается в кольцо, — крошечный кружок. Едва различимый, стёртый почти до гладкости.

И в нём — три точки. Нет, не точки.

Дария увидела, куда я смотрю. Её пальцы сомкнулись на медальоне, закрыв его целиком.

— Шестнадцать пятьдесят девять. Контора закрывается через минуту. Доброго вечера, госпожа Соколова.

* * *

В тот вечер, лёжа в постели под лоскутным одеялом, я смотрела на грифельную доску на тумбочке. Она лежала там уже пятый день — тёмная, гладкая, пустая. Я ни разу не написала на ней ничего, кроме того «Спасибо», которое стёрла раньше, чем прошла минута. А может, и не раньше.

Сегодня на ней появилась надпись. Я не заметила, когда. Почерк быстрый, острый, наклонный — тот самый «ужасный почерк, который никто не может прочитать, кроме Барро». Я прочитала с первого раза.

Поздравляю с регистрацией. Теперь ваши видения — показания. Иногда. А. К.

Я долго смотрела на неё. Потом взяла мел.

Откуда вы знаете?

Минута. Я засекла — по Агатиным часам, которые теперь, после воскресенья, тикали внизу, ровно и громко, и их было слышно даже через пол. Через минуту и десять секунд на доске проступило:

Гильдия обязана уведомлять Управление о каждом зарегистрированном даре. Бумага пришла в четыре. Я её прочитал в четыре ноль одну.

Я улыбнулась. В темноте, одна, глупо.

А почему не в четыре ровно?

Минута. Ещё десять секунд.

Барро уронил кофе на донесение. Пришлось сушить.

Я засмеялась вслух. Гортензия, ночевавшая на перилах лестницы за дверью спальни, сонно сказала: «Что?» — и снова затихла.

Спокойной ночи, господин Кальве.

На этот раз ответ пришёл быстрее. Секунд через сорок.

Спокойной ночи, сударыня Соколова. Не трогайте ничего, что кусается.

Я положила доску на тумбочку. Лицом вверх. Не стирая.

Глава 12. Платье сбежавшей невесты

Скрипка ушла за сорок одну крону.

Я не была на торгах. Корнелия сказала, что продавцам присутствовать не принято, а я подумала, что мне и не стоит лишний раз показываться в доме Марро. Результаты принесла Мира: она простояла весь вечер у бокового входа, разговаривая с мальчишкой-рассыльным, которому в прошлый раз пообещала медяк. Медяк, как выяснилось, она ему всё-таки отдала, и теперь мальчишка считал её своим человеком.

— Двое торговались, — рассказывала Мира, размахивая руками. — Старик с лорнетом, ну тот, который тогда в зале был, и какая-то дама в перьях. Старик дал тридцать. Дама — тридцать пять. Старик — сорок. Дама — сорок одну. А старик как стукнет тростью и говорит: «Да подавитесь вы своей скрипкой, мадам, она всё равно треснутая!» И ушёл. А дама купила и расплакалась. Мальчишка говорит, она у этого учителя когда-то училась. Ну, у которого скрипка была. С которым ссора.

Подсвечники ушли за двадцать две. Часы с пастушкой — за пятнадцать. Семьдесят восемь крон, минус десятая часть дома, минус сотая — Дарии. Шестьдесят девять крон и почти пять серебрушек. Дария выдала их мне на следующий день в своём кабинете, под расписку, тяжёлыми золотыми монетами с профилем какой-то королевы в короне из колосьев, и я держала эти монеты на ладони и чувствовала себя так, будто держу в руках собственную жизнь. Её кусочек. Пятую часть.

Вместе с жестянкой из-под леденцов, где лежала выручка за оценки, получалось семьдесят шесть крон. До трёхсот пятидесяти двух не хватало двухсот семидесяти шести.

До Ночи Чёрной Луны оставалось тридцать три дня.

Я сложила монеты в Агатино кассу, в отдельную ячейку, и закрыла её на ключ. Потом подумала и переложил их в коробку из-под чая, а коробку спрятала за грессбухом. Потом подумала ещё раз и отдала коробку Гортензии.

— На хранение.

Гортензия посмотрела на коробку, на меня, снова на коробку.

— Это деньги.

— Деньги.

— Ты отдаёшь мне деньги на хранение.

— Да.

Сорока помолчала. Потом подцепила коробку когтями и улетела под стропила, не сказав ни слова. Но я слышала, как она там долго возилась, устраивая её поудобнее, и что-то бормотала себе под нос. Мне показалось — «Агата бы никогда», — и голос у неё был такой, будто она вот-вот расплачется.

* * *

Платье пришло на следующее утро.

Не ночью — утром. В девятом часу, когда я уже сидела за прилавком над справочником клейм, который взяла под залог в библиотеке Гильдии. Справочник был толстый, тяжёлый, с плотными страницами, на каждой — по десять-двенадцать клейм, нарисованных тушью, и пояснения мелким шрифтом. Я была на сорок седьмой странице из четырёхсот. Зверь в щите оказался гербом Северной пробирной палаты, и я испытала мстительное удовлетворение, найдя его.

Колокольчик не звякнул. Дверь не открылась. Просто я подняла голову от справочника — и на манекене, который стоял в углу у окна и всё это время был пустым, висело платье.

Белое. Нет, не белое — цвета слоновой кости, тёплого, чуть желтоватого, как старые клавиши рояля. Шёлк, тяжёлый, матовый, ниспадающий складками до самого пола. Лиф, расши-

тый мелким жемчугом. Рукава — длинные, узкие, с пуговками от локтя до запястья, штук по двадцать на каждом. Юбка с небольшим шлейфом. И фата — длинная, тонкая, кружевная, с венчиком из восковых цветов апельсина, — висела на крючке рядом.

Свадебное. Очень старое и очень хорошее. Я с первого взгляда видела: шёлк — ручного тканья, кружево — ручного плетения, не машинное. Жемчуг — речной, мелкий, неправильной формы, нашит вручную, каждая бусина отдельной стежкой.

К пуговке на запястье была привязана бирка. Почерк лавки, мелкий и круглый, но сегодня — торопливый, будто писавший очень спешил:

Платье свадебное. Забыто у алтаря. Ждёт. СРОЧНО.

Слово «срочно» было написано заглавными буквами и подчёркнуто трижды.

— Гортензия, — позвала я.

Сорока уже сидела на перилах лестницы и смотрела на платье во все глаза.

— Сто двадцать лет. Сто двадцать лет — и ни разу «срочно».

— Что это значит?

— Не знаю, — Гортензия взъерошилась. — Может, лавка хочет, чтобы ты поторопилась?

Я подошла к платью. Не касаясь. Просто встала рядом, и меня сразу накрыло — даже без прикосновения, как от кольца, только совсем иначе. Не холодом. Жаром. Паникой, слезами, сбившимся дыханием, бешено колотящимся сердцем. Таким сильным, таким свежим, что у меня самой зачастил пульс.

Это не было давнее. Это было сегодня. Час назад. Может быть, меньше.

Я взяла платок, накрыла им кружевную манжету и коснулась кончиками пальцев.

Часовня. Маленькая, белая, со свечами и цветами, полная людей. Орган играет. Впереди, у алтаря, — он. Высокий, светловолосый, в тёмном сюртуке, бледный, как полотно. Он оборачивается. Он улыбается. И я... я стою в притворе, за занавеской, и мне надо идти, вот сейчас, сейчас уже, отец держит меня под руку...

И я слышу. Голос из-за двери ризницы. Женский, немолодой, раздражённый. «...ну, разумеется, она за деньги. Ты что, не видишь? Сирота, без приданого, а тут — наш Бертран, с конторой, с домом. Я ему говорила, говорила...»

И всё. Всё внутри падает, как стекло с полки. Я вырываю руку у отца. Я бегу. Не к алтарю — назад, в ризницу, где оставила пальто, срываю платье — пуговики, двадцать штук на каждом рукаве, я рву их, они сыплются на пол, — бросаю платье на стул, хватаю пальто и бегу, бегу через заднюю дверь, по мокрой траве, в нижней юбке, в одной туфле, вторая слетела где-то...

Я отдёргнула руку. Сердце колотилось так, будто это я только что бежала по мокрой траве.

Я посмотрела на рукава. Пуговики на них были на месте. Все до одной, по двадцать штук. Видимо, лавка принимала вещи в том виде, в каком их помнили, а не в каком их бросили. Или пришила обратно. Я не знала, что из этого страннее.

— Ну? — спросила Гортензия.

— Невеста. Сбежала. Сегодня. Час назад. Из-под венца.

— Ох, — протянула Гортензия с глубоким удовлетворением. — Вот это я понимаю. Вот это — вещь.

Колокольчик над дверью звякнул.

Звук был не тот. Ни высокий и чистый, как для своих, ни низкий и протяжный, как для Сюзанны Ланж. Этот звук был короткий, резкий, раздражённый, как будто колокольчик дёрнули за язык.

В лавку ворвался молодой человек.

Высокий, светловолосый, в тёмном сюртуке, бледный как полотно. На сюртуке, в петлице, — белая бутоньерка, уже помятая. Волосы взъерошены, галстук съехал набок. В руке — женская туфелька. Атласная, белая, с маленькой пряжкой.

— Простите! — выдохнул он. — Простите, сударыня, вы не видели... Девушку... Невесту... Она... Я шёл, шёл, я весь город обежал, и тут стена, и вдруг улица, и я подумал... — он увидел платье на манекене. Замер. Туфелька выпала у него из руки. — Это... Это её. Это её платье. Откуда оно у вас?

— Оно пришло само.

Молодой человек посмотрел на меня так, как, наверное, смотрел бы на заговорившую лошадь. За последние три недели я привыкла к этому взгляду.

— Где она? — спросил он. — Где Жозефина?

— Не знаю.

— Но платье... Если платье здесь...

— Платье здесь, потому что она его забыла, — я подняла туфельку с пола и поставила на прилавок. — Вас зовут Бертран?

— Да, — он моргнул. — Откуда вы...

— Ваша матушка, — начала я осторожно, — она, случайно, не была в ризнице перед самым венчанием?

Бертран смотрел на меня. Лицо у него медленно менялось — от растерянности к недоумению, от недоумения к пониманию, от понимания к такому ужасу, какой бывает у человека, который вдруг увидел, что дом, в котором он живёт, стоит на краю обрыва.

— Матушка, — сказал он слабым голосом. — Матушка что-то сказала?

— Сударь, — обратилась я к нему. — Я думаю, вам надо присесть.

Табуретка качнулась под ним. Он этого, кажется, не заметил.

* * *

Невеста пришла через двадцать минут.

К этому времени в лавке было уже людно. Мира пришла в девять, как обычно, увидела платье, увидела жениха на табуретке, сказала: «Ого», — и встала у двери, скрестив руки на груди, с видом человека, который охраняет вход в королевскую сокровищницу. Марта, видимо, услышала из своей чайной резкий звон колокольчика, потому что через пять минут явилась с подносом: чайник, три чашки, булочки с корицей. Поставила поднос на прилавок, посмотрела на Бертрана, спросила: «Жених?» — и, получив кивок, налила ему чаю с таким выражением лица, с каким наливают чай приговорённым.

Бертран рассказывал. Путано, сбивчиво, держа чашку обеими руками. Жозефина — сирота, работала белошвейкой в мастерской на Шёлковой улице. Он — младший компаньон в нотариальной конторе отца. Они познакомились, когда она принесла в контору заверить какую-то бумагу. Он влюбился с первого взгляда. Она — со второго, она так говорила. Матушка была против. Матушка всегда была против. Но он настоял, и матушка согласилась, и сегодня...

— Она сказала, что я женюсь на охотнице за приданым? — спросил он. — Матушка? Прямо там?

— За дверью ризницы.

— Но это неправда! — Бертран вскочил, расплескав чай. — Жозефина никогда... Она даже не хотела, чтобы я ей кольцо дорогое покупал! Она сказала: «Купи серебряное, Берти, золото — это для дураков». Это платье — её бабушкино, она его сама перешивала три месяца, по ночам! Она...

Колокольчик звякнул. Робко, тихо, неуверенно, с какой-то даже дрожью в звуке.

Мира у двери обернулась — и мгновенно, не раздумывая, задвинула засов.

— Мира! — крикнула я.

— Это она, — прошипела Мира, прижавшись спиной к двери. — Вера, это она! В пальто, без шляпы, в одной туфле! Если она его тут увидит, она опять убежит!

— Жозефина? — Бертран рванулся к двери. — Жозефина!

— Сядь! — рявкнула Марта таким голосом, что сел не только Бертран, но и, кажется, рыжий кот у неё в чайной через улицу.

Стук в дверь. Тихий.

— Простите, — раздался женский голос с той стороны, сдавленный, мокрый от слёз. — Простите, тут открыто? Я... Я, кажется, ищу... Я не знаю, что ищу. Простите.

Мы все посмотрели друг на друга. Я — на Марту. Марта — на Миру. Мира — на меня. Бертран — на дверь, с таким лицом, будто за ней стоял сам ангел смерти.

— Наверх, — скомандовала я.

— Что?

— Бертран, наверх. В спальню. Сейчас же. Сидите там и не высовывайтесь.

— Но я...

— Наверх!

Он побежал наверх. Третья ступенька скрипнула. Пятая тоже. Седьмая фыркнула так громко, что, мне показалось, было слышно на улице. Дверь спальни хлопнула.

Я кивнула Мире. Мира отодвинула засов.

* * *

Жозефина оказалась маленькой, тоненькой, темноволосой, с огромными карими глазами, сейчас красными от слёз. Она была в мужском пальто, явно с чужого плеча, накинутом поверх белой нижней юбки с кружевной оборкой. Волосы — сложная свадебная причёска, наполовину развалившаяся, с выпавшими шпильками. На одной ноге — атласная белая туфелька с пряжкой. На другой — только чулок, мокрый и грязный.

Она шагнула через порог — и увидела платье.

— Ой, — сказала она. И заплакала. Сразу, как плачут дети: всем лицом, громко, некрасиво, с икотой.

Марта, не говоря ни слова, налила ей чаю. Мира, не говоря ни слова, взяла с полки у двери шаль — другую, не ту серую, а синюю, клетчатую, с биркой «Забыта на вокзале» — и накинула ей на плечи. Я пододвинула табуретку.

Жозефина села. Взяла чашку. Пила, всхлипывая. Мы ждали.

— Это бабушкино, — произнесла она наконец, глядя на платье. — Платье. Я его... Я его бросила. В часовне. Я думала, мне всё равно. Я думала, пусть пропадёт. А потом шла по улице, и вдруг поняла: бабушкино. Бабушкино же. Я его бросила. Как дура. И пошла назад. А тут стена. А потом улица, — она подняла на меня мокрые глаза. — Можно я его заберу? Пожалуйста? Я заплачу. У меня есть... — она ощупала карманы чужого пальто. — У меня ничего нет.

— Вы его заберёте. Но сначала, если позволите, я хочу кое-что посмотреть.

— Что?

— Платье, — я подошла к манекену. — Вы позволите?

Она кивнула, не понимая. Я взяла платок и коснулась платья. Не манжеты — подола, самого края, где шёлк был старше всего.

Сначала — ничего. Сегодняшняя паника, слёзы, бег по мокрой траве — я их уже видела, они лежали сверху, как свежий снег. Я надавила глубже. Осторожно, через платок. Под снегом была земля.

Другая часовня. Маленькая, деревянная, деревенская. Другая невеста — тоже темноволосая, тоже маленькая, с теми же огромными глазами, — стоит в этом самом платье, только платье новое, белое-белое, и жемчуг на лифе блестит. Она тоже стоит в притворе. И тоже не идёт. Впереди, у алтаря, — толстый, лысеющий, богатый, с золотой цепью на брюхе, отцовский выбор. А за окном часовни, на улице, под дождём, без шляпы, — другой. Худой, рыжий, в залатанной куртке. Смотрит.

Она поднимает фату. Поворачивается. И идёт — не к алтарю, а к двери. Медленно, гордо, под шёпот всей деревни. Выходит. Под дождь. Берёт рыжего за руку.

Голос. Старый, хриловатый, весёлый. Голос пожилой женщины, сидящей у окна с шитьём, — и девочка рядом, маленькая, темноволосая, — и женщина говорит ей, не отрываясь от иглы: «Знаешь, Жози, что я тебе скажу? Если когда-нибудь будешь сомневаться — спроси его. Его самого. Не его мать, не его отца, не соседей, не подружек. Его. Я вот однажды спросила — и он сказал правду. Пятьдесят лет с ним прожила. Ни разу не соврал».

Я отняла руку.

Жозефина смотрела на меня. Марта — тоже. Мира у двери — тоже.

— Вашу бабушку, — сказала я медленно. — Звали... Она тоже ушла от алтаря. В этом платье. К рыжему. Под дождь.

Глаза у Жозефины стали ещё больше.

— Откуда вы...

— И она вам говорила: «Если будешь сомневаться — спроси его. Его самого. Не его мать».

Жозефина выронила чашку. Марта поймала её на лету, не глядя, как ловила все падающие чашки, кажется, всю жизнь.

— Она так говорила, — прошептала Жозефина. — Она так... Она всегда... Откуда вы знаете?

— Платье помнит, — ответила я. — Жозефина. Вы его спросили?

— Кого?

— Бертрана.

Жозефина побелела. Потом покраснела. Потом сжалась на табуретке, закуталась в клетчатую шаль и сказала глухо, в шаль:

— Нет. Я не могу. Его мать... Она права. У меня ничего нет. Ни денег, ни родни. Он из хорошей семьи. А я... Я не знаю, зачем я ему. Может, правда... Может, я правда...

— Жози!

Это был не мой голос и не Мартин.

Бертран стоял на лестнице. На седьмой ступеньке. Видимо, он вышел из спальни, услышал голоса, начал спускаться — и седьмая ступенька, вместо того чтобы фыркнуть, промолчала. Предательски. Или, наоборот, из лучших побуждений. С лавкой я уже ни в чём не была уверена.

Жозефина вскочила. Шаль упала. Чашка — нет, Марта успела.

— Ты! — выдохнула Жозефина. — Ты... Ты здесь... Ты что, меня искал?

— Весь город обежал! — Бертран слетел с лестницы, перепрыгнув через три ступеньки. Третья и пятая возмущённо скрипнули ему вслед. — Жози, она сказала... Матушка... Мне сказали, что она сказала... Жози, это неправда! Это неправда, слышишь? Это она так думает, а не я! Я никогда так не думал! Ни одной секунды!

— Но я сирота! И у меня ничего нет!

— У тебя есть я!

— Это не приданое!

— Мне не нужно приданое! Мне нужна ты! Ты, слышишь? Ты, которая сказала, что золото — для дураков! Я хочу на тебе жениться, а не на твоих деньгах, которых у тебя нет! Я с матушкой поговорю! Я ей скажу... Я... — он остановился посреди лавки, между прилавком и манекеном с платьем, растрёпанный, бледный, с бутоньеркой, болтающейся на одной нитке. — Жози. Ты ведь меня любишь?

Жозефина смотрела на него. Губы у неё дрожали.

— Ты сам меня спроси. Не мать. Не отца. Ты.

Бертран посмотрел на неё. Потом медленно, неуклюже, путаясь в полах сюртука, опустился на одно колено. Прямо на пол моей лавки, рядом с полкой галош.

— Жозефина, ты выйдешь за меня?

Тишина. Даже часы в углу, казалось, перестали тикать.

— Да, — сказала Жозефина. — Дурак. Да.

Марта поставила чайник на прилавок. Громко. И сказала, ни к кому особенно не обращаясь:

— Ну вот. А то — «приданое». Я вам что, сплетница? Я вам, кстати, могу сказать, что твоя матушка, молодой человек, сама выходила за твоего отца без гроша в кармане. Она дочь лудильщика из Медного квартала. Это я не сплетничаю. Это я обеспечиваю информационный обмен. Чтобы тебе было что ей ответить.

Бертран посмотрел на неё снизу вверх, с колена, с выражением человека, на которого с неба упал меч.

* * *

А дальше всё пошло так, как идёт обычно, когда в одной лавке собирается слишком много людей с хорошими намерениями.

Выяснилось, что венчание перенесено на четыре часа — священник согласился подождать, потому что сам когда-то сбегал от невесты и понимает. Это Бертран успел узнать, прежде чем броситься на поиски. Выяснилось, что Жозефина не может надеть платье сама, потому что на рукавах — по двадцать пуговиц, и это, как сказала она, «с помощницей — четверть часа, а без помощницы — до утра». Выяснилось, что платье за время пути помялось — то ли в часовне, когда его швыряли на стул, то ли в лавке, когда оно приходило, — и юбка висела жёванной тряпкой.

— Утюг! — закричала Мира. — Нужен утюг!

— У меня есть утюг! — закричала Элиза, которая неизвестно когда успела появиться — я не слышала колокольчика, — и уже стояла посреди лавки, с огромной сумкой через плечо и сияющими глазами. — Новый! Паровой! Сама сделала! Самогреющийся, на кристалле, с отпаривателем! Вчера закончила! Испытываю!

— Нет, — покачала я головой.

— Да! — не сдалась Элиза.

— Элиза, это шёлк, ему сто лет...

— Он для шёлка! У него регулятор!

— Ты его испытывала?

— Вот сейчас и испытаю!

Её не нужно было останавливать. Её нужно было бы связать, но для этого у нас не было ни верёвки, ни времени. Элиза уже доставала из сумки утюг — медный, тяжёлый, с ручкой из чёрного дерева и маленьким стеклянным окошком сбоку, в котором светился голубой кристалл. Нажала на рычажок. Утюг зашипел.

— Отойдите все, — сказала Марта, хватая со стойки поднос.

Я успела снять фату с крючка и прижать её к груди, отступая к лестнице. Мира успела увести Жозефину за прилавок. Бертран, ещё стоявший на одном колене, — не успел.

Утюг чихнул. Громко, басом, как простуженный бык. Из носика ударила струя пара — белого, густого, горячего, — прямо в потолок, к стропилам.

К тому месту, где сидела Гортензия.

Раздался вопль. Нечеловеческий — птичий, пронзительный, оскорблённый до самой глубины души. Из облака пара вылетела Гортензия — мокрая, взъерошенная, с перьями, торчащими во все стороны, как у ежа. Она промчалась над нашими головами, сделала круг, другой, — и на втором круге, пролетая мимо меня, выхватила у меня из рук фату.

Восковые цветы апельсина. Кружево. Где-то на венчике — я не заметила раньше — крошечные жемчужинки.

Блестящие.

— Гортензия! — крикнула я. — Отдай!

— Мокро! — визжала сорока, мечась под потолком с фатой в когтях, фата развевалась за ней, как флаг. — Мокро! Опять! Опять кудрявая! Сто двадцать лет!

— Гортензия, это фата невесты!

— Компенсация!

— Её венчают в четыре!

— Моральный ущерб!

Она уселась на навершие напольных часов, вцепившись в фату когтями и клювом, и сидела там, мокрая, нахохленная, сверкая глазами-бусинами, как дракон на сокровище.

Элиза тем временем, как ни в чём не бывало, отпаривала платье. Утюг больше не чихал — он мирно шипел, и из него шёл ровный тонкий пар, и под этим паром шёлк расправлялся, складки исчезали, юбка оживала. Элиза напевала про моряка. Жозефина смотрела на неё с открытым ртом. Бертран — с колена, на котором так и стоял.

— Видишь? — сказала Элиза, не оборачиваясь. — Регулятор. Работает. Первый раз только чихает, он прочищается.

— Гортензия, — сказала я, встав под часами. — Пожалуйста.

— Нет.

— Я дам тебе орех.

— Пять.

— Три.

— Пять. И пуговицу.

— Какую пуговицу?

— Любую. На мой выбор.

Я посмотрела на неё. Она — на меня. Мокрая, взъерошенная, униженная, с фатой в когтях.

— Хорошо. Пять орехов и пуговица. Спускайся.

Гортензия подумала. Потом, не выпуская фату, снялась с часов, сделала вираж под потолком — и, видимо, от мокрых перьев не рассчитала. Или рассчитала. С Гортензией я тоже ни в чём не была уверена. Она пролетела надо мной, совсем низко, разжала когти — и фата, кружево, восковые цветы апельсина, жемчужинки, — вся она мягко, плавно, как снег в безветрие, опустилась мне на голову.

Накрыла меня целиком. До плеч. До пояса.

Я стояла посреди лавки в фате. Сквозь кружево мир казался белым, размытым, мерцающим. Я видела Жозефину за прилавком — она прижала обе ладони ко рту. Миру — у неё отвисла челюсть. Марту с подносом. Бертрана на колене. Элизу с утюгом, которая обернулась, посмотрела на меня, просияла и восторженно закричала:

— Ой! Вера! Тебе так идёт! Невеста готова!

Колокольчик над дверью звякнул.

Четыре раза. Ровно, с одинаковыми промежутками.

Я медленно повернулась к двери. В фате. Кружево колыхнулось.

На пороге стоял Адриан Кальве. С котелком в руке. В сером пальто. С папкой под мышкой.

Он стоял и смотрел. На меня в фате, посреди лавки. На платье на манекене, сияющее под паром. На Бертрана на одном колене, в свадебном сюртуке, с бутоньеркой на нитке. На Элизу с утюгом. На Марту с подносом. На Миру. На мокрую, взъерошенную сороку на часах.

Его лицо не изменилось. Ни одна черта. Только брови — очень медленно, на полволоска — поползли вверх.

— Сударыня Соколова, вы, я смотрю, всё-таки решились. — Пауза. — Часовщик?

— Это не то, что вы подумали, — сказала я из-под фаты.

— Я ничего не подумал.

— Это не моя фата.

— Конечно.

— Это не мой жених.

— Безусловно.

— Он стоит на колене не передо мной!

Бертран, всё ещё стоявший на колене, видимо, решил помочь. Он вскочил, бросился к Кальве, схватил его за руку и затряс её с жаром человека, у которого сегодня самый счастливый день жизни.

— Сударь! Вы друг сударыни? Это изумительная женщина! Она нас спасла! Она всё уладила! Мы женимся сегодня! В четыре! Приходите!

Кальве посмотрел на свою руку, которую трясли. Потом на Бертрана. Потом на меня.

— «Мы». Женитесь. Сегодня.

— Не «мы»! То есть «мы», но не я!

— Мы с Жозефиной! — Бертран обернулся и показал на прилавок, за которым стояла Жозефина. В мужском пальто, в нижней юбке, в одной туфле и в клетчатой шали с биркой «Забита на вокзале».

Кальве посмотрел на Жозефину. Жозефина посмотрела на Кальве. Икнула.

— А, — протянул Кальве. — Понятно.

— Ничего вам не понятно, — сказала я и попыталась стянуть с головы фату. Фата зацепилась за шпильку. Я дёрнула. Зацепилась сильнее. — Господин Кальве, это сбегавшая невеста. Её платье пришло в лавку. Потом пришёл жених. Потом пришла невеста. Я их помирила. Это всё.

— Через фату, — сказал Кальве.

— Фату утащила сорока!

— Компенсация, — сказала Гортензия с часов, мстительно. — Моральный ущерб. Фараон, отвернись. Я мокрая.

Кальве послушно отвернулся. От сороки — ко мне. Посмотрел на меня, запутавшуюся в фате. Шагнул вперёд. Протянул руку — и очень осторожно, двумя пальцами, отцепил кружево от шпильки у меня за ухом. Его пальцы коснулись моих волос. Совсем чуть-чуть. Мимоходом.

Фата соскользнула. Он поймал её — не дал упасть на пол — и протянул Жозефине через прилавок. С лёгким поклоном.

— Ваша, сударыня. Поздравляю.

Жозефина взяла фату. Посмотрела на Кальве. Посмотрела на меня. И сказала то, что говорят только очень счастливые люди, которые хотят, чтобы все вокруг тоже немедленно стали счастливы:

— А вы тоже приходите! Вдвоём! В четыре! Часовня Святой Агнессы на Шёлковой улице!

— Вдвоём, — повторил Кальве.

— Мы не вдвоём.

Марта поставила поднос на прилавок. Посмотрела на Кальве поверх очков, потом на меня, потом снова на Кальве. И сказала с совершенно невинным лицом:

— Дознаватель, чаю?

* * *

К вечеру вся Кожевенная знала, что новая хозяйка лавки Лорис выходит замуж за дознавателя из Управления.

Я узнала об этом от Сюзанны Ланж, которая зашла на минутку — «просто так, проходила мимо, стена-то теперь пропускает» — с пирогом. Сюзанна поздравила меня, сказала, что дознаватель — мужчина серьёзный, видно, что умеет чинить табуретки, и спросила, когда свадьба.

— Никакой свадьбы нет.

— Ну конечно, конечно. Пока нет. Вы ж ещё не объявляли. Я понимаю.

— Сюзанна, откуда вы это взяли?

— Да все ж говорят. В прачечной, — Сюзанна посмотрела на меня с удивлением. — Мне Жанна сказала. А Жанне — булочница с угла. А булочнице — Марта.

— Марта, — вздохнула я.

— Ну да. Она к булочнице за мукой ходила. Сказала, что ничего не говорит, но вы стояли в фате, а дознаватель — на пороге. И всё. Больше ничего не сказала. Она ж не сплетничает.

Я поблагодарила Сюзанну за пирог. Проводила. Закрыла дверь. Повернулась к Гортензии, которая, уже высохшая и снова гладкая, сидела на подсвечнике и чистила клювом новую пуговицу — огромную, янтарную, из жестики, на свой выбор.

— Она не сплетничает.

— Никогда, — подтвердила Гортензия. — Она обеспечивает информационный обмен.

Я села за прилавок и закрыла лицо руками.

На грифельной доске, которую я теперь носила с собой в кармане платья, проступили буквы. Я почувствовала это — доска потеплела. Достала. Посмотрела.

Барро спрашивает, правда ли, что я женюсь. Ему сказал дежурный. Дежурному — его тётка из прачечной на Кожевенной. Что отвечать?

Я смотрела на это долго. Потом взяла мел.

Скажите — недоразумение.

Минута. Ещё десять секунд.

Сказал. Он не поверил. Сказал, что я покраснел. Я не краснею. Это физиологически невозможно, у меня толстая кожа.

Я засмеялась. Тихо, в ладонь.

Вы на свадьбе были?

Он был. Я знала, потому что я тоже там была. Мы стояли в задних рядах маленькой белой часовни Святой Агнессы — не вдвоём, конечно, а вместе с Мартой, Элизой, Мирой и даже Тобиасом, которого Марта привела под руку, — и смотрели, как Жозефина в бабушкином платье цвета слоновой кости идёт к алтарю. Мать жениха сидела в первом ряду с каменным лицом. Когда Бертран, проходя мимо неё, наклонился и что-то сказал ей на ухо, лицо у неё стало сначала красным, потом белым, потом очень задумчивым. Марта, стоявшая рядом со мной, удовлетворённо кивнула. «Дочь лудильщика», — шепнула она. И больше ничего.

Кальве стоял у колонны, в пальто, с котелком в руке. Он не смотрел на невесту. Я знаю, потому что я смотрела на него. А он смотрел — я видела краем глаза — на меня. И, когда я повернула голову, отвернулся.

Не покраснел. Физиологически невозможно.

Был, — проступило на доске. — Хорошая свадьба. Священник плакал.

Я видела.

Жених уронил кольцо.

Я видела.

Вы плакали.

Я замерла с мелом в руке.

Я не плакала.

Пауза. Минута. Две. Я уже думала, что он не ответит.
Я всё замечаю, сударыня Соколова. Это моя работа.
Я положила доску на прилавок. Лицом вниз. Посидела. Потом перевернула.
Надпись ещё была там. Он её не стёр.
Я тоже не стала.

Глава 13. Деревянная лошадка

Медальон пришёл ночью. Лошадка — под утро.

Я знаю точно, потому что не спала. После свадьбы, после часовни, после того как Марта увела Тобиаса под руку, а Элиза и Мира, хихикая, ушли к себе в мастерскую, я поднялась в спальню, легла и поняла, что не усну. Слишком много всего. Слишком много чужих голосов в голове: Жозефинина паника, бабушкин смех, «спроси его самого». Слишком много своего. Белое кружево перед глазами. Чужие пальцы, отцепляющие его от шпильки за моим ухом.

Вы плакали.

Я не плакала. Я просто стояла в задних рядах маленькой часовни и смотрела, как девочка-сирота в бабушкином платье идёт к человеку, который её любит, и вдруг поняла, что у меня горят глаза. От ладана, наверное. Там было очень много ладана.

В третьем часу ночи внизу что-то стукнуло. Негромко, коротко, будто на прилавок положили что-то маленькое и тяжёлое. Я замерла, прислушиваясь. Часы в углу — теперь живые, тикающие — пробили три. Больше ничего.

Потом пришёл холод. Тот самый. Он поднялся по лестнице, через пол, через лоскутное одеяло — и сжал виски.

Я не стала спускаться. Я лежала, смотрела в потолок и считала удары часов. Без Кальве не трогать. Сообщить сразу. Не больше одного раза в день. Если начинается кровь — прекращать. Мы договорились. Я выполняю договорённости.

Под утро, часов в пять, снизу пришло что-то другое. Не холод — тепло. Слабое, далёкое, почти незаметное за холодом медальона, как огонёк свечи в соседней комнате. И пахло — мне показалось, но я готова была поклясться — свежей стружкой.

* * *

Медальон лежал на прилавке, рядом с весами. Круглый, плоский, серебряный, на тонкой цепочке, свернувшейся кольцом. Тот самый, с рисунка в папке Кальве. Бирка:

Медальон, серебро. Отнят. Ждёт.

А рядом с ним, прямо на раскрытом grossбухе, стояла лошадка.

Деревянная. Сантиметров двадцать в длину, на подставке с четырьмя колёсиками. Вырезана целиком из одного куска дерева — светлого, медового, с тонкими тёмными прожилками. Липа, наверное. Или груша. Краска на ней когда-то была — гнедая, с белой звёздочкой на лбу, — но почти вся стёрлась, осталась только в глубоких местах, в складках резьбы. Глаза — две медные гвоздики. А грива и хвост — настоящие. Конский волос, тёмный, жёсткий, вставленный в просверленные дырочки и закреплённый клеем. Кое-где волос выпал, и дырочки зияли, как пропущенные стежки.

Резьба была удивительной. Не игрушечной — мастерской. Каждая мышца на шее, каждая жилка на ноге, изгиб спины, поворот головы — будто лошадь вот-вот тряхнёт гривой и пойдёт. Тот, кто её резал, умел. Очень умел. И любил того, для кого резал. Это было видно — так же видно, как видно по надглазурной росписи, что художник торопился, а по гуаши — что не торопился вовсе.

Бирка была привязана к хвосту:

Лошадка, дерево. Забыта выросшим. Ждёт двадцать девять лет.

Я не стала её трогать. Ни её, ни медальон. Взяла грифельную доску из кармана, мел.

Пришёл медальон Ривьеров. И ещё кое-что.

Через минуту:

Буду через полчаса.

Он пришёл через двадцать пять минут. Один. С папкой под мышкой, в пальто, накинутом на плечи, будто выскочил, не успев продеть руки в рукава. Под глазами — тени, ещё глубже, чем вчера. На щеке — свежий порез от бритвы.

— Барро сказал, что я тороплюсь на свидание, — сообщил он с порога, ровным голосом. — Я сказал, что у меня следственное действие. Он сказал, что это одно и то же.

— Барро, кажется, очень весёлый человек.

— Очень, — Кальве снял пальто, повесил на крючок у двери, рядом с зонтом. Подошёл к прилавку. — Я его когда-нибудь убью. Где медальон?

Я показала. Он наклонился, разглядывая, не касаясь. Достал из папки рисунок, приложил рядом. Кивнул.

— Он. Что ещё?

Я молча показала на лошадку.

Он посмотрел на неё.

Я видела много раз, как люди смотрят на вещи. За восемь лет — тысячи раз. Как смотрят на вещь, которую хотят купить, и на вещь, которую хотят продать. Как смотрят на подделку, когда понимают, что это подделка, и на подлинник, когда понимают, что подлинник. Как смотрят наследники на бабушкин сервиз, который им предстоит делить. Как смотрят коллекционеры на предмет, за которым охотились двадцать лет.

Так, как Адриан Кальве посмотрел на деревянную лошадку, не смотрел никто.

Он не изменился в лице. Ни одна черта не дрогнула. Он просто застыл. Совсем. Как будто время вокруг него остановилось, как часы без четверти четыре, — и только его глаза, светлые, серые, продолжали жить. Они смотрели на лошадку, и в них медленно, очень медленно поднималось что-то, чему я не знала названия.

— Это моя, — сказал он.

Голос был совершенно ровный. Именно поэтому мне стало страшно.

— Я знаю, — ответила я тихо. — То есть... Я догадалась. Бирка. «Забыта выросшим. Двадцать девять лет».

Он не ответил. Протянул руку. Остановился в сантиметре от деревянной гривы. Пальцы — длинные, с чернильным пятном на указательном и старой мозолью у основания большого, — не дрожали. Он просто держал руку над лошадкой, не касаясь, как держат руку над огнём, чтобы проверить, горячий ли.

— Господин Кальве, давайте сначала медальон. Как договаривались. А потом...

— Да, — кивнул он и убрал руку. — Да. Медальон.

* * *

Я взяла платок, сложила вдвое. Не вчетверо — вдвое. Мне нужно было больше. Я видела уже руку в перчатке, прибор, нитку света. Я хотела увидеть лицо.

Кальве стоял рядом, по другую сторону прилавка. С блокнотом. С карандашом. С флягой на боку.

— Если пойдёт кровь... — начал он.

— Я знаю.

— ...я вас остановлю.

— Как?

— Как получится.

Я положила пальцы на медальон.

Темнота. Комната. Круг света от лампы на столе. Медальон — на столе, раскрытый, и в нём, под крышкой, портрет женщины — немолодой, полной, с добрыми морщинами у глаз. Рука в чёрной перчатке. Стекланный шар на бронзовой ножке. Игла.

Игла касается портрета. Свет — тонкий, золотой — тянется вверх. И что-то рвётся. Мама. Мамины руки, пахнущие тестом, мамин голос, мамыны... Чьи? Чья мама? Это была...

Я стиснула зубы. Не туда. Не в рвущееся — мимо. Глубже. В комнату. Туда, где свет лампы не достаёт.

Голос. Мужской, хрипловатый, раздражённый. Молодой.

— Опять не то, — шорох. Звяканье металла о стекло. — Опять просто бабка. Портреты, пирожки, «мамочка, мамочка». Тьфу.

Второй голос. Дальше. Глуше. Будто из угла, где темнее всего.

— Клеймо то же?

— То же. Три луны. Только толку? Эти вещи ничего не помнят, кроме своих хозяев. Хозяин сказал — нужна Аделаида. Ключ у Аделаиды. А тут сплошные бабки.

— Значит, нужны вещи не с клеймом. А с самой улицы.

— На улицу не попасть. — Плевок, кажется. — Пока там старуха сидела — не пускала. Теперь, говорят, новая. Хозяин сказал — подождать. Сказал, сама придёт.

— Пришла?

— Пришла. Зеркало принесла. Хозяин говорит...

Я падала. Темнота качнулась, комната поплыла, свет лампы растёкся жёлтым пятном. Голоса удалялись, становились тонкими, как комариный писк. Я пыталась удержаться, ухватиться — хоть за слово, хоть за звук, — но меня тянуло, тянуло вниз, в рвущееся, в мамины руки, пахнущие тестом, в пустоту, где раньше было лицо...

— Вера.

Голос был близко. И руки. Тёплые, сильные, на моих плечах. Меня держали. Крепко. Надёжно. Не давали упасть.

Я открыла глаза.

Я сидела на полу, за прилавком, прислонившись спиной к ящикам под кассой. Кальве стоял на коленях передо мной, держа меня за плечи. Лицо у него было очень близко. Белое, как полотно.

По губе текло. Много, тёплое, с медным вкусом.

— Вера, — повторил он. — Вы меня слышите?

— Слышу, — ответила я. Голос был чужой, хриплый. — Вы называли меня по имени.

Он замер. На секунду. Потом отпустил одно моё плечо, полез в карман жилета, достал платок — снова чистый, снова отглаженный, снова с «А. К.» в уголке — и прижал к моему лицу.

— Держите. Голову не запрокидывайте. Наклоните вперёд.

— Я знаю, как...

— Наклоните.

Я наклонила. Он держал платок, а я держала его руку с платком. Так мы и сидели на полу за прилавком, минуту, две, три. Гортензия на подсвечнике не издала ни звука. Часы в углу тикали.

— Это второй, — сказала я в платок. — У вас кончатся платки.

— У меня их двенадцать, — он не отпуская. — Мать дарит на каждый праздник. Я никогда не знал, зачем.

— Теперь знаете.

— Теперь знаю.

Кровь остановилась минут через пять. Он помог мне встать. Усадил на табуретку — ту, что качалась, — и придержал её ногой, чтобы не качалась. Отвинтил флягу, налил в крышку.

— Нет.

— Да.

— Это яд.

— Это огнецвет. Пейте.

Я выпила. Скулы свело. Глаза наполнились слезами. Перец, горелое, металл. Через минуту звон в голове прошёл.

— Я начинаю привыкать. Это плохой знак?

— Это очень плохой знак, — серьёзно ответил Кальве. — Барро привык через год. Теперь он пьёт мой кофе по утрам добровольно. Врач говорит, это необратимо.

Я засмеялась. Это было больно — в голове ещё гудело, — но я засмеялась. И он, кажется, тоже. Не вслух. Но что-то у него в лице сдвинулось — у глаз, у рта, — и на секунду он стал совсем другим. Моложе. Живее.

Потом это прошло, и он снова взял блокнот.

— Что вы слышали?

* * *

Я рассказала. Дословно, как могла. Два голоса. Молодой, хриплый, раздражённый — рядом с прибором. Второй — глуше, дальше, в углу. «Опять не то. Опять просто бабка». «Клеймо то же. Три луны». «Хозяин сказал — нужна Аделаида. Ключ у Аделаиды». «Значит, нужны вещи с самой улицы». «На улицу не попасть. Пока там старуха сидела — не пускала». «Теперь новая. Хозяин сказал — подождать, сама придёт». «Пришла. Зеркало принесла».

Кальве записывал. Быстро, острым наклонным почерком, который никто не мог прочесть. На последней фразе карандаш у него сломался. Он посмотрел на обломок, отложил его, достал другой и дописал.

— Это не Марро. Голос другой. Молодой. Грубый. Он говорил «хозяин».

— Наёмник. Двое. Один работает с прибором — значит, обучен. Экстрактором нельзя пользоваться без подготовки, он тогда выжигает и вещь, и того, кто держит. Второй... Второй, возможно, тот, кто его нанял. Или посредник.

— А хозяин?

— А хозяин, — ответил Кальве. — Знал, что вы принесли зеркало. Через день после того, как вы его принесли.

Мы помолчали.

— «Пока там старуха сидела — не пускала», — повторила я. — Агата. Улица не пускала их, пока жила Агата. А теперь...

— А теперь хозяйка — вы.

— А я их пущу?

— Не знаю. Вы — хозяйка. Не я.

Я посмотрела на медальон. На портрет полной женщины с добрыми морщинами, который я видела только в видении — сам медальон был закрыт. Где-то на Каштановой улице её сын смотрел на этот портрет на стене и не узнавал мать.

— «Ключ у Аделаиды», — вспомнила я. — Аделаида Лорис. Основательница улицы. Первая хозяйка этой лавки. Моя... — я осеклась. Я никогда об этом не думала. — Моя прапрапра... Не знаю, сколько раз пра. Бабушка.

— Ключ к чему?

Я не ответила. Я смотрела на дверь в глубине лавки. За лестницей. Дубовую, кованую, с серебряным кругом посередине. На щель под порогом, откуда тянуло солёным воздухом.

Кальве проследил за моим взглядом.

— Дороги, — произнес он тихо. — Мы говорили об этом. Улица когда-то стояла сразу во всех мирах. Через неё ходили. Потом дороги закрылись. Двести одиннадцать лет назад. Тогда же из реестра вырезали страницу.

— И кто-то хочет их открыть.

— Кто-то хочет их открыть, — согласился он. — И считает, что ключ у Аделаиды. Не у вас. У неё. Значит, это вещь. Вещь, которая принадлежала Аделаиде Лорис и, может быть, помнит, где ключ. Или сама — ключ.

— Зеркало.

— Возможно.

— Гортензия, — позвала я, не поворачивая головы.

С подсвечника не донеслось ни звука.

— Гортензия. Ты знаешь что-нибудь про ключ Аделаиды?

Пауза. Долгая. Часы в углу тикнули раз пять, не меньше.

— Не знаю, — ответила сорока. Голос был ровный, слишком ровный, совсем не её.

— Гортензия.

— Не знаю! — она взъерошилась. — Агата не говорила! Агата никогда ничего не говорила! «Не пускай сороку», «не открывай подвал», «не трогай шкатулку». Сорок лет! Откуда я могу знать?

Она замолчала. Резко, будто прикусила язык.

— Какую шкатулку? — спросила я.

Гортензия не ответила. Снялась с подсвечника, взмыла под стропила и исчезла в темноте между балками. Оттуда донеслась возня, шорох — и тишина.

Мы с Кальве посмотрели друг на друга.

— Ваша сорока, — сказал он. — Что-то знает.

— Ваша сорока, — парировала я. — Сто двадцать лет прожила в этом доме. Она знает всё. Просто ей запретили говорить.

— Кто?

— Агата.

Кальве ничего не сказал. Записал что-то в блокнот. Закрыв его. Положил на прилавок.

И посмотрел на лошадку.

* * *

Она стояла рядом с весами. Там же, где была. Медовое дерево, стёртая гнедая краска, медные гвоздики-глаза, грива из конского волоса с пропущенными стежками.

Кальве смотрел на неё так же, как в первый раз. Неподвижно. Не дыша.

— Вы её не трогали? — спросил он.

— Нет. Это ваша вещь. Не моя.

— Вы ведь можете... увидеть.

— Могу, — я помолчала. — Но не буду. Если вы не попросите.

Он долго молчал. Потом сказал, не отрывая взгляда от лошадки:

— Что там?

— Я не знаю. Я не смотрела.

— Нет. Я спрашиваю... — он запнулся. Впервые за всё время нашего знакомства я услышала, как Адриан Кальве запинается. — Вы чувствуете? Без прикосновения? Как с кольцом. Как с медальоном.

Я посмотрела на лошадку. Прислушалась — тем местом под рёбрами, где у меня теперь жил дар.

— Тепло. Ей не холодно. Она не отнята, не брошена. Её просто... отложили. Убрали. Поставили на верхнюю полку и закрыли дверцу. И она там стояла. Двадцать девять лет. Ждала, что кто-нибудь откроет дверцу. И... — я помолчала. — Пахнет стружкой. Я не знаю, как это может пахнуть, но пахнет. Свежей стружкой. Липовой.

Кальве закрыл глаза.

Он стоял так, наверное, полминуты. Я не торопила. Гортензия под стропилами тоже, кажется, затаилась. Часы тикали.

Потом он открыл глаза и взял лошадку в руки.

Просто взял. Обеими руками, бережно, снизу, как берут птенца, выпавшего из гнезда. Поднёс к лицу. Посмотрел на неё — близко-близко. Провёл большим пальцем по шее, по выре-

занной гриве под настоящей, по изгибу спины. Тем самым пальцем, у основания которого была старая мозоль. Я видела, как палец сам нашёл на шее лошадки какую-то неровность — маленькую зарубку, почти незаметную, — и остановился на ней.

— Здесь стамеска соскользнула, — сказал он. Голос был очень тихий. — Он хотел пере-вырезать. Я не дал. Сказал — пусть будет. Пусть это будет её шрам. Как у него на руке.

Я молчала.

— Мне было шесть, — он не смотрел на меня. Он смотрел на лошадку. — Отец был столяром. Мебельщиком. Мастерская была в Лесном квартале, на первом этаже, а мы жили на втором. Там всегда пахло стружкой. Липовой, сосновой, дубовой. Он говорил, что по запаху стружки можно узнать, какое дерево, и проверял меня. С закрытыми глазами. Я узнавал, — он помолчал. — Он резал её три недели. По вечерам. Когда заканчивал работу. Я сидел рядом и смотрел. Он давал мне поддержать стамеску. Показывал, как держать. «Не так, Адри. Вот так. Нож ведёт рука, но слушает дерево».

Адри.

Я вспомнила, как он отцепил кружево от шпильки у меня за ухом. Двумя пальцами. Очень осторожно. Как будто ведёт рука, но слушает дерево.

— Гриву он сделал из хвоста нашей лошади. У нас была лошадь. Старая, толстая, возила доски. Её звали Пышка. Он отрезал у неё прядь из хвоста, она обиделась, неделю не давала себя запрягать, — уголок его рта дрогнул. Совсем чуть-чуть. — Я тогда смеялся. Над Пышкой. Отец тоже.

Он поставил лошадку на прилавок. Не выпуская. Держа обеими руками.

— Он умер, когда мне было двенадцать, — сказал он ровно. — Лёгкие. От пыли. Столяры часто так. Мать продала мастерскую. Инструменты. Всё. Вышла замуж за чиновника из Казначейства. Хороший человек. Очень правильный. Он считал, что работа руками — для тех, кто не может работать головой. Он отдал меня в школу, потом в университет, на юридический. Я... — он остановился. — Я был ему благодарен. Я и сейчас ему благодарен. Он дал мне всё.

— А лошадка?

— А лошадку я убрал. Когда мы переезжали. В коробку. С отцовскими... с тем, что от отца осталось. Поставил на шкаф. Сказал себе: потом. Когда-нибудь, — он посмотрел на неё. — Двадцать девять лет. Я не помню, куда делась та коробка. Я... Я даже не помнил, что она у меня была. Лошадка. Я забыл.

Последнее слово он сказал так, будто признавался в преступлении.

Я обошла прилавок. Встала рядом с ним. Не касаясь. Просто рядом.

— Вы не забыли. Вы отложили. Это разное. Забытые вещи — холодные. Отнятые — пустые. А эта — тёплая. Она знала, что вы её не забыли. Она просто ждала, пока вы будете готовы.

— Готов к чему?

Я не знала, что ответить. Я посмотрела на его руки на лошадке. На мозоль у основания большого пальца. Старую, побелевшую, жёлтую с краю.

— У вас мозоль. От рубанка. Я заметила в первый день. Подумала: чиновник, который пишет, и столяр, который давно не держал рубанок. Интересное сочетание.

Он посмотрел на свою руку. На мозоль. Будто видел её впервые.

— Я иногда... — сказал он и остановился. — В Управлении есть мастерская. В подвале. Для ремонта. Там старый верстак, никто им не пользуется. Я иногда спускаюсь туда. Ночью. Когда не могу спать. И... стругаю. Просто доски. Ничего не делаю. Просто стругаю. Потом выбрасываю стружку и поднимаюсь наверх.

— Никто не знает?

— Барро знает. Он нашёл стружку у меня в волосах, — опять это движение у рта. — Он подумал, что я завёл себе даму в столярной мастерской. Две недели расспрашивал.

Я засмеялась. Тихо. Он — нет. Но посмотрел на меня. И на этот раз не отвернулся.

* * *

— Сколько я должен? — спросил он потом, когда мы оба помолчали достаточно.

Я посмотрела на гроссбух. На раскрытую страницу, где под последней записью — про шаль Сюзанны Ланж — было пустое место.

— Правило второе. «Цена вещи — то, что человек готов за неё отдать. Это не всегда деньги».

— Что я должен отдать?

— Вы уже отдали.

Он не понял. Я развернула к нему гроссбух.

Под записью про шаль, на чистом месте, проступали буквы. Мелкие, круглые, почерк лавки. Медленно, одна за другой, будто кто-то выводил их очень бережно, стараясь не наста-вить клякс.

Лошадка, дерево. Вручена: Адриан Кальве, сын Луи Кальве, столяра. Оплачено: отец. Полностью.

Он смотрел на эту строчку долго. Потом протянул руку и коснулся её кончиками пальцев — так же, как коснулся зарубки на шее лошадки. Будто проверял, настоящая ли.

— Луи. Я никому не говорил, как его звали. Даже Барро.

— Лавка знает.

— Откуда?

— Не знаю, — честно ответила я. — Я здесь двадцать дней.

Он поднял на меня глаза. И сказал — не «сударыня Соколова», не протокольным голо-сом, а просто, тихо, как будто сам удивился:

— Спасибо, Вера.

Второй раз. За одно утро.

Я не стала говорить ему, что он опять назвал меня по имени. Он и сам это знал. Он всё замечает. Это его работа.

* * *

Он ушёл около полудня. С папкой под мышкой. С медальоном Ривьеров — нет, медальон остался, под сургучом, с биркой и распиской. С лошадкой.

Лошадку он завернул в свой платок — третий за это утро, — и нёс её не под мышкой, как папку, а в руке, прижимая к боку. Бережно. Как птенца.

У двери он остановился, обернулся.

— Вера, — сказал он. Третий раз. Кажется, он решил, что раз уж начал, то нет смысла останавливаться. — «Ключ у Аделаиды». Если Аделаида — Лорис. А вы — Лорис. И лавка — её.

— Значит, ключ где-то здесь.

— Значит, ключ где-то здесь, — повторил он. — И человек, который его ищет, это знает. И знает, что вы — здесь. Одна. С сорокой.

— И с доской.

Он посмотрел на мой карман, где лежала грифельная доска.

— И с доской, — согласился он. — Пишите. Если что-нибудь. Даже если вам покажется, что ничего.

— Даже если ничего?

— Особенно если ничего, — произнес Адриан Кальве. И ушёл.

Колокольчик звякнул ему вслед. Не так, как обычно. Не высоко и не низко. Как-то... мягко. Почти ласково. Как звякает колокольчик над дверью дома, когда уходит человек, кото-рый обязательно вернётся.

Я стояла за прилавком и смотрела на дверь.

— Гортензия, — сказала я, не оборачиваясь. — Какую шкатулку?

Под стропилами было тихо.

— Гортензия. Ты сказала: «Не трогай шкатулку». Агата сорок лет говорила тебе не трогать шкатулку. Какую?

Тишина. Потом шорох. Потом — голос, совсем тихий, совсем не театральный, совсем не её:

— Я не знаю, милочка. Правда не знаю. Агата так говорила. «Если придёт шкатулка — не трогай. Это не твоё. Это её». А я спрашивала — чья? А она говорила — узнаешь. Когда придёт. А она не пришла. Сорок лет. Ни одной шкатулки, про которую можно было бы так сказать. Были шкатулки. Много. Но не та.

— А как ты узнаешь, что та?

Долгая пауза.

— Агата говорила, — ответила Гортензия, — что я узнаю, потому что она будет играть.

В углу тикали часы. За окном по брусчатке процокала чья-то лошадь — настоящая, живая, — и звук затих за поворотом. Я стояла, положив руки на прилавок, и вдруг вспомнила — так ясно, будто это было вчера, — тёплое, коричневое, мамины руки, расчёсывающие мне волосы, песню на незнакомом языке. И маленький ключик, который мама поворачивала перед сном. И фигурку, которая кружилась под крышкой.

Музыкальную шкатулку, которая пропала вместе с мамой.

Я ничего не сказала Гортензии. Я поднялась наверх, легла на кровать под лоскутным одеялом, лицом к стене, и пролежала так до вечера.

Я не плакала. Я плохо плачу. Это у меня от матери.

Глава 14. Свой угол

Утром Марта пришла с завтраком и застала меня там же, где я легла вечером, — на кровати, лицом к стене, в зелёном платье, которое я так и не сняла.

Я слышала, как она поднимается. Третья ступенька, пятая, седьмая — фыркнула. Потом дверь. Потом тишина. Потом звук подноса, который ставят на тумбочку, — рядом с грифельной доской, очками Агаты и пакетиком сушёных яблок.

— Ты вчера не ужинала, — сказала Марта.

Я не ответила.

— И не обедала. Мира сказала. Она приходила ко мне вечером и сказала: Вера лежит наверху и не выходит, я ей стучала, она говорит — всё хорошо. Мира умная девочка. Когда человек говорит «всё хорошо» через закрытую дверь, значит, плохо.

Матрас прогнулся. Марта села на край кровати. Я чувствовала её спиной — тёплую, тяжёлую, пахнущую корицей и дымом.

— Не буду спрашивать. Сама скажешь, если захочешь. Или не скажешь. Твоё дело. Но есть будешь. Это уже моё дело.

Я повернулась. Марта сидела, сложив руки на фартуке, и смотрела на меня поверх очков. Тем самым взглядом, каким бабушка смотрела, как я ем после школы.

— Марта, — сказала я. Голос был сиплый. — Моя мама. У неё была музыкальная шкатулка.

Марта не шевельнулась. Только руки на фартуке чуть сжались.

— Я помню. Мне было пять. Она заводила её перед сном. Ключиком. Там под крышкой кружилась фигурка. И играла музыка. А потом мама ушла, и шкатулка пропала. Я думала, она её взяла с собой. Это единственное, что я о ней помню, кроме запаха. Шкатулку. И что она пела.

Марта молчала.

— Вчера Гортензия сказала, что Агата сорок лет велела ей не трогать шкатулку. «Если придёт шкатулка — не трогай. Это не твоё. Это её». И что Гортензия узнает её, потому что она будет играть.

Марта сняла очки. Протёрла их уголком фартука. Медленно. Тщательно. Надела.

— Ешь. Каша остынет.

— Марта.

— Это не мой разговор, милая, — голос у неё был очень мягкий. Мягче, чем я когда-нибудь слышала. — Правда не мой. Я бы рада. Я бы тебе всё рассказала, что знаю, и про Ирэну, и про то, как она... Но это не мой разговор. Если я тебе расскажу, это будет моя Ирэна. А тебе нужна твоя. Понимаешь?

— Нет.

— Поймёшь, — Марта протянула руку и убрала с моего лба прядь волос. Как ребёнку. — Лавка тебе отдаст. Когда будешь готова. Она всем отдаёт, когда готовы. Видишь — даже дознавателю отдала. А он, между нами, в последний раз был готов к чему-нибудь, кроме работы, лет двадцать назад.

— Откуда вы знаете про лошадку?

— Я не сплетничаю. Он мимо моего окна шёл. С платком в руке. А в платке — лошадка. Я ж не слепая, — она встала. — Ешь. И вставай. Тебе Миру надо куда-то девать.

— Что?

— Мира у Элизы на раскладушке спит третью неделю. В мастерской. Где всё взрывается, — Марта поправила очки. — Элиза, конечно, золотое сердце, но когда у неё ночью что-нибудь бахает, девочка просыпается и потом до утра не спит. Она не скажет. Гордая. Ей некуда. А у тебя дом на четыре этажа. Я ничего не говорю. Просто обеспечиваю информационный обмен.

Она ушла. Третья ступенька, пятая. Седьмая промолчала — из уважения, наверное.

Я лежала и смотрела на поднос. Каша, пшённая, с маслом и мёдом. Хлеб. Чай. Варёное яйцо, очищенное. Марта очистила мне яйцо.

Я села и стала есть.

* * *

Комнату на третьем этаже я до сих пор не открывала.

Дом был устроен так: внизу — лавка. На втором этаже — моя спальня, маленькая кухонька, где я так ни разу и не готовила, потому что Марта кормила, и чулан с вёдрами и щётками. На третьем — две комнаты. Одна, окнами на улицу, была заставлена старой мебелью и коробками — я туда заглядывала один раз, чихнула от пыли и закрыла. Вторая, окнами во двор...

Вторая была заперта. Ключ висел на общем кольце, вместе с ключом от чердака и от входной двери. Я знала, какой. Маленький, медный, с бородкой в виде полумесяца.

«Она родилась в этом доме. В комнате на третьем этаже, окнами во двор».

Я стояла перед этой дверью минут пять. Потом вставила ключ.

Комната была маленькой и светлой. Одно окно, большое, с широким подоконником, — во двор, где росла старая яблоня, уже почти облетевшая. Под окном — кровать, узкая, деревянная, с резными столбиками, накрытая полотняным покрывалом. Комод. Стул. Полка на стене. На полке — ничего. В комод — я выдвинула ящики, один за другим, — тоже ничего. Ни одежды, ни бумаг, ни безделушек. Комната была чистой — пыли почти не было, будто кто-то регулярно в ней убирал, — и совершенно пустой.

Только на подоконнике стоял глиняный горшок. Пустой, с сухой землёй. Будто в нём когда-то что-то росло, а потом засохло, и горшок так и оставили.

Я подошла к окну. Яблоня во дворе шевелила голыми ветками. На одной ветке висело последнее яблоко — маленькое, красное, сморщенное.

Здесь родилась моя мать. Здесь она росла. Смотрела в это окно на эту яблоню. Спала на этой кровати. А потом ушла — через ту же дверь, что и я, тридцать пять лет назад, — и Агата вычистила комнату до пустоты. Или не Агата. Или мама сама всё забрала. Или...

Я не знала. Я ничего не знала о ней, кроме запаха корицы, песни на незнакомом языке и шкатулки с ключиком.

Я постояла у окна ещё. Потом пошла вниз, нашла в кладовке ведро и тряпку, вернулась и вымыла пол. Потом окно. Потом протёрла комод. Потом вытряхнула покрывало с кровати во двор, и оно взлетело, белое, и опало, и я подумала, что так, наверное, вытряхивала его мама. Или Агата. Или кто-то ещё, кого я не знала.

Когда пришла Мира — в девять, как обычно, — я стояла на пороге этой комнаты с мокрой тряпкой в руке.

— Ты чего? — спросила она с лестницы. — Ты ж вчера...

— Мира, ты хочешь жить здесь?

Мира остановилась на последней ступеньке. Посмотрела на меня. На комнату за моей спиной. Снова на меня.

— Где — здесь?

— Здесь. В этой комнате. Тут кровать, комод, окно во двор. Яблоня, — я отступила в сторону, чтобы она могла заглянуть. — Ты у Элизы на раскладушке. Там всё взрывается. А тут тихо. Только Гортензия иногда ругается под крышей. Но к этому привыкаешь.

Мира не двигалась. Стояла на ступеньке, руки в карманах, кепка надвинута на брови. Лицо у неё было совершенно непроницаемым.

— Сколько? — спросила она.

— Что сколько?

— Сколько платить. За комнату.

— Нисколько.

— Так не бывает.

— Бывает. Ты работаешь в лавке. В лавке есть комната. Ты в ней живёшь. Это... — я поискала слово. — Это входит в жалованье.

— Три медяка в день. И обед. И иногда ужин. И полторы десятых с оценок. И комната.

— Да.

— Это не жалованье. Это... — она замолчала. Отвернулась. — Это не жалованье.

Я видела, как у неё напряглась шея. Как пальцы в карманах сжались в кулаки. Как она очень-очень старается не моргать.

— Это временно. Пока опись не закончим.

Мира фыркнула. Громко, носом, совсем некрасиво. Утёрлась рукавом. И сказала, не поворачиваясь:

— Опись никогда не закончится. Лавка каждую ночь новые вещи приносит.

— Знаю.

— Значит, не временно.

— Значит, — кивнула я. — Нет.

Мира стояла ещё секунду. Потом прошла мимо меня в комнату — быстро, деловито, как проходят в собственную, — подошла к окну, посмотрела на яблоню. Тронула пальцем сухую землю в горшке.

— Тут что-то было.

— Наверное.

— Я посажу, — она обернулась. Глаза у неё были красные, но сухие. — Можно? Я на рынке видела — луковицы продают. Синие такие цветы. Весной вырастут.

— Можно.

* * *

Вещи Миры уместились в один узелок. Его принесла Элиза — в обед, вместе с раскладушкой, которую мы так и не стали раскладывать, и вместе с собой. Узелок был серый, холщовый, завязанный на два узла. В нём, как я потом узнала, лежали: две рубашки, юбка, гребень с отломанным зубом, огрызок мыла, завернутый в бумагу, и книжка. Тонкая, потрёпанная, с картинками. «Почтовые марки королевства и сопредельных земель». Мира сказала, что нашла её в ящике «Недоставленное» на почтамте год назад и что никто за ней не пришёл.

— Она ж ничья, — сказала Мира, будто оправдываясь. — Я её не украла. Она ждала.

— Знаю.

Элиза за этот день сделала комнату жилой. Притащила из мастерской лампу-светляк — маленький гладкий камень в медной чашке, который загорался, если хлопнуть в ладоши, и гас, если хлопнуть дважды. Потом полдня его настраивала, потому что он то не загорался вообще, то загорался от любого звука, включая Гортензию, которая под крышей чихала. Починила раму, которая не закрывалась до конца. Прибила полку, которая висела криво. Принесла из мастерской одеяло — «у меня их три, а сплю я под одним, и то я в нём путаюсь». Подложила под ножку комода сложенную вчетверо бумажку, чтобы не шатался.

Работала она, как всегда, напевая. Про моряка. Про пастушку, которая влюбилась в волка. Про старого лудильщика, который потерял жену и нашёл её через сорок лет в соседнем переулке, — последнюю она спела дважды, с особенным чувством, поглядывая в окно в створну «Половинки луны».

Мы с Мирой сидели на кровати и смотрели, как она работает.

— Элиза, — сказала я, когда она, лёжа на спине под комодом, прикручивала что-то к ножке. — Сколько я тебе должна? За грелку. За утюг. За комнату.

— Утюг был мой, — донеслось из-под комода. — Он испытывался. Это я тебе должна, что ты разрешила.

— Элиза.

— Нисколько, — она вылезла, вся в пыли, с отвёрткой в зубах. Вынула отвёртку. — Вера, ты ж мне ничего не должна. Ты мне налоговую декларацию разберёшь. Вот и сочтёмся.

— Какую декларацию?

Элиза села на пол, скрестив ноги, и лицо у неё вдруг стало совсем не таким, как обычно. Не весёлым, не сияющим. Усталым.

— Гильдия. Гильдия артефакторов. Я не член. Не могу быть членом. Мне нужна мастерская лицензия, а для лицензии нужно подтверждение ученичества у мастера Гильдии. Я училась у отца. Отец был мастером Гильдии. Тридцать лет. Лучшим в городе, все говорили. А потом его исключили.

— За что?

— Не знаю, — Элиза крутила в пальцах отвёртку. — Он никогда не говорил. Мне было шесть. Он пришёл однажды домой, сел за стол и долго сидел. А потом сказал маме: «Всё. Больше я не мастер». И больше никогда об этом не говорил. Работал у себя дома, чинил всякое по мелочи, для соседей. Брал копейки. Меня учил. Всеми. Он меня так учил, Вера... — она замолчала. Потом продолжила, другим голосом: — Он умер четыре года назад. А гильдмейстер Хольт сказал, что ученичество у исключённого мастера не засчитывается. Что я могу поступить учеником к любому действующему мастеру, на пять лет, и потом сдавать экзамен. Пять лет. С начала. За гроши. — Она пожала плечами, — ну, я и не стала. Сняла мастерскую здесь. На улице, которой нет. Тут Гильдия не проверяет, потому что не может найти. А налоги... Налоги я плачу. Казначейству всё равно, есть у меня лицензия или нет. Они меня находят. Казначейство всех находит.

— Как и меня.

— Как и тебя, — Элиза улыбнулась. Слабо. — Видишь? Мы с тобой одинаковые. Обе существуем для налогов и не существуем для всего остального.

— А декларация?

— А декларация, — вздохнула Элиза. — Это четыре листа, и я в них ничего не понимаю. Каждый год сижу и плачу. Потом несу как есть. Мне потом приходит письмо, что я неправильно заполнила, и штраф. Уже третий год.

Я посмотрела на неё. На пыль в её медовых кудрях, на отвёртку в руке, на кружевной воротничок, который даже под комодом не помялся.

— Принеси.

— Что?

— Декларацию. Все три года. И письма про штрафы. Я посмотрю.

— Ты разбираешься в налогах?

— Я восемь лет работала в фирме, где хозяин пытался не платить налоги. Я разбираюсь в том, как их не платить. Это почти то же самое.

Элиза вскочила с пола и обняла меня. Пыльная, тёплая, с отвёрткой, которая больно ткнулась мне в спину. Мира на кровати сказала: «Ой», — и тоже оказалась внутри этого объятия, неизвестно как.

— А какие у отца часы были? — спросила вдруг Мира, высвобождаясь. — Ты говорила, у него часы были. Сломанные.

Элиза замерла.

— Я не говорила.

— Говорила. Марте. Я слышала. Ты сказала: «Папины часы так и стоят, я их не трогаю».

Элиза отпустила меня. Отступила на шаг. Посмотрела на Мира странно.

— Ты всё слышишь, да?

— Я посыльная. Я всё слышу.

— Карманные, — сказала Элиза. Тихо. — Серебряные. Он сам их сделал. Они остановились в тот день, когда его исключили. Он их не чинил. Сказал — пусть стоят. Пусть напоминают. А потом он умер, и они у меня. И я их тоже не трогаю. Я всё могу починить, Вера. Грелку, утюг, самовар, светляк, замок, чайник. Всё. А их не могу. Не могу даже крышку открыть.

Мы помолчали.

— Может, им тоже надо подождать, — сказала Мира. — Как Агатиным часам. Пока кто-нибудь ключ не принесёт.

Элиза посмотрела на неё. Потом вдруг засмеялась — коротко, удивлённо — и взъерошила Мира волосы.

— Ты откуда такая взялась?

— Из приюта. Ниоткуда.

— Не ниоткуда, — возразила Элиза. — Отсюда.

* * *

Дария Вель пришла в пять часов одну минуту.

Я узнала об этом потому, что в пять ровно её контора закрывалась, а в пять одну минуту в мою дверь постучали три раза. Я открыла. Дария стояла на пороге — в чёрном костюме, с тростью под мышкой, — и лицо у неё было таким же неподвижным, как всегда. Только в руке, вместо папки, был небольшой плоский свёрток, обёрнутый в коричневую бумагу.

— Госпожа Соколова, вы позволите?

— Конечно. Проходите.

Она прошла. Остановилась у прилавка. Посмотрела на Гортензию — та уже пряталась между шляпными коробками. Посмотрела на часы в углу — тикающие. На grossбух.

— Марта сказала, что вы спрашивали о шкатулке, — произнесла Дария.

— Марта же не сплетничает.

— Марта обеспечивает информационный обмен. Со мной — в особенности, — Дария положила свёрток на прилавок. — Я не могу рассказать вам о вашей матери. Я объясняла почему. Но я могу рассказать вам о другом. Это — моё. Это я имею право.

Она развернула бумагу.

Под бумагой лежал лист. Старый, очень старый, тёмно-жёлтый, с обтрепавшимися краями, наклеенный на картон, чтобы не рассыпался. Исписан мелким, плотным, летящим почерком — не таким, как на первой странице grossбуха, но похожим. Тот же век. Та же школа. Буквы с длинными хвостами.

— Это письмо, — произнесла Дария. — Написано моей прапрапрабабушкой. Орианой Вель. Одной из трёх, кто основал эту улицу. Оно адресовано её дочери. В нашей семье его передают от матери к старшей дочери. Мне его отдала мать перед смертью. Я никогда никому его не показывала.

Я посмотрела на неё. Она смотрела на письмо.

— Почему вы показываете его мне?

— Потому что вы спросили о шкатулке, — Дария подняла глаза. — И потому что дознаватель Кальве вчера был у меня. Он спрашивал об Аделаиде Лорис. И о ключе.

Она развернула письмо ко мне. Я наклонилась. Почерк был трудный, улица переводила его медленно, будто с трудом продиралась сквозь чужой век, но постепенно буквы начали складываться в слова.

«Дочь моя. Ты спрашиваешь, почему мы закрыли дороги. Я отвечу, как сумею.

Нас было трое. Аделаида, Тереза и я. Мы пришли сюда каждая своим путём, каждая из своего мира, и каждая — потеряв всё. Аделаида потеряла дом. Тереза — семью. Я — свой народ. Мы встретились на перекрёстке, где ничего не было, кроме камней и трёх лун над ними. И решили, что будем жить здесь. Что построим место, куда может прийти любой, кто потерял дорогу. И найти её снова.

Народ странников помог нам. Они умели ходить между мирами, и они научили нас открывать двери. Аделаида открыла дверь памяти — чтобы вещи, потерянные в любом из миров, могли найти дорогу к тем, кому нужны. Тереза открыла дверь очага — чтобы тот, кто пришёл издалека, всегда мог согреться и поесть. Я открыла дверь дорог — чтобы можно было уйти и вернуться.

Двадцать лет улица жила. Люди приходили и уходили. Торговали, учились, влюблялись, рожали детей. Мы были счастливы.

Но мы ошиблись, дочь моя. Мы построили всё так, что улица держалась на нас троих. На наших дверях. На нашей силе. И когда пришли те, кто хотел не прийти и уйти, а владеть, — нам нечем было их остановить. Они хотели взять дороги. Торговать ими. Продавать проход. Они говорили, что так будет лучше для всех, и, может быть, они даже верили в это.

Мы не могли их остановить. Мы могли только закрыть.

Аделаида закрыла свою дверь первой. Она сказала: ключ останется у той, кто будет помнить. Тереза закрыла свою и погасила очаг — сказала, что он загорится, когда придёт та, кто сможет его согреть. Я закрыла свою последней. Свою дверь я оставила одному из странников, последнему, который согласился остаться. Он будет стеречь её.

Мы не знаем, правильно ли мы сделали. Улица ушла из мира, как уходит в тень дом, у которого закрыли ставни. Её видят теперь только те, кому очень нужно. Может быть, этого достаточно. Может быть, нет.

Если когда-нибудь придёт время открыть двери снова — не открывай их силой. Сила — это то, что их закрыло.

Что было — помни. Что есть — живи. Что будет — выбирай.

Твоя мать, Ориана».

Я дочитала. Потом перечитала ещё раз. Потом выпрямилась.

В лавке было очень тихо. Часы в углу тикали. Гортензия между шляпными коробками не шевелилась.

— «Ключ останется у той, кто будет помнить», — повторила я.

— Да.

— Кто это?

— Не знаю. Никто не знает. Ни я, ни моя мать, ни её мать. Аделаида не оставила записей. Или оставила, но они пропали. В нашей семье считалось, что ключ — вещь. Предмет. Что Аделаида спрятала его в лавке. Что он перешёл к её дочери, потом к дочери дочери. До Агаты.

— А Агата?

— Агата никогда не говорила, — Дария помолчала. — Агата вообще никогда ни о чём не говорила, госпожа Соколова. Она жила в этой лавке шестьдесят лет и ни разу никого не пустила на чердак, в подвал и в свою голову.

— А «последний странник, который согласился остаться»?

Дария посмотрела на меня. Долго. Неподвижно.

— Это, — сказала она. — Не ваша история. Пока. Это история гостиницы.

— Гостиница заколочена.

— Да, — подтвердила Дария. — Заколочена.

И больше ничего не добавила. Только рука её — опять — коснулась медальона на груди.

— Это её? — спросила я, кивнув на медальон. — Орианы?

Дария помедлила. Потом сняла медальон с шеи — впервые за всё время, что я её знала, — и положила на прилавок рядом с письмом.

Овальный. Тусклый. Серебро, потемневшее от времени. На крышке — гравировка, почти стёртая: дверь. Простая, арочная, с кольцом вместо ручки. А на ободке, у ушка, — крошечное клеймо. Три луны в круге.

— Её. Внутри ничего нет. Ни портрета, ни локона. Пусто. Мать говорила, что Ориана носила его, чтобы помнить. Я не знаю, о чём.

Я не стала прикасаться. Я посмотрела на него, и мне не нужно было касаться, чтобы почувствовать: тепло. Ровное, спокойное. Как у напёрстка, ножниц и подставки для пера. Вещь, хозяйка которой не потеряла её, а просто вышла на минутку.

— Дария, человек, который вытягивает память из вещей с этим клеймом. Он ищет ключ Аделаиды. Если он узнает про ваш медальон...

— Он не узнает, — покачала головой Дария, а затем надела медальон обратно. — Я его не снимаю. Никогда. Даже сплю в нём. Сегодня — первый раз за тридцать лет.

— Почему сегодня?

Дария взяла со стола письмо, завернула обратно в коричневую бумагу. Неторопливо. Аккуратно. Подровняла края.

— Потому что вы спросили о шкатулке, — повторила она. — И потому что Агата сказала мне незадолго до смерти: «Когда придёт Ирэнина дочь, покажи ей письмо Орианы. Пусть знает, что мы не знаем», — она помолчала. — Это, госпожа Соколова, всё, что я знаю. И ещё одно.

— Что?

— Хартия. Хартия улицы. Её подписали все первые жители, когда улица была основана. Тридцать семь подписей. Это и есть документ, подтверждающий основание. Пункт третий Уложения о неучтённых поселениях, — она взяла трость под мышку. — Оригинал хранился у Аделаиды. В лавке. Где он сейчас — не знаю. Но если найдёте, господин Пим, я полагаю, будет счастлив.

Она пошла к двери. На пороге остановилась, не оборачиваясь.

— Пять семнадцать. Я задержалась на шестнадцать минут. Это со мной впервые за девять лет. Доброго вечера, госпожа Соколова.

* * *

Кальве пришёл в девять.

Без стука. Вернее, постучал — четыре раза, ровно, — но я уже стояла у двери, потому что за минуту до этого доска у меня в кармане потеплела, и я прочитала: Мимо прохожу. Можно зайти? — и ответила: Можно, — и пошла открывать.

Он стоял на пороге без папки. В пальто, без котелка, с непокрытой головой — волосы растрёпаны ветром. В руке у него был холщовый мешок. Небольшой, тяжёлый, судя по тому, как оттягивал руку.

— Вы мимо проходили.

— Мимо, — согласился он.

— По улице, которая открывается только тем, кому нужно.

Он помолчал.

— Мне было нужно.

Я посторонилась.

Он вошёл. Снял пальто, повесил на крючок у двери — уже привычно, как будто этот крючок был его. Поставил мешок на пол у прилавка, развязал. Внутри звякнуло.

Инструменты. Рубанок — небольшой, с деревянной колодкой, тёмной от рук. Две стамески. Киянка. Коловорот. Коробка с гвоздями. Шкурка, свёрнутая в трубку. Всё старое, явно не новое, но чистое, ухоженное, смазанное.

— Это... — начала я.

— Купил. Сегодня. У старьевщика на Ветошном рынке, — он вынул рубанок, повертел в руках. — Отцовские продали двадцать четыре года назад. Эти не его. Но похожие, — он помолчал. — У вас табуретка качается.

Я посмотрела на табуретку. Она стояла у прилавка, где стояла всегда. На ней сидела Сюзанна Ланж, когда рассказывала про мать. На ней сидел Бертран, когда рассказывал про

невесту. На ней сидел сам Кальве, когда записывал вещи с клеймом, — и придерживал ногой, чтобы не качалась.

— Качается, — согласилась я.

— Это раздражает. Профессионально.

— Профессионально?

— Каждый раз, когда я на неё сажусь, мне хочется её починить. Это отвлекает от следственных действий, — он поставил рубанок на прилавок. — Можно?

Я смотрела на него. На его руки, которые доставали из мешка стамески, раскладывали их рядком. На то, как пальцы сами нашли правильный хват на рукояти.

— Можно.

* * *

Он работал около часа.

Сначала просто смотрел. Перевернул табуретку, поставил на прилавок ножками вверх, долго разглядывал. Покачал каждую ножку. Провёл пальцем по пазам. Хмыкнул. Потом снял сюртук и закатал рукава рубашки до локтя.

Я сидела на нижней ступеньке лестницы, обхватив колени, и смотрела.

Он выбил одну ножку киянкой — осторожно, короткими ударами. Осмотрел шип. Выбил вторую. Осмотрел. Потом взял рубанок, зажал ножку между коленями — сидел он прямо на полу, на расстеленном пальто, — и провёл рубанком по шипу. Раз. Другой. Из-под лезвия вышла стружка — тонкая, светлая, завивающаяся колечком. Упала ему на брюки. Он не заметил.

— Шип разохся, — сказал он, не поднимая головы. — Дерево усохло за годы, паз стал шире. Нужно либо вклеить клин, либо подогнать новый шип. Клин быстрее. Шип — правильнее.

— А вы как?

— Правильнее, — он поднял на меня глаза. — Если не торопиться.

Я не ответила. Я смотрела на его руки. На предплечья, где под закатанными рукавами двигались жилы. На то, как он держал рубанок — ведёт рука, но слушает дерево. На стружку у него на коленях, в волосах, на рукаве. На то, как он хмурился, сосредоточенно, но как-то совсем не так, как над протоколами. Иначе. Мягче. Будто он не работал, а разговаривал с этой ножкой, а она ему отвечала.

Он вырезал новый шип стамеской. Подогнал. Примерил к пазу. Подточил. Ещё раз примерил. Вогнал киянкой — несколько коротких ударов, звук глухой, деревянный, — и шип сел. Плотно, без зазора.

— Вот, — произнес он. Тихо. Будто самому себе.

Потом то же самое со второй ножкой. Потом — с третьей, хотя третья, как он сказал, «почти не качалась, но раз уж начал». Потом прошёлся шкуркой по всем стыкам. Перевернул табуретку. Поставил на пол.

Она стояла. Ровно. Без единого покачивания.

Он сел на неё. Покачался. Табуретка не шелохнулась.

— Готово.

И посмотрел на меня. И на лице у него было что-то, чего я никогда раньше не видела. Не улыбка — нет, улыбки не было. Но что-то в глазах. Что-то светлое, тихое, удивлённое. Как у человека, который двадцать четыре года не слышал знакомую песню, а потом вдруг услышал — и понял, что помнит все слова.

Я встала со ступеньки. Подошла. Наклонилась и сняла с его волос стружку. Тонкую, светлую, завитую колечком.

Он не пошевелился.

Мы были очень близко. Я стояла, он сидел на табуретке — и наши глаза были почти на одном уровне. Я видела стружку у него на ресницах. Видела, как бьётся жилка у него на виске. Видела, что глаза у него вблизи не просто серые, а с тёмным ободком по краю радужки, и в левом — крошечное коричневое пятнышко, как капля чая.

Он поднял руку. Медленно. Как поднимают руку к птице, чтобы не спугнуть. Пальцы — пахнущие деревом, шкуркой, липой — коснулись моей щеки.

— Вера, — сказал он. Совсем тихо.

Я наклонилась.

— ФАРАОН!

Мы отпрянули друг от друга так, что табуретка — новая, правильная, без единого покачивания — качнулась.

Гортензия сидела на подсвечнике, растопырив крылья, вздыбив перья, и смотрела на нас обоими глазами, в которых горели серебряные луны.

— Это, — сказала она с ледяным достоинством. — Моё место. Я здесь сижу. Сто двадцать лет. Вы мне весь подсвечник стружкой засыпали. А я, между прочим, этим подсвечником дорожу. И вообще. Руки.

— Что — руки? — спросил Кальве. Голос у него был не совсем ровный. Первый раз за всё время — не совсем.

— Руки, — повторила Гортензия мрачно. — Фараон. Руки — при себе. Агата бы не одобрила.

— Гортензия, — сказала я. Лицо у меня горело.

— Что Гортензия? Я старший оценщик. Я обязана оценивать, — сорока задрала клюв. — Оцениваю: стружка на подсвечнике. Табуретка — удовлетворительно. Остальное — преждевременно.

Кальве посмотрел на неё. Потом на меня. Потом снова на неё.

И засмеялся.

Вслух. Негромко, хрипловато, будто горло отвыкло. Но засмеялся — первый раз на моей памяти. Запрокинул голову и смеялся, сидя на моей починенной табуретке, со стружкой на рукаве, — а Гортензия на подсвечнике смотрела на него так оскорблённо, будто он смеялся над её лучшими перьями.

Я тоже засмеялась. Не могла не.

* * *

Он ушёл в одиннадцатом часу. Инструменты оставил — «у вас ещё полка в углу кривая, и дверца шкафа под лестницей скрипит, я приду». Пальто надел, котелка у него не было. У двери обернулся.

— Вера, — сказал он.

— Да?

Он помолчал. Хотел что-то сказать — я видела. Потом передумал.

— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, Адриан.

Он замер. На секунду. Как замирает маятник в верхней точке, перед тем как пойти обратно.

Потом кивнул. И ушёл.

Я закрыла дверь. Прислонилась к ней спиной. Постояла.

Сверху, с третьего этажа, раздался голос — Мира, которая, оказывается, всё это время не спала, а сидела на лестнице и, видимо, слушала. Голос был сонный, деловитый и совершенно спокойный:

— Он табуретку починил.

— Починил.

Пауза.

— Ну всё, — сказала Мира. — Ну всё, Вера. Сюзаннина мама сказала.

И её шаги удалились наверх, в комнату с окном во двор, с яблоней и пустым горшком на подоконнике, куда весной вырастут синие цветы.

Я стояла у двери ещё долго. Гортензия на подсвечнике, демонстративно отвернувшись, выбирала клювом стружку из своих перьев и ворчала себе под нос что-то про фараонов, Агату и современные нравы.

Табуретка стояла у прилавка. Ровно.

Глава 15. Выгодное предложение

Лакей господина Марро нашёл улицу с четвёртой попытки.

Я знаю это, потому что он сам мне рассказал. Он стоял на пороге лавки — молодой, румяный, в ливрее цвета сливы с серебряными галунами, в напудренном парике, который съедал набок, — и тяжело дышал, держа в руке конверт на серебряном подносе.

— Три часа, сударыня, — сказал он с чувством. — Три часа я ходил вокруг этой стены. С цирком. Туда-сюда. Хозяин сказал: «Отнеси приглашение сударыне Соколовой, Улица Трёх Лун, семь». Я говорю: «Такой улицы нет». А он говорит: «Найди». Я говорю: «Где?» А он говорит: «Если не найдёшь — можешь не возвращаться». Ну я и ходил. Три часа. А потом думаю: если не найду, меня ж выгонят. А у меня мать больная, сестра на выданье. И вот я стою у стены и думаю: ну пожалуйста. Ну очень надо. И — раз! — улица.

— Улица открывается тем, кому нужно.

— Это я теперь знаю, — лакей утёр лоб рукавом ливреи, чем окончательно погубил пудру. — Сударыня, вы только хозяину не говорите, что я три часа. Скажите, что сразу. А?

Я взяла конверт с подноса. Плотная бумага, тиснённый герб — птица с весами. Внутри — карточка, написанная от руки, крупным, уверенным, красивым почерком:

«Господин Ансельм Марро имеет честь пригласить сударыню Веру Соколову на ужин в узком кругу. Липовая аллея, дом 4. Завтра, в восемь часов вечера. Экипаж будет подан к арке в половине восьмого».

— Он тебя травить будет, — произнесла Гортензия с подсвечника.

Лакей вздрогнул и уронил поднос.

— Она шутит, — поспешно заверила я.

— Я не шучу. Я никогда не шучу. У меня нет чувства юмора. Агата говорила.

Лакей поднял поднос, посмотрел на сороку, на меня, на полки, на часы в углу. Попятился к двери.

— Я... я скажу хозяину, что вы получили. Можно?

— Можно. И скажите, что вы нашли сразу.

Он посмотрел на меня с такой благодарностью, что мне стало неловко. И убежал. Колокольчик звякнул ему вслед — как-то сочувственно.

* * *

Не ходите, — написал Адриан на доске через полчаса после того, как я сообщила ему о приглашении.

Пойду.

Вера.

Мне нужно увидеть его дом. Его жену. Его самого — не в аукционном доме, а дома. Люди дома другие. Вещи дома другие. Я хочу посмотреть, какие у него вещи.

Пауза. Минута. Две.

Это опасно.

Он не будет травить меня за ужином на глазах у дочери и прислуги. Это непрофессионально.

Это не смешно.

Это не шутка. Это оценка рисков.

Пауза. Три минуты. Я уже думала, что он не ответит.

Тогда я буду рядом.

Где?

Рядом. Возьму экипаж и встану напротив ворот. Если что-нибудь — напишите. Одно слово. Любое.

А если ничего?

Тогда я посижу в экипаже три часа. Это недорогое развлечение.

Я засмеялась. Мира, которая сидела на табуретке — новой, правильной, без единого покачивания — и разбирала по ячейкам пуговицы, подняла голову.

— Он? — спросила она.

— Он.

— Ну всё, — сказала Мира и вернулась к пуговицам.

* * *

Платье нашлось на чердаке. Опять.

Я поднялась туда без всякой надежды — в сундуке, который я разобрала до дна, оставались только бальное розовое, «отказанное после расторгнутой помолвки», и синее, с кринолином, столетней давности. Ни одно из них не годилось для ужина в узком кругу. Зелёное шерстяное, которое лавка подарила мне перед походом к Марро, я носила почти каждый день, и оно, при всём уважении, выглядело как платье, которое носят почти каждый день.

Я открыла сундук.

Сверху лежало третье. Тёмно-винный бархат, глубокий, как вино в бокале на просвет. Простой вырез — не глубокий, не высокий, ровно у ключиц. Рукава до локтя, с узким кружевом. Юбка без кринолина, мягкими складками. Ни одной лишней детали. Платье, в котором можно было бы прийти куда угодно — в театр, на приём, на похороны врага.

Бирка: Платье. Не ждёт. Но сегодня — можно.

Я долго смотрела на эту бирку. Потом спустилась вниз и показала её Гортензии.

— «Сегодня — можно», — прочитала сорока. — Ох. Это она тебя благословляет.

— Кто?

— Лавка, — Гортензия перебрала лапами. — Она так Агате делала. Перед тем, как Агата к Марро ходила продавать. Тоже платья подкидывала. Только Агата их не надевала. Говорила: «Буду я ещё перед этим индюком наряжаться». И шла в рабочем.

— И что?

— И её надували, — ответила Гортензия. — Каждый раз.

Я надела винное.

Марта, увидев меня в нём, сказала: «О», — и пошла за гребнем. Причёсывала она меня сама, в чайной, усадив у печки, не слушая возражений, и через полчаса у меня на затылке оказался гладкий узел, заколотый тремя шпильками, а у висков — два тонких вьющихся локона, которых я раньше у себя не замечала.

— Ирэна так носила, — сказала Марта, втыкая последнюю шпильку. И осеклась. — Ничего. Сиди смиренно.

Элиза принесла серьги. Маленькие, серебряные, с гранатами — тёмными, с фиолетовым отливом, местными. «Мамины, — сказала она. — Не потеряй, а то убью». Мира принесла башмаки, начищенные до такого блеска, что в них отражалась лампа. «Ваксой, — сказала она гордо. — Сама купила. Из своих. Медяк».

Дария не пришла. Но, когда в половине восьмого я шла по улице к арке — в винном бархате, в Мартиной шали поверх, с Элизиными гранатами в ушах, в начищенных Мирой башмаках, — в окне конторы номер два стояла высокая тёмная фигура. И, когда я проходила мимо, кивнула. Один раз.

* * *

Дом Марро на Липовой аллее был большим, светлым и тихим, как дорогой музей в час закрытия. Три этажа белого камня, высокие окна, кованая ограда с позолоченными пиками. За оградой — сад.

Сад я узнала сразу.

Розы. Белые розы, целые кусты, вдоль всей аллеи от ворот до крыльца. Сейчас, в конце осени, они уже отцвели — на ветках висели только сухие бутоны и редкие поздние цветки, побитые заморозком, коричневые по краям. Но я их узнала. Я видела их раньше. Летом, в солнце, когда лепестки осыпались на дорожку, как снег, и кто-то фальшиво и весело играл на скрипке, и рука в белой перчатке дрожала, надевая кольцо.

Экипаж остановился у крыльца. Лакей — другой, не тот, что приносил приглашение, — открыл дверцу. Я вышла.

Напротив ворот, через аллею, в тени старых лип, стоял наёмный экипаж. Чёрный, обычный, с усталой гнедой лошастью. Кучер дремал на козлах. Шторка на окне была задёрнута. Но, когда я посмотрела в ту сторону, шторка чуть сдвинулась. На полпальца.

Я отвернулась и пошла к крыльцу.

* * *

Ужин был безупречным.

Столовая — длинная, обшитая светлым деревом, с камином, в котором горели берёзовые поленья, и с люстрой, в которой горели настоящие свечи, а не камни-светляки. Стол на двенадцать персон, накрытый на четверых. Белая скатерть. Серебро, фарфор, хрусталь. Каждый предмет — я видела — старый, дорогой, подобранный с вкусом человека, который тридцать лет держит вещи в руках и знает, чего они стоят.

Ансельм Марро встретил меня в дверях столовой. В тёмно-синем сюртуке, с бриллиантовой булавкой в галстук. Взял мою руку, поднёс к губам — не коснувшись, как в прошлый раз. Перстень с птицей холодно мазнул по костяшке.

— Сударыня Соколова. Вы обворожительны. Этот цвет... — он чуть наклонил голову, разглядывая платье. — Бархат лионской выделки, если не ошибаюсь. Сто лет, не меньше. Где вы его нашли?

— На чердаке.

— У Агаты всегда было лучшее на чердаке, — улыбнулся Марро. — И худшее в лавке. Прошу.

За столом нас было трое. Марро — во главе. Я — справа от него. Корнелия — слева, напротив меня. Четвёртый прибор, на другом конце стола, был пуст.

Корнелия была в сером. Не стальном, как на работе, а мягком, жемчужном, с высоким воротом. Без лупы на цепочке. Без гладкого узла — волосы были заплетены в косу и уложены вокруг головы. Она выглядела моложе. И очень усталой.

Она посмотрела на меня, когда я села. Посмотрела на платье. Посмотрела на гранаты в ушах. И ничего не сказала. Только жилка над воротником — я видела — ударила один раз.

Подавали суп из раков. Потом рыбу в белом вине. Потом утку с вишнями. Вино было терпкое, тёмное, такое, что после первого глотка хотелось закрыть глаза. Марро говорил. Он прекрасно говорил — о городе, об истории, о вещах. Рассказывал, как в молодости ездил по провинциям и скупал у крестьян старые иконы, которые те держали в сараях. Как однажды нашёл в курятнике шкатулку работы мастера, которого считали легендой. Как его отец, основатель дома, учил его отличать подделку по запаху. «Подделка пахнет торопливостью, сударыня. Так он говорил. Настоящая вещь пахнет временем».

Я слушала. Я кивала. Я ела утку. Я смотрела на его руки — крупные, ухоженные, с перстнем на мизинце. На то, как он держит бокал — легко, уверенно, за ножку. На то, как он смотрит на Корнелию — тепло, гордо, с какой-то затаённой печалью. На то, как он смотрит на пустой прибор в конце стола.

— Вы ждёте кого-то ещё? — спросила я.

Марро не ответил сразу. Поставил бокал.

— Мою жену. Ливию. Она иногда спускается к ужину. Иногда нет. Я всегда ставлю для неё прибор. На случай, если... — он улыбнулся. — Если ей захочется.

Корнелия смотрела в тарелку.

— Она... — начала я.

— Она больна, — сказал Марро просто. — Уже год. Сначала она забывала мелочи. Где оставила очки. Как зовут новую горничную. Потом — больше. Потом — меня, — он сказал это совершенно спокойно, только пальцы на ножке бокала чуть сжались. — Врачи называют это угасанием памяти. Говорят, это бывает. Говорят, лечить нельзя. Можно только ждать, — он посмотрел на меня. — Я не умею ждать, сударыня. Никогда не умел.

— Мне жаль, — сказала я. И это была правда.

— Благодарю, — он поднял бокал. — Но не будем о грустном. Я пригласил вас не для этого.

И тут дверь столовой открылась.

* * *

Она вошла неслышно — в домашнем платье, светло-голубом, в мягких туфлях, с шалью на плечах. Высокая, тонкая, чуть сутулая. Волосы — светлые, с проседью, распущенные по плечам, как у девочки. Лицо — я узнала его. Тонкое, красивое, немолодое. Я видела его в зеркале. В трёх створках туалетного столика. Когда оно смотрело на меня, а я не знала, кто это.

Горничная шла следом, держа её под локоть.

— Ливия, — сказал Марро. Встал. Голос у него стал совсем другим — мягким, осторожным, как у человека, который входит в комнату к спящему ребёнку. — Дорогая. Ты спустилась.

Ливия Марро посмотрела на него. Вежливо, приветливо, без узнавания. Как смотрят на чужого, но приятного человека в гостях.

— Добрый вечер, — сказала она. Голос был тихий, мелодичный. — Я не помешала? Мне показалось, у вас гости.

— Ты никогда не мешаешь, — Марро отодвинул для неё стул — не в конце стола, а рядом с собой, рядом с Корнелией. — Садись. Это сударыня Соколова. Она... она новая хозяйка лавки Лорис.

Ливия села. Корнелия, не глядя на мать, подвинула ей бокал с водой. Ливия кивнула ей с той же вежливой улыбкой, с какой кивнула мужу. Потом повернулась ко мне.

И замерла.

Она смотрела на меня долго. Внимательно. Светлые глаза — такие же светлые, как у Корнелии, почти прозрачные, — изучали моё лицо, волосы, гранаты в ушах, выющиеся локоны у висков, которые уложила Марта.

— Ирэна? — выдохнула Ливия.

Нож в руке у Корнелии звякнул о тарелку.

— Ирэна, — повторила Ливия, и лицо её осветилось — так, как освещается лицо человека, увидевшего старую подругу после долгой разлуки. — Ирэна, ты вернулась! Ты нашла её? Ты нашла дорогу? Ты же говорила, что найдёшь, ты так долго искала... Где она? Где твоя девочка?

Я не могла пошевелиться. Не могла дышать. Сидела, держа вилку, и смотрела в светлые сияющие глаза женщины, которая смотрела на меня — и видела мою мать.

— Ливия, — голос Марро был очень тихим. — Дорогая. Это не Ирэна. Это сударыня Соколова.

Ливия повернулась к нему. Свет в её лице дрогнул. Погас. Медленно, как гаснет свеча, — сначала пламя становится ниже, потом синее, потом только тонкая струйка дыма.

— Не Ирэна? — переспросила она растерянно.

— Нет, дорогая.

— Но она... Она так похожа, — Ливия снова посмотрела на меня, и теперь в её взгляде было только смущение. И страх — тот самый, который я видела в зеркале. Страх человека, который не знает, где кончается то, что он помнит, и начинается то, что ему кажется. — Про-

стите. Простите, сударыня. Я путаю. Я теперь всё путаю. Кто такая Ирэна? Я не знаю никакой Ирэны.

Она посмотрела на свои руки. На безымянном пальце правой руки — тонкое золотое кольцо. Гладкое, без камня, стёртое с одного бока.

— Чьё это кольцо? — спросила она тихо, ни к кому не обращаясь.

Корнелия встала. Резко, так, что стул скрипнул по паркету.

— Мама, пойдём. Ты устала. Я тебя провожу.

Ливия подняла на неё глаза. Вежливые, приветливые, чужие.

— Вы очень добры. Благодарю.

Корнелия взяла мать под руку — бережно, как Кальве брал лошадку, — и увела. Горничная пошла следом. Дверь закрылась.

В столовой было тихо. Трещали поленья в камине. Свечи в люстре чуть покачивали пламенем.

Марро сидел, глядя на закрытую дверь. Лицо у него было — я не знала, как это описать. Не печальным. Не горестным. Пустым. Как витрина, из которой вынули все вещи.

— Вы знали мою мать, — сказала я.

Он не ответил сразу.

— Ирэну? — он медленно перевёл взгляд на меня. — Да. Знал. Ливия знала её лучше. Они дружили. Много лет, — он взял бокал, не отпил, поставил. — Простите, сударыня. Я не хотел, чтобы вы узнали так. Я собирался... Не сегодня.

— Почему мне никто не говорит? — голос у меня сорвался. — Марта знала её. Дария знала. Гортензия. Теперь вы. И ваша жена. Все знали мою мать, кроме меня!

— Потому что это не наш разговор, — сказал Марро. Тихо. Почти теми же словами, что и Марта. — Так ведь вам говорили? Это правило улицы. Не пересказывать за другого, — он помолчал. — Я не с улицы, сударыня. Я мог бы рассказать. Но я не стану. Не потому, что не могу. Потому что вы сейчас не поверите ни одному моему слову. И будете правы.

Он поднял на меня глаза. Тёплые, карие, усталые.

— Давайте поговорим о деле. Я пригласил вас для этого.

* * *

Предложение было простым. Он изложил его за кофе — чёрным, крепким, в крошечных чашках из тонкого фарфора, таким вкусным, что я на секунду подумала об Адриане в экипаже напротив ворот, с его горелым ковшиком.

Пять тысяч крон за дом семь по Улице Трёх Лун со всем содержимым. Наличными или переводом, как я пожелаю. Плюс место главного эксперта в аукционном доме Марро — «вы видели, как работает Корнелия; вы будете работать вместе, на равных; вы с ней — лучшие глаза, которые я встречал за тридцать лет». Плюс жильё — квартира на Королевской набережной, с видом на реку, на время, пока я не найду своё.

Пять тысяч крон. Я считала: тысяча двести пятьдесят лет аренды приличной комнаты. Или безбедная жизнь — до конца жизни. Моей и, наверное, Мириной тоже.

— А если я не захочу продавать? — спросила я.

— Тогда, — ответил Марро. — Я заплачу ваш налог.

Я моргнула.

— Что?

— Триста сорок крон Казначейству. Завтра утром. От своего имени. Без условий, — он улыбнулся. — Считайте это жестом. В память об Агате. В память об Ирэне. Вы оставите лавку себе, если хотите. А я — просто помогу.

Без условий.

Я смотрела на него. На его тёплые глаза, на складки у рта, на перстень с птицей, на бриллиантовую булавку в галстуке. Это было очень хорошее предложение. Слишком хорошее. Как

лот сорок семь под лампой на синем бархате. Розовая эмаль, восемь жемчужин, бриллиантовая роза. Красиво. Безупречно. Фальшиво.

— Господин Марро, без условий не бывает.

— Бывает. Иногда.

— Нет, — я поставила чашку. — Я восемь лет работала с людьми, которые предлагают помощь без условий. Условие всегда есть. Просто его сообщают позже. Когда уже поздно отказываться.

Марро смотрел на меня. Улыбка на его лице не дрогнула. Но что-то за ней — сдвинулось.

— Вы правы, — сказал он наконец. Просто. Без обиды. — Условие есть. Я его вам скажу. Сейчас, а не позже. Вы заслуживаете честности.

Он откинулся на спинку кресла. Сложил руки на животе.

— Я ищу ключ Аделаиды Лорис. Не скрываю. Я ищу его давно. Агата знала. Я просил её. Много раз. Предлагал деньги, помощь, всё, что мог. Она отказывала. Каждый раз, — он помолчал. — Она была упрямой женщиной. И, как мне кажется, сама не знала, где он. Но не хотела, чтобы я узнал.

— Зачем он вам?

— Затем, что за дверью Аделаиды — дорога памяти. Марро смотрел не на меня. В огонь. — Так говорят легенды. Всё, что потеряно, можно найти. Любая вещь, любое воспоминание. Всё, что забыто, — там. Ждёт. Как ваши вещи в лавке, — он повернулся ко мне. — Моя жена забыла меня, сударыня. Забыла дочь. Забыла себя. Если за этой дверью есть хоть крошечный шанс... — он не договорил.

Тишина. Камин. Свечи.

— Вы ворвались бы в мою лавку, чтобы найти этот шанс? — спросила я.

— Я предлагаю вам пять тысяч крон, — произнес Марро мягко. — Это не похоже на «ворвался».

— А люди, у которых пропали вещи? Табакерка Дюмаре. Шпилька Лаверн. Медальон Ривьеров. Их хозяева забыли своих родных. Как ваша жена.

Марро не дрогнул. Ни одна мышца. Он смотрел на меня с выражением вежливого недоумения.

— Я слышал об этих кражах. Ужасная история. Дознаватель Кальве, кажется, ведёт дело? Надеюсь, он найдёт негодяя, — он сделал глоток кофе. — Но я не понимаю, сударыня, какое отношение это имеет ко мне. Я аукционист. Я продаю вещи. Я их не краду.

Это было сказано так спокойно, так естественно, с такой лёгкой ноткой обиды, — что на секунду я почти поверила. Почти.

Потом вспомнила зрачки. Расширившиеся, как у кошки, увидевшей мышь. Над ящиком в Мириных руках.

— Спасибо за ужин, господин Марро, — я встала. — Я подумаю над вашим предложением.

— Подумайте, — ответил он, тоже вставая. — У вас есть время. До Чёрной Луны, — он улыбнулся. — Хотя, если вы не заплатите налог, лавка достанется мне и так. Просто без вас. Я бы предпочёл с вами, сударыня. Правда.

* * *

Корнелия догнала меня в саду.

Я шла по аллее к воротам — между кустов белых роз, отцветших, с сухими бутонами на ветках, — и услышала за спиной быстрые лёгкие шаги. Овернулась. Она шла ко мне без шали, в своём жемчужно-сером платье, обхватив себя руками от холода.

— Сударыня Соколова.

— Корнелия.

Она остановилась в двух шагах. Не на ступеньку выше — здесь не было ступенек. На одном уровне.

— Мама уснула. Она... Она не помнит, что спускалась. Она уже не помнит вас.

— Мне жаль.

— Не надо, — Корнелия посмотрела на розы. — Вы не виноваты. Никто не виноват. Это просто... болезнь.

Мы помолчали. Ветер шевелил сухие ветки, и они шуршали, как бумага.

— Мой отец, — сказала Корнелия, не глядя на меня. — Не умеет проигрывать. Никогда не умел. Когда я была маленькой, он однажды проиграл на торгах вазу какому-то купцу. Ничего особенного, обычная ваза. Он потом три месяца выкупал её через подставных лиц. Заплатил втрое. Поставил в кладовку. Я спросила — зачем? Он сказал: «Чтобы купец знал, что это я её забрал».

— А теперь?

— А теперь он проигрывает маме. Болезни. Каждый день, — Корнелия обхватила себя крепче. — И ничего не может с этим сделать. Ничего. Ни купить, ни выкупить, ни перехитрить. Это первое, что он не может, за всю его жизнь.

Я ничего не сказала. Я ждала.

— Я не знаю, что он делает, — сказала Корнелия. Тихо, ровно. — Я не знаю, кто ворует вещи. Я не знаю, почему лот двадцать три был подделкой и почему он его выставил. Я не знаю, зачем ему нужен ключ. Я не хочу знать.

— Вы уже знаете.

Она подняла глаза. Светлые, прозрачные. Мокрые.

— Да. Наверное. Да.

Мы стояли в двух шагах друг от друга, посреди мёртвых роз, и молчали. Где-то в доме пробили часы. Девять.

— Вашу мать, — сказала Корнелия вдруг. — Я помню.

Я замерла.

— Она приходила к нам, — продолжала Корнелия, глядя мимо меня, в темноту сада. — Когда я была маленькой. Лет семи-восьми. Она дружила с мамой. Они сидели в зимнем саду, пили чай и говорили, говорили. Иногда мама плакала. Иногда — она. Я не понимала, о чём. Но я помню, что она всегда приходила со шкатулкой. Маленькой, деревянной, с перламутром. Ставила её на стол и не открывала. Просто чтобы была рядом.

Шкатулка.

— Она учила меня отличать гранат от рубина, — сказала Корнелия. Тень улыбки — первая, которую я у неё видела. — На маминых серьгах. Сказала: «Рубин холодный, гранат тёплый. Возьми в руку — и почувствуешь». Я брала. И чувствовала. Это была первая вещь, которую я в жизни оценила, — она помолчала. — Она говорила, что у неё есть дочь. Далеко. Очень далеко. Что она ищет дорогу к ней. Мама говорила: «Ирэна, может, хватит? Может, это невозможно?» А она говорила: «Нет. Я найду. Я обещала».

Я стояла и не могла дышать. Холод сада проникал под бархат, под кожу, в рёбра.

— Где она? — спросила я. Голос был чужой, тонкий, не мой. — Корнелия. Где она сейчас?

Корнелия посмотрела на меня. И я увидела, как она понимает. Медленно, со страшной ясностью. Что я не знаю. Что мне никто не сказал.

— Вы не знаете, — произнесла она.

— Где она?

— Сударыня Соколова... Вера...

— Где моя мать?

Корнелия сделала шаг вперёд. Один. Потом остановилась, будто не решалась подойти ближе.

— Она умерла. Восемь лет назад. Зимой. Здесь, в Лавьере. Мне было двадцать два. Мама... Мама тогда ещё всё помнила. Она плакала неделю.

Сад качнулся.

Не в видении — по-настоящему. Розы, аллея, дом с освещёнными окнами, ограда, липы за оградой — всё поплыло, накренилось, как палуба. Я схватилась за что-то — за ветку розы, сухую, колючую. Шипы впились в ладонь. Боли я не почувствовала.

Восемь лет.

Восемь лет назад я работала в «Северной коллекции» второй год. Восемь лет назад я впервые увидела Глеба. Восемь лет назад мы с бабушкой ездили в Зеленогорск, и бабушка сказала, глядя на залив: «Твоя мать, наверное, тоже где-то у воды живёт. Она воду любила». А я ответила: «Мне всё равно, где она живёт». И бабушка посмотрела на меня и ничего не сказала.

Восемь лет её уже не было. А я злилась на неё. Каждый день. Восемь лет.

— Вера, — Корнелия была рядом. Я не заметила, когда она подошла. Её рука лежала на моём локте — холодная, тонкая, сильная. — Вера, простите. Я не знала. Я думала... Я думала, вам сказали. Я бы никогда...

— Мне никто не говорит, — ответила я. Голос был спокойный. Очень спокойный. Я слышала его со стороны, как чужой. — Это правило улицы. Не пересказывать за другого.

— Я не с улицы.

— Да, — я посмотрела на свою ладонь. На ней были капли крови — от шипов. Маленькие, тёмные. — Вы не с улицы.

Мы стояли так ещё минуту. Корнелия держала меня за локоть. Я держала розовую ветку.

Потом я разжала пальцы.

— Спасибо. Что сказали.

— Не благодарите, — голос у Корнелии дрогнул. — Пожалуйста. Не благодарите меня за это.

— Хорошо. Не буду.

Я повернулась и пошла к воротам. Ровно, прямо, не оглядываясь. Как Марта, когда шла к арке в шляпке с вишнями. Как Дария, когда уходила, не прощаясь. Я научилась у них, оказывается. За три недели.

* * *

Экипаж под липами стоял там же. Когда я вышла из ворот, дверца открылась ещё до того, как я подошла.

Я села. Дверца закрылась. Внутри было темно, пахло старой кожей сидений, горелым кофе и хвойным дегтярным мылом.

Адриан сидел напротив. Я не видела его лица — только силуэт, тёмный, на фоне задёрнутой шторы. Он ничего не спросил. Стукнул костяшками в потолок. Экипаж тронулся.

Мы ехали молча. Минуту. Две. Колёса стучали по булыжнику. Лошадь фыркала.

— Моя мать умерла восемь лет назад, — сказала я в темноту.

Он не ответил. Я слышала, как он дышит.

— Мне только что сказала об этом дочь человека, которого я подозреваю в краже памяти. В саду. Среди роз, которые я видела в кольце его жены, — я засмеялась. Это был очень плохой смех. — Знаете, что самое смешное? Я не знала, как она выглядела. Я не помнила её лица. А его жена меня узнала. Посмотрела на меня и сказала: «Ирэна, ты вернулась». Она ничего не помнит. Мужа не помнит. Дочь не помнит. Себя не помнит. А мою мать — помнит. А я — нет.

Темнота напротив шевельнулась. Его рука нашла мою. Ту, правую, где на ладони были капли крови от шипов. Он не спросил, откуда кровь. Просто взял мою руку в свою — тёплую, сухую, с мозолью у основания большого пальца, — и держал.

Не сжимал. Не гладил. Просто держал.

Я не плакала. Я плохо плачу.

Я сидела в тёмном экипаже, ехала по ночному городу, которого не знала, к улице, которой не существовало, в дом, где родилась моя мать, — и держалась за руку мужчины, которого знала три недели. Держалась изо всех сил. Как держалась за край прилавка, когда видела в вещах то, чего не могла вынести.

Он не отпускал. Всю дорогу.

Глава 16. Ночные гости

Он довёл меня до двери. Постоял на пороге, держа руку на косяке, — не входя.

— Я могу остаться.

— Не надо.

— Вера.

— Мне нужно побыть одной, — я не смотрела на него. Я смотрела на свою ладонь, где запеклись капли от розовых шипов. — Пожалуйста. Мне просто... нужно.

Он помолчал. Потом убрал руку с косяка.

— Доска.

— У меня.

— Если что-нибудь.

— Я знаю.

— Даже если ничего.

— Адриан, — я подняла глаза. — Я знаю.

Он посмотрел на меня ещё секунду. Потом кивнул и ушёл. Шаги удалились к арке, затихли. Колокольчик над дверью даже не звякнул — дверь я закрывала тихо.

* * *

Мира спала. Я поднялась на третий этаж, приоткрыла дверь её комнаты — она лежала на кровати под Элизиным одеялом, свернувшись калачиком, с книжкой про марки под щекой. Светляк на полке горел вполсилы: видимо, она уснула, не успев хлопнуть дважды. Я хлопнула за неё. Тихо, одними пальцами. Камень погас.

Потом спустилась вниз. В лавку.

Не стала зажигать свет. Села на табуретку — ровную, правильную, без единого покачивания, — у прилавка. Положила руки на гроссбух. Сидела.

За окном висели три луны. Серебряная — полная, яркая. Золотая — серпом. Чёрная — кругом, с ободком. Свет от них падал через витрину на полки, и вещи на полках стояли в этом свете серебристые, тихие, похожие на призраков вещей.

Восемь лет.

Я пыталась вспомнить её лицо. Не получалось. Был запах — корица, тёплое. Был голос — песня на незнакомом языке, мягкие перекаты, как у Марты, как у всех здесь, — теперь я понимала, на каком языке она пела. Были руки, расчёсывающие волосы. И шкатулка. Ключик, фигурка, музыка. Больше ничего.

Бабушка не хранила её фотографий. Ни одной. Я спрашивала, когда была маленькой. Бабушка поджимала губы и говорила: «Нет у меня её карточек. Не фотографировалась она. Не любила». Я верила. Потом перестала спрашивать. Потом перестала хотеть.

А она не фотографировалась, потому что была отсюда. Потому что в её мире нет фотографий, и она, наверное, боялась их, как Гортензия боится Элизиных чайников. Или не боялась — просто не понимала, зачем. Или понимала, но знала, что уйдёт, и не хотела оставлять за собой следов.

«Она говорила, что у неё есть дочь. Далеко. Что она ищет дорогу к ней. Я найду. Я обещаю».

Я сидела и смотрела на свои руки на гроссбухе. Я не плакала. Внутри было пусто и холодно, как в той комнате на третьем этаже до того, как я её вымыла. Чисто. Пусто. Ни одной вещи.

Часы в углу пробили полночь. Потом — час. Потом половину второго.

Гортензия не спала. Я знала. Она сидела на подсвечнике в темноте, не шевелясь, не говоря ни слова, — но я чувствовала, что она смотрит на меня. Всё время. Как сторож.

Без четверти два она вдруг встрепелась.

— Тихо, — шепнула она.

Я подняла голову.

— Что?

— Тихо, милочка, — голос у неё был совсем другой. Не театральный, не ворчливый. Острый, как игла. — Слушай.

Я прислушалась. Часы тикали. Ветер шуршал за окном. Где-то далеко, за аркой, в городе, лаяла собака.

И ещё. Тихий, металлический, настойчивый скрежет. Где-то в глубине дома. За лестницей. Там, где коридор вёл к задней двери — низкой, дубовой, выходящей во двор с яблоней. Я ни разу её не открывала. Она была заперта на засов изнутри и на замок, ключ от которого висел на общем кольце.

Скрежет. Пауза. Скрежет. Щелчок.

Кто-то открывал замок отмычкой.

* * *

Страх пришёл не сразу. Сначала было удивление — тупое, медленное, как будто мне сообщили, что за окном идёт снег в июле. Потом — холод. Он поднялся от живота к горлу и встал там комом. А потом — страх. Настоящий. Не тот, что в первую ночь, когда я трогала варенье. Тот был от непонятного. Этот был от понятного. Совершенно, абсолютно, кристально понятного: в мой дом лезут люди, а я одна, и наверху спит семнадцатилетняя девочка.

Руки у меня стали ледяными. Я сунула их в карман платья — бархатного, винного, «сегодня — можно» — и нащупала доску. Вытащила. Мел был привязан на шнурке. Пальцы не слушались. Я написала — криво, наискосок, едва различимо:

Мне нужна помощь.

Я не успела досчитать до десяти. Доска потеплела у меня в ладони, и на ней проступило — быстро, резко, почти неразборчиво, будто писали на бегу:

Где ты?

Дома. Задняя дверь. Отмычка.

Уже иду. Спрячься. Не выходи.

Щелчок в глубине дома. Скрип засова — нет, засов был изнутри, его отмычкой не откроешь. Тишина. Потом — звон. Короткий, стеклянный. Кто-то выдавил стекло в маленьком окошке над задней дверью. Потом — шорох. Рука, просунувшаяся в окошко, ищущая засов.

— Наверх, — шепнула Гортензия. — Иди наверх. К девочке. Запритесь.

— А лавка?

— Лавка, — ответила Гортензия. — Сама.

Засов лязгнул.

Я не пошла наверх. Не знаю почему. Ноги не послушались. Или послушались, но не того. Я соскользнула с табуретки на пол, за прилавок, в узкое пространство между прилавком и ящиками под кассой. Туда, где сидела на полу, когда из носа шла кровь, а Адриан держал меня за плечи.

Задняя дверь открылась. Тихо, почти без скрипа — видимо, петли смазали заранее. Значит, были здесь раньше. Значит, готовились.

Шаги. Двое. Один — тяжёлый, неуклюжий, шаркающий. Другой — лёгкий, быстрый, уверенный.

— Темно, как в погребе, — прошептал хриплый голос.

Я узнала его. Сразу. Как узнают голос из сна, от которого просыпаешься в холодном поту. «Опять не то. Опять просто бабка».

— Свет не зажигай, — сказал второй. Глуше. Спокойнее. — Сорока где-то здесь. Хозяин сказал, сорока прячет.

— Сорока, — фыркнул хриплый. — Свернуть ей шею — и все дела.

На подсвечнике, в темноте, Гортензия не издала ни звука. Даже перья не шевельнулись.

Шаги приблизились. Прошли мимо лестницы. Остановились у края полок. Я видела их тени — две тёмные фигуры на фоне серебристого от лунного света окна. Один — широкий, приземистый, в куртке, с чем-то большим в руках. Второй — высокий, тонкий, в длинном плаще.

В руках у широкого был стеклянный шар на бронзовой ножке. С иглой.

Я перестала дышать.

— Ну и где искать? — прошептал хриплый. — Тут же тыща вещей.

— Хозяин сказал: зеркало. Или шкатулку. Играющую. Если найдёшь шкатулку — бери. Если найдёшь зеркало — бери. Если найдёшь бабу — спроси, где.

— А если не скажет?

Пауза.

— Тогда ты знаешь, что делать, — сказал высокий. И стеклянный шар в руках хриплого тускло блеснул в лунном свете.

* * *

Первой сработала полка с зонтами.

Хриплый сделал шаг вперёд — к прилавку, к лестнице, ко мне, — и в этот момент мужской зонт, чёрный, шёлковый, с костяной ручкой, «забытый у театра», — сорвался с крючка у двери. Пролетел через всю лавку. И раскрылся. Прямо у хриплого перед лицом. С громким, хлопающим звуком, как выстрел.

Хриплый заорал. Отшатнулся. Наступил на что-то — и что-то под ним поехало. Галоши. Маленькие, резиновые, «забытые в гостях». Они стояли на полу у двери с первого дня. Теперь они стояли посреди прохода.

Хриплый грохнулся на спину. Стеклянный шар вылетел у него из рук, прокатился по полу — и замер у ножки прилавка, в шаге от меня.

— Что за... — начал высокий.

Второй зонт, дамский, серый, раскрылся у него за спиной. Он обернулся. Зонт качнулся и ткнул его спицей в щёку.

И тут проснулась лавка.

Не знаю, как ещё это описать. Всё, что стояло на полках, всё, что лежало, висело, ждало, — пришло в движение. Не хаотично, не как при землетрясении. Осмысленно. Как приходит в движение толпа, когда в неё врывается чужак. Полки — тяжёлые, дубовые, от пола до потолка — сдвинулись. Медленно, со скрипом, на полшага, — но этого хватило: проход между ними, по которому шёл высокий, сузился вдвое. Шляпные коробки посыпались сверху, одна за другой, как снаряды. Перчатки — непарные, левые, правые, лайковые, шерстяные — взлетели стайей и закружились у высокого перед лицом, хлопая его пальцами по щекам. Пуговицы из жести — все двести двенадцать, или сколько их там было, — высыпались на пол и раскатились под ноги.

Хриплый попытался встать — и снова упал, на пуговицы.

Часы в углу начали бить. Не время — просто бить. Раз, два, три, пять, восемь, двенадцать, — тринадцать, четырнадцать, — оглушительно, медно, не останавливаясь.

— Это ведьма! — завопил хриплый, ползая по полу. — Это ведьмин дом! Ты мне не говорил, что тут...

— Заткнись! — рявкнул высокий. Он отбивался от перчаток обеими руками. — Шар! Где шар?

Шар лежал у ножки прилавка. В шаге от меня. Я протянула руку — и в этот момент хриплый, ползая по полу, нащупал его. Его пальцы сомкнулись на бронзовой ножке одновременно с моими.

Он поднял голову. Мы оказались лицом к лицу — на полу, за прилавком, в серебряном лунном свете. Молодое, грубое, небритое лицо. Рыжая щетина. Маленькие светлые глаза. Шрам на подбородке.

— Ага, — ухмыльнулся он. — Баба.

Он дёрнул шар на себя. Я не отпустила. Он дёрнул сильнее — и вместе с шаром выдернул меня из-за прилавка. Я упала на пуговицы. Больно, на локоть. Он навалился сверху, тяжёлый, пахнувший табаком, потом и чем-то кислым, — и прижал меня к полу коленом.

— Где ключ? — Хриплый, прерывистый шёпот. Его дыхание било мне в лицо. — Где шкатулка? Где зеркало?

Я молчала.

— Не скажешь?

Он поднял шар. Игла — длинная, тонкая, как у швейной машинки, — смотрела мне в лицо. В висок. Внутри стеклянного шара, в глубине, что-то светилось — тускло, грязно-золотым, как старое масло. Чужие воспоминания. Бабушкины пирожки, дедушкин смех, мамыны руки. Украденное. Собранное.

— Эта штука, — прохрипел он, — она не только из вещей тянет. Её для людей делали. Знаешь? Для людей. Ткну тебе в голову — и всё, что ты помнишь, будет моё. Хочешь?

Мне было страшно. Так страшно, как не было никогда в жизни. Ни в первую ночь, ни когда Глеб орал на меня в кабинете, ни когда бабушка умирала в больнице и я сидела в коридоре и слушала, как пищат приборы. Я лежала на полу, на рассыпанных пуговицах, под чужим коленом, с иглой у виска, — и думала только об одном. Что у меня и так почти ничего нет. Запах корицы. Песня. Шкатулка. Если он заберёт это — у меня не останется ничего. Совсем ничего. Даже злости на неё. Даже тех восьми лет.

Игла приблизилась.

— Эй!

Табуретка опустилась хриплому на затылок с таким звуком, будто кто-то расколол полено.

Табуретка была крепкая. Правильная. Без единого покачивания. Шипы подогнаны плотно, без зазора, стыки прошкурены. Её чинили час, не торопясь, — так, как правильнее.

Хриплый обмяк. Повалился на бок. Шар выпал у него из рук, ударился о пол — игла сломалась с тонким, жалобным звоном — и откатился в сторону.

Над нами стояла Мира. В ночной рубашке, босая, с растрёпанными волосами. Обеими руками она держала табуретку за ножки. Лицо у неё было белым, а глаза — огромными.

— Хорошо, — сказала она дрожащим голосом. — Что он её починил. Старая бы развалилась.

* * *

Высокий бежал.

Я видела его тень у задней двери — он отбился от перчаток, перепрыгнул через упавшую шляпную коробку и рванулся к выходу. Почти добрался.

Гортензия ударила его сверху.

Не знаю, откуда она взялась. Только что подсвечник был пуст — и вот она уже падает с потолка, как камень, сложив крылья, прямо ему на голову. Когти впились в волосы, клюв — в руку, которой он попытался её сбросить. Высокий заорал. Закрутился на месте, размахивая руками. Гортензия держалась. Била клювом — раз, другой, третий, — в руку, в плечо, в ухо.

— Это! — кричала она между ударами. — Мой! Дом! Сто! Двадцать! Лет!

Он сбросил её. Ударил о стену. Она отлетела, кувыркнулась в воздухе, упала на полку с чашками — звон, грохот, осколки.

Высокий выскочил за дверь. Шаги по двору, удаляющиеся. Скрип калитки. Тишина.

— Гортензия! — я вскочила, поскользнулась на пуговицах, упала на колени, поползла.
— Гортензия!

Она лежала на полке среди разбитых чашек. Неподвижно. Растрёпанная, со сломанным пером в хвосте.

Я протянула руку.

— Не трогай, — простонала Гортензия, не открывая глаз. — Я в обмороке.

— Ты жива!

— Я в глубоком обмороке, милочка. Это очень серьёзно, — она приоткрыла один глаз. Чёрный, блестящий, с серебряной луной внутри. — Мне нужно двадцать орехов. Сразу. И пуговица. И ещё одна пуговица. Вон та, янтарная, которая у тебя в жестянке... а, жестянку же рассыпали. Ну, найдёшь.

Я засмеялась. Это было больно — локоть, колени, ребро, на которое давило его колено, — но я засмеялась. И вдруг поняла, что засмеяться не получается. Что это не смех. Что у меня трясутся плечи, и горло сжато, и по лицу течёт что-то горячее и мокрое, и я не могу остановиться.

Я сидела на полу, среди пуговиц, разбитых чашек и раскрытых зонтов, рядом с сорокой в глубоком обмороке и девочкой в ночной рубашке с табуреткой в руках, — и плакала.

Первый раз. За тридцать три года — нет, неправда, не первый, но первый так. Навзрыд. Как плакала Жозефина. Всем лицом, некрасиво, громко, с икотой. Как плакала Сюзанна Ланж в мамину шаль. Как, наверное, плачут все, кто долго не умел.

Мира поставила табуретку. Опустилась на колени рядом со мной. Обняла — неловко, костлявыми руками, прижав мою голову к своему плечу.

— Ну чего ты. Ну чего. Всё ж. Всё. Мы его. Табуреткой. И Гортензия. И лавка. Всё.

Я плакала. Не про вора. Не про иглу у виска. Не про страх.

Про неё. Про восемь лет. Про «я найду, я обещала». Про то, что я злилась на неё каждый день, а она каждый день искала дорогу. Про то, что я не помню её лица. Про то, что теперь не вспомню никогда.

Хлопнула дверь. Входная. Колокольчик не звякнул — его просто чуть не сорвало с крюка.
— ВЕРА!

Он стоял на пороге. Без пальто, без котелка, без сюртука — в одной рубашке, растрёпанный, задыхающийся. В руке у него был короткий тёмный жезл с медным навершием, светящимся голубым. За его спиной, на улице, горели окна: «Половинка луны», мастерская Элизы, контора Дарии. Кто-то бежал по брусчатке — я слышала шаги, много шагов.

Он увидел нас. На полу. Меня, Миру, пуговицы, зонты, осколки. Хриплого, лежащего без сознания у прилавка. Разбитый шар.

Он не спросил ничего. Он пересёк лавку в три шага, опустился на колени и забрал меня у Миры. Просто забрал — обнял обеими руками, прижал к себе, к рубашке, мокрой от пота, пахнувшей хвойным мылом и бегом.

— Где ты? — сказал он мне в волосы. Глупо. Бессмысленно. Он же уже был здесь. — Где ты, Вера?

— Здесь, — сказала я в его рубашку. — Дома.

* * *

Марта пришла со сковородой.

Чугунной, тяжёлой, с длинной ручкой. В ночном чепце, в халате, накинутом поверх ночной рубашки, в одной туфле. Она ворвалась в лавку следом за Адрианом, остановилась, увидела хриплого на полу — и, не говоря ни слова, подошла к нему и постояла над ним со сковородой, примериваясь.

— Он без сознания, сударыня, — сказал Адриан, не выпуская меня.

— Я вижу, — сказала Марта. — Это я на случай, если очнётся.

Элиза прибежала с паяльной лампой. Горящей. В ночной сорочке, босиком, с распущенными кудрями. Остановилась на пороге, увидела всё, сказала «Ой!» — и погасила лампу, только когда Мира закричала на неё, что тут бумага кругом.

Дария пришла последней. Полностью одетая — чёрный костюм, высокий воротник, трость под мышкой. Как будто не спала вовсе. Может быть, и не спала. Она остановилась в дверях, оглядела лавку, — пуговицы, зонты, осколки, вора на полу, Марту со сковородой, Элизу с погасшей лампой, Миру в ночной рубашке, меня в руках у Адриана, — и сказала ровным голосом:

— Два часа одиннадцать минут. Я составлю протокол.

* * *

Адриан не уходил до утра.

Он сделал всё, что нужно. Связал хриплого — тот очнулся, заорал, увидел над собой Марту со сковородой и сразу замолчал. Вызвал через доску Барро и двух городских, и те приехали в карете Управления — Барро в мундире, застёгнутом не на те пуговицы, с котелком задом наперёд. Записал показания — мои, Мирины, Гортензии (она дала их, к всеобщему изумлению, — «но только потому, что этот негодяй грозился свернуть мне шею, а это уже личное»), Мартины, Элизины, Дариины. Собрал с пола осколки шара в холщовый мешочек. Отдельно, в другой мешочек — сломанную иглу. Отдельно, в третий, — то, что нашёл у задней двери: перчатку. Чёрную, лайковую, гладкую. Высокий обронил её, отбиваясь от Гортензии.

— Это он, — сказала я, глядя на перчатку. — Рука в перчатке. В видениях. Это его перчатка.

Адриан вывернул её наизнанку. На подкладке, у запястья, был нашит крохотный ярлычок. Шёлковый, с вышитыми буквами.

«Ателье Бруно. Королевская набережная».

— Королевская набережная, — сказал Адриан, — в трёх домах от аукционного дома Марро.

Он сказал это ровно, протокольно. Но я видела, как у него на скулах проступили желваки.

Хриплого увезли. Его звали Коль, Рыжий Коль, — Барро его узнал: «Шеф, это ж Коль! Его в прошлом году за кражу из ювелирной выпустили!» Коль, когда его выводили, обернулся на пороге и посмотрел на меня. На меня, на Миру, на сороку. Что-то в его лице было — не злость. Страх. Он боялся.

— Ведьмин дом, — пробормотал он. — Ведьмин. Говорили же...

— Кто говорил? — спросил Адриан.

Коль сжал губы и больше не сказал ни слова.

* * *

Под утро все разошлись. Марта — заставив меня выпить чашку чая с мёдом и чем-то горьким, «для сна». Элиза — пообещав утром поставить на заднюю дверь «такой замок, что его сам король не откроет, с секретом, с пружиной, с колокольчиком». Дария — оставив на прилавке протокол, написанный от руки, ровным почерком, на трёх страницах, с подписями всех присутствующих, включая отпечаток Гортензиной лапы. Мира — уснув прямо на нижней ступеньке лестницы, в обнимку с табуреткой. Адриан отнёс её наверх. На руках, как маленькую. Она даже не проснулась, только пробормотала что-то про марки.

Гортензия получила двадцать орехов. Я собрала их по всей лавке — орехи тоже раскатились, вместе с пуговицами. И янтарную пуговицу. И ещё одну, перламутровую. Она взяла их, не сказав ни слова, и унесла под стропила. Сломанное перо из хвоста она выдернула сама и положила мне на прилавок.

— Это тебе. На память. Сто двадцать лет — первый раз в драке. Агата бы не поверила.

Я взяла перо. Длинное, чёрно-зелёное, с синим отливом, как пятно бензина в луже.

— Спасибо, Гортензия.

— Не за что, — ответила сорока. И добавила, отвернувшись к стене: — Ты плакала. Я видела. Это хорошо. Агата никогда не плакала. А надо было. Ей бы легче было.

* * *

Адриан остался.

Он сел на стул у прилавка — не на табуретку, табуретка была у Миры, — откинулся на спинку, вытянул ноги, скрестил руки на груди. И уснул. Мгновенно, как засыпают люди, которые не спали трое суток. Голова откинулась набок, рот чуть приоткрылся.

Я сидела напротив, на ступеньке лестницы, закутавшись в шаль — серую, с кистями, ту, что укрыла меня в первую ночь. Она снова пришла: Сюзанна Ланж забрала свою мамину шаль, а эта, оказывается, была другая, просто похожая. Бирка гласила: «Забыта на скамейке. Ждёт. Пока — греет». Видимо, лавка решила, что у неё должна быть своя шаль для меня. На всякий случай.

Я смотрела, как он спит.

Мужчина, тридцать пять — тридцать семь. Сохранность — удовлетворительная. Следы износа: тени под глазами, порез от бритвы на щеке, ссадина на костяшках правой руки — откуда? Наверное, бежал, упал. Рубашка мокрая под мышками, расстёгнута у ворота. На шее — тонкая цепочка, на цепочке что-то маленькое, спрятанное под рубашку. Волосы растрёпаны. Рот приоткрыт. Дышит ровно, глубоко.

Происхождение — Лесной квартал, мастерская столяра, запах липовой стружки. Провенанс — безупречный.

Рыночная стоимость — не определяется.

Историческая и художественная ценность —

Я не стала заканчивать. Сидела и смотрела. Пока за окном не посерело. Пока серебряная луна не побледнела и не ушла за крыши, а золотая не растворилась в рассвете. Пока чёрная — с ободком, который стал ещё шире, — не осталась одна в бледном утреннем небе, как дыра.

Двадцать девять дней.

* * *

Он проснулся в восьмом часу. Сразу, рывком, как просыпаются люди, привыкшие просыпаться от тревоги. Огляделся. Увидел меня на ступеньке. Выдохнул.

— Я уснул.

— Уснули.

— Надолго?

— Часа на четыре.

Он потёр лицо ладонями. Встал. Потянулся — хрустнуло что-то в спине. Посмотрел на кухню за лестницей, где у меня стоял чайник, который я так ни разу и не использовала, потому что Марта кормила.

— Кофе есть?

— Нет. Есть чай. Мартин.

— Это не то, — он пошарил по карманам рубашки, потом вспомнил, что пальто осталось в Управлении, и на лице у него появилось выражение такой глубокой скорби, что я засмеялась.

— Подождите.

Я поднялась вверх. В кухню. Там, в шкафчике над плитой, ещё в первую неделю я нашла жестяную банку с надписью «Кофий. Агатин. Не трогать». Агата, видимо, тоже пила кофе. Я открыла банку. Зёрна — старые, но пахнущие. Мельница стояла рядом — ручная, деревянная, с медной ручкой.

Я смолола. Нашла турку. Сварила. Как умела — по-петербургски, на маленьком огне, с щепоткой соли, не давая закипеть. Налила в две чашки. Принесла вниз.

Он взял чашку. Понюхал. Посмотрел на меня с подозрением.

— Это что?

— Кофе.

— Вы уверены?

— Пейте, господин дознаватель.

Он отпил. Замер. Отпил ещё. Медленно поставил чашку на прилавок и посмотрел на неё так, как, наверное, смотрел бы на улику, опровергающую всё, что он знал.

— Это кофе.

— Я же сказала.

— Нет. Вы не понимаете, — он поднял на меня глаза. — Это — кофе. А то, что я двадцать лет пью, — это...

— Яд, — подсказала я.

— Огнецвет, — поправил он. Помолчал. — Но в основном — да. Яд.

Я засмеялась. Он — нет. Но что-то в его лице снова сдвинулось — у глаз, у рта. Он взял чашку обеими руками, как Тобиас держал свою в «Половинке луны», и пил медленно, маленькими глотками, глядя в окно, на светлеющую улицу.

— Вера, — сказал он, не оборачиваясь.

— Да?

— Перчатка из ателье на Королевской набережной. Игла от экстрактора. Рыжий Коль, который боится говорить, — он помолчал. — Этого всё ещё недостаточно. Для Марро. Комиссар Обер скажет: совпадение. Ателье Бруно шьёт перчатки для половины города.

— Я знаю.

— Но этого достаточно, чтобы я не спал ещё трое суток.

— Это я тоже знаю.

Он обернулся. Посмотрел на меня — на ступеньке, в серой шали, с Гортензиным пером в руке.

— Вам нужно поспать, — сказал он.

— Вам тоже.

— Я в Управление.

— Тогда я посплю за двоих.

Он кивнул. Допил кофе. Поставил чашку. Пошёл к двери. На пороге — как всегда — остановился.

— Вера. Игла. Сломанная. Я отдам её на экспертизу в Управление, но там... — он поморщился. — У нас нет специалистов по экстракторам. Их нет нигде. Их запретили пятьдесят лет назад, и все, кто умел с ними работать, давно умерли или уехали.

— Не все.

Он посмотрел на меня.

— Элиза. Её отца исключили из Гильдии артефакторов. Она не знает за что. Это было двадцать лет назад, когда ей было шесть. А двадцать лет назад, — я помолчала, — кто-то ведь должен был начать делать экстракторы снова. Если сейчас они есть.

Адриан стоял на пороге совершенно неподвижно. Потом медленно сунул руку в карман брюк и вынул холщовый мешочек — тот, где лежала сломанная игла. Взвесил на ладони.

И положил на прилавок.

— Пусть посмотрит. Неофициально. Только посмотрит.

— Только посмотрит, — согласилась я.

Он ушёл. Колокольчик звякнул ему вслед — мягко, почти ласково.

Я сидела на ступеньке и держала в одной руке сорочье перо, а в другой — пустую кофейную чашку. Его чашку. На ободке остался след от его губ.

Мне было страшно. Всё ещё. Внутри, глубоко, где ночью было пусто и холодно, как в комнате до того, как я её вымыла.

Только теперь там была не пустота. Там было горе. Тяжёлое, тёплое, живое. Моё.

И это было лучше пустоты.

Глава 17. Гильдия артефакторов

Элиза смотрела на иглу так, как смотрят на змею.

Игла лежала на верстаке в её мастерской, на куске чёрного бархата, под большой лупой на подвижном кронштейне. Длинная, тонкая, сантиметров пятнадцать, — сломанная почти у самого основания, где она крепилась к бронзовой втулке. Металл был странный: серебристый, но не как серебро, а с голубоватым отливом, будто в нём застыл лунный свет. И по всей длине, от втулки к острию, вилась гравировка — такая тонкая, что я видела её только как лёгкую рябь на поверхности.

Элиза к ней не прикасалась. Она сидела на высоком табурете, подперев подбородок обеими кулаками, и смотрела в лупу уже минут десять. Не напевала. Не шутила. Даже не шевелилась.

— Элиза, — позвала я.

— Подожди.

— Ты её знаешь?

— Подожди, Вера.

Я подождала. Мира, сидевшая на мешке с углём у двери, тоже подождала. Гортензии с нами не было — она отказалась идти в мастерскую наотрез, сказав, что после вчерашней ночи у неё нервы и что ещё одного чайника она не переживёт.

Наконец Элиза откинулась на спинку табурета. Лицо у неё было бледным, даже ямочки на щеках пропали.

— Лунное серебро. С иридием. Сплав. Его делают только в двух местах в королевстве. Он проводит память. Обычное серебро — нет, а этот проводит. Как медь проводит тепло, — она помолчала. — Папа мне показывал. Однажды. Когда мне было девять. Он достал из шкафа старую книгу — гильдейскую, с картинками, — открыл на странице, где была нарисована вот такая игла, и сказал: «Элиза, если ты когда-нибудь увидишь такую — беги. Не трогай. Не спрашивай. Беги». Я спросила почему. Он сказал: «Потому что это не инструмент. Это вор».

Она протянула руку к лупе, повернула её чуть-чуть. Свет лёг на основание иглы, на бронзовую втулку.

— Видишь? Вот тут.

Я наклонилась. На втулке, у самого края, было выбито клеймо. Крошечное. Две буквы в овале — «Г.А.» — и рядом цифра: «14».

— Гильдия артефакторов, — пояснила Элиза. — Клеймо приёмки. Каждая деталь, сделанная в гильдейской мастерской, проходит проверку, и на неё ставят клеймо и номер мастерской. Четырнадцатая — это главная мастерская Гильдии. Гильдмейстерская, — она сглотнула. — Мастерская Зольта.

Мы помолчали.

— Это значит... — начала Мира от двери.

— Это значит, что иглу сделали в Гильдии, — закончила Элиза. — Официально. С клеймом. Как будто это обычная деталь. Как будто это... — она вдруг ударила кулаком по верстаку. Не сильно, но инструменты подпрыгнули. — Они дали клятву! Пятьдесят лет назад! Вся Гильдия! Никогда! А он... Он...

— Элиза. Твой отец.

Она замерла.

— Его исключили двадцать лет назад. Ты не знаешь за что. Ты была маленькая.

— Мне было шесть.

— А двадцать лет назад, — произнесла я медленно. — Кто-то начал делать экстракторы снова. В мастерской номер четырнадцать.

Элиза смотрела на меня. Очень долго. Карие глаза медленно наполнялись слезами — но слёзы не падали, стояли.

— Часы, — прошептала она.

* * *

Часы лежали в шкатулке. В ящике комода, на втором этаже её дома, в маленькой спальне, где пахло ванилью и машинным маслом и где на стене висел портрет — дагерротипия не дагерротипия, а что-то местное, нарисованное светом на серебряной пластинке, — пожилого мужчины с густыми бровями, мягкой бородой и такими же ямочками на щеках, как у Элизы.

Элиза достала шкатулку. Поставила на кровать. Открыла.

Карманные часы. Серебряные, простые, без гравировки. С откидной крышкой. Стрелки — я видела их сквозь стекло — стояли на двадцати минутах третьего.

— Он их сам сделал. Когда сдал экзамен на мастера. Каждый мастер делает себе часы. Традиция. Он их ни разу не снимал. Тридцать лет. А потом пришёл домой, сел за стол — и они остановились. Мама рассказывала. Он посмотрел на них и сказал: «Пусть стоят». И больше никогда не заводил, — она не прикасалась к часам. — Я всё могу починить, Вера. Ты знаешь. А их не могу. Я пыталась. Много раз. Беру в руки — и не могу открыть крышку. Пальцы не слушаются.

Я посмотрела на часы. Прислушалась.

Тепло. Слабое, но ровное. Не холод отнятой вещи, не пустота отказанной. Тепло вещи, которую любили. И под теплом — что-то острое. Как заноза. Как застрявшее слово.

— Можно? — спросила я.

Элиза кивнула. Не сразу. Сначала посмотрела на портрет на стене. Потом на меня. Потом кивнула.

Я взяла часы. Без платка. Этим — можно было.

Зал. Большой, высокий, с колоннами, с витражами в окнах — шестерёнки и молотки, цветное стекло. Длинный стол. За столом — человек. Немолодой, грузный, с тяжёлым квадратным лицом и короткой седой бородой. Гильдейская цепь на груди — массивная, золотая, звено к звену, — и на каждом звене маленький молоточек.

Я стою перед столом. Я — не я. Я — мужчина с густыми бровями и мягкой бородой. У меня в кармане тикают часы. Мои часы. Тридцать лет.

— Ты отказываешься? — говорит человек за столом.

— Отказываюсь.

— Это заказ Гильдии, Рон. Это не просьба.

— Это запрещено, Зольт. Пятьдесят лет. Мы все клялись. Ты тоже.

— Клятвы, — человек за столом машет рукой. — Клятвы давали наши деды. Времена меняются. Клиент щедр. Клиент очень щедр. И цель у него благородная. Он не будет использовать это на людях. Только на вещах.

— На вещах, — говорю я. — А у вещей есть хозяева. Ты знаешь, как это работает. Тянешь из вещи — тянешь из того, кто её помнит. Это не инструмент. Это вор. Он ворует не вещи. Он ворует людей.

В углу зала, в тени у колонны, — ещё кто-то. Я не вижу лица. Только руку на набалдашнике трости. Крупную руку. На мизинце — перстень. Тёмный камень. Птица.

— Последний раз спрашиваю, Рон.

— Нет.

Человек за столом медленно встаёт. Цепь на его груди звякает.

— Тогда ты больше не мастер, — говорит он.

И часы у меня в кармане — тикающие тридцать лет — замолкают.

Я открыла глаза. Часы лежали у меня на ладони. Стрелки — двадцать минут третьего. Крови не было. Только в груди было тяжело, как бывает, когда долго держишь что-то и не можешь положить.

Элиза смотрела на меня. Не дыша.

— Он отказался. Зольт заказал ему иглу для экстрактора. Для клиента. Твой отец сказал: «Это не инструмент. Это вор. Он ворует людей». И отказался. Зольт сказал: «Тогда ты больше не мастер». И часы остановились.

Элиза не шевелилась.

— Его не исключили за что-то плохое. Его исключили за то, что он был честным.

Слёзы, которые стояли у неё в глазах с самой мастерской, наконец упали. Одна. Потом другая. Потом она закрыла лицо руками и согнулась на краю кровати, и плечи у неё затряслись.

Но звук, который она издавала, был не плачем. Вернее, не только плачем. Она смеялась. Сквозь слёзы, сквозь пальцы, взхлёб, — как смеются люди, с которых наконец сняли что-то очень тяжёлое.

— Я знала! — говорила она в ладони. — Я знала, знала, знала! Мама говорила — не может быть, чтобы просто так. А все говорили — значит, было за что. Гильдия просто так не исключает. А я знала! Он не мог! Он не мог сделать ничего плохого! Он мне паяльник давал держать, когда мне четыре было, и говорил: «Элиза, металл не врёт, и мастер не должен»!

Мира, стоявшая в дверях, вытерла нос рукавом.

Я положила часы обратно в шкатулку. Элиза вдруг перестала смеяться, отняла руки от лица, посмотрела на них. На часы.

Протянула руку. Взяла.

Пальцы не дрожали. Крышка открылась — с тихим, чистым щелчком, будто её открывали каждый день. Элиза посмотрела на механизм. Хмыкнула. Шмыгнула носом.

— Пружина, — сказала она хрипло. — Пружина лопнула. Двадцать лет. Ерунда. На полчаса работы.

Она встала. Утёрла лицо рукавом, размазав машинное масло по щеке. И пошла вниз, в мастерскую, держа отцовские часы в ладони, как держат птенца.

Через полчаса, когда мы с Мирой спустились следом, она сидела за верстаком под лупой, и в механизме уже стояла новая пружина. Элиза держала часы у уха.

Тик.

Так.

Она закрыла глаза. И начала напевать. Тихо, почти беззвучно. Про моряка. Про пастушку и волка. Про лудильщика, который сорок лет искал жену.

* * *

Адриан выслушал всё молча.

Он пришёл в мастерскую к вечеру — я написала ему на доске одно слово, «Элиза», и он появился через сорок минут, с Барро, который на этот раз был в правильно застёгнутом мундире и с котелком правильной стороной. Барро, увидев Элизу, снял котелок и прижал его к груди. Элиза, увидев Барро, вспомнила, что у неё масло на щеке, и попыталась его стереть, и размазала ещё больше. Барро улыбнулся так, что у него ямочка на подбородке стала вдвое глубже.

— Мастерская номер четырнадцать, — произнес Адриан, когда я закончила. Он стоял у верстака, разглядывая иглу в лупу, засунув руки в карманы пальто. — Гильдмейстер Зольт.

— И клиент с перстнем, — добавила я. — Двадцать лет назад.

— Видение, — он не обернулся. — Видение, которое вы получили от часов покойного мастера Рона. Через двадцать лет. Без свидетелей.

— Я зарегистрирована. Мои видения — показания.

— Иногда. Иногда, Вера. Когда суд согласится их принять. А судья Варен, который будет вести дело, — член того же клуба, что и Зольт. И Марро. — Он выпрямился, — видения — это хорошо. Но этого мало. Мне нужны бумаги.

— Какие?

— Любые. Счета. Заказы. Накладные. Квитанции. Что-нибудь, где Зольт пишет своей рукой: «Сделал то-то для того-то за столько-то», — он посмотрел на Элизу. — Лунное серебро. Вы сказали, его делают только в двух местах.

— На королевском монетном дворе и в Гильдии, — Элиза кивнула. — И продают только по особому разрешению. Каждый грамм учитывается. Гильдия ведёт книгу. Кто сколько купил, на что, когда. Это закон.

— Книга, — сказал Адриан.

— Книга закупок и расхода, — подхватила Элиза. — Она хранится в канцелярии Гильдии. В шкафу. Под ключом. Доступ имеют гильдмейстер, казначей и... — она запнулась. — И любой мастер, подающий прошение о закупке. Он имеет право посмотреть остаток. Чтобы знать, есть ли металл.

— Любой мастер, — повторила я.

— Я не мастер. У меня нет лицензии.

— Но ты можешь подать прошение о лицензии, — ответила я медленно. — Снова. Да? Ещё раз. Повторно.

Элиза моргнула.

— Могу. Наверное. Я подавала три раза. Мне отказывали.

— А при подаче прошения ты имеешь право, — я посмотрела на Адриана, — ознакомиться с документами Гильдии, относящимися к делу твоего ученичества? Например, с записями об исключении твоего отца? И о том, какие заказы он выполнял до исключения?

Адриан посмотрел на меня. Долго. Потом медленно вынул руки из карманов.

— Вера, откуда вы это знаете?

— Я не знаю, — я пожала плечами. — Я предполагаю. Там, откуда я пришла, у любого человека, в отношении которого организация приняла решение, есть право ознакомиться с материалами. Это называется... неважно, как это называется. Но если здесь так же...

— Так же, — ответила Элиза. Глаза у неё снова начали наполняться — но теперь не слезами. Чем-то другим. Огнём. — Устав Гильдии, параграф девятнадцатый. Соискатель имеет право ознакомиться с записями, касающимися его наставника. Папа мне читал Устав. Целиком. Вслух. На ночь. Вместо сказок.

Барро издал звук, похожий на сдавленный смех. Элиза посмотрела на него. Он сразу перестал.

— Я не могу пойти с вами, — сказал Адриан. — Если дознаватель Управления придёт в Гильдию без ордера и начнёт рыться в книгах, Зольт пожалуется Оберу через час. И будет прав.

— Ты и не пойдёшь, — ответила я. — Пойдём мы. Соискательница лицензии и её оценщица. Зарегистрированная. С правом давать заключения о подлинности документов.

— У вас нет права давать заключения о подлинности документов. Только предметов.

— Книга — это предмет.

Адриан открыл рот. Закрыл. Посмотрел на Барро. Барро смотрел на меня с выражением глубокого, почти религиозного восхищения.

— Шеф, — произнес Барро. — Она права. Книга — это предмет.

— Барро.

— Молчу, шеф.

* * *

Гильдия артефакторов занимала старое, тяжёлое, кирпичное здание в конце Медного квартала, с высокой башней, на которой висели огромные часы с бронзовыми стрелками.

Внутри было шумно, жарко и пахло всем, чем пахнет в мастерских, — раскалённым металлом, кислотой, маслом, — только сильнее, гуще, будто здесь варили эти запахи нарочно.

В канцелярию нас пропустили не сразу. Сначала Элиза сорок минут стояла в очереди к секретарю — худому, желчному человеку в нарукавниках, удивительно похожему на господина Пима, только моложе и злее. Потом секретарь сорок секунд смотрел на её прошение и сказал: «Опять вы?». Потом Элиза сказала про параграф девятнадцатый. Секретарь сказал, что впервые слышит. Элиза достала из сумки Устав Гильдии — потрёпанную книжечку в кожаном переплёте, с отцовскими пометками на полях, — открыла на нужной странице и положила перед ним. Секретарь прочитал. Побледнел. Сказал, что должен спросить гильдмейстера.

— Гильдмейстер на заседании совета, — произнес он, вернувшись через десять минут. — До вечера. Без него я не могу...

— Параграф девятнадцатый не требует присутствия гильдмейстера, — возразила Элиза. — Он требует присутствия секретаря. Вы — секретарь.

Секретарь посмотрел на неё. Потом на меня. Я стояла рядом с Элизой в зелёном платье, с гильдейской бумагой оценщиков в руке, и смотрела на него тем самым взглядом — которым смотрела на продавца башмаков на рынке.

— А это кто? — спросил он.

— Оценщица. Зарегистрированная. Мне поручено засвидетельствовать подлинность записей.

— Кем поручено?

— Соискательницей.

Секретарь открыл рот, чтобы сказать что-то ещё. Посмотрел на Устав. На параграф девятнадцатый. На отцовские пометки на полях — мелкие, аккуратные, с восклицательными знаками. Закрыв рот.

И повёл нас в канцелярию.

* * *

Книга закупок и расхода лунного серебра оказалась тонкой. Это было первое, что меня удивило. Я ожидала гроссбуха — толстого, как мой, с медными уголками. А это была узкая длинная тетрадь в тёмно-синем переплёте, страниц на сто, на треть исписанная. Металл действительно был редким. Записей было мало — по три-четыре в год, иногда ни одной.

Секретарь положил книгу на стол и стоял рядом, скрестив руки на груди, не сводя с нас глаз. Элиза, как и полагалось по параграфу девятнадцатому, сначала попросила записи о своём отце. Секретарь принёс отдельную папку. Элиза читала её — медленно, бледнея и краснея поочерёдно. «Мастер Рон. Исключён решением совета Гильдии по представлению гильдмейстера Зольта. Основание: неисполнение заказа Гильдии. Характер заказа: не указан».

— «Не указан», — повторила она шёпотом.

А я тем временем листала синюю тетрадь.

Я делала это медленно. Не потому, что не понимала — цифры были цифрами в любом мире, а почерк, хоть и разный, был разборчив. А потому, что я читала её так, как читала бы любой документ, который мне принесли на экспертизу. Не только текст. Бумагу. Чернила. Нажим пера. Расположение строк. Поля. Клякса. Подчистки.

Записи шли по годам. Двадцать восемь лет назад — Гильдия закупила на монетном дворе двести граммов лунного серебра. Расход: столько-то на мастерскую номер три, столько-то на номер семь, столько-то на номер девять. Всё сходилось — остаток в конце года совпадал с остатком в начале следующего.

Двадцать один год назад — то же самое. Сходилось.

Двадцать лет назад...

Я остановилась. Придвинула тетрадь ближе к окну.

Двадцать лет назад — закупка: триста граммов. Больше обычного. Расход: мастерская номер три — двадцать граммов. Номер семь — тридцать. Номер четырнадцать — двести сорок.

Двести сорок граммов. Гильдмейстерская мастерская.

Назначение: «Изготовление образцов для учебной коллекции».

Я посмотрела на эту строчку. Потом на соседние. Потом снова на неё.

Чернила были другие. Чуть темнее. Почти незаметно — но я восемь лет смотрела на чернила в лупу и знала, как выглядит запись, сделанная тем же пером в тот же день, и как выглядит запись, вписанная позже на оставленное место. Строчка про «учебную коллекцию» была вписана позже. Не сильно позже — может быть, через месяц, через два. Но позже. Буквы стояли чуть теснее, чем в соседних строчках, будто писавший старался уместиться в отведённое пространство. А под словом «образцов» бумага была чуть шершавее. Подчистка. Аккуратная, ножом, — но подчистка. Там раньше было другое слово.

Я перелистнула дальше. Девятнадцать лет назад — ничего. Восемнадцать — небольшая закупка, всё сходится. Семнадцать... пятнадцать... Ровно, аккуратно, мало.

Четырнадцать месяцев назад — закупка: сто граммов. Расход: мастерская номер четырнадцать — сто граммов. Назначение: «Ремонт учебной коллекции».

Почерк — тот же, что в подчищенной строчке двадцатилетней давности. Квадратный, тяжёлый, с сильным нажимом. Подпись под записью: «Зольт, гильдмейстер».

Четырнадцать месяцев назад. Ливия Марро начала забывать чуть больше года назад.

— Сударь, — обратилась я к секретарю, не поднимая головы. — У Гильдии есть учебная коллекция?

Он моргнул.

— Есть. В малом зале. Образцы для учеников. Старые инструменты, механизмы. А что?

— В ней есть что-нибудь из лунного серебра?

— Нет, конечно, — секретарь даже фыркнул. — Лунное серебро на учебные образцы? Его же по граммам считают. Кто ж его на учеников тратить будет?

— Спасибо.

Я достала из сумки лист обёрточной бумаги — серой, той самой, из-под прилавка, — и огрызок карандаша. И начала переписывать. Дословно. Цифры, даты, назначения, подписи. Двадцать лет назад: триста граммов, двести сорок — на номер четырнадцать, «учебная коллекция», подчистка под словом «образцов». Четырнадцать месяцев назад: сто граммов, всё — на номер четырнадцать, «ремонт учебной коллекции». Подпись Зольта.

— Что вы делаете? — секретарь шагнул вперёд. — Вы не имеете права переписывать...

— Параграф девятнадцатый, — произнесла Элиза, не поднимая головы от папки отца. — «Соискатель и его доверенные лица имеют право снимать копии с документов, касающихся дела». Папа мне читал.

— Это не касается дела!

— Касается, — отрезала я. — Мастер Рон был исключён за неисполнение заказа Гильдии. Характер заказа не указан. Двадцать лет назад, в тот же год, когда его исключили, мастерская гильдмейстера получила двести сорок граммов лунного серебра на изготовление учебных образцов, которых в учебной коллекции нет. Я полагаю, это касается дела.

Секретарь открыл рот. И закрыл.

— Вам придётся подождать гильдмейстера, — сказал он наконец. Голос у него стал выше на полтона.

— Мы подождём, — сказала Элиза.

Мы не успели. Гильдмейстер пришёл сам.

* * *

Он стоял в дверях канцелярии — грузный, тяжёлый, с квадратным лицом и короткой седой бородой. Гильдейская цепь — массивная, золотая, звено к звену, с молоточками — лежала у него на груди, как на быке ярмо. Я узнала его сразу. Я видела его час назад. В часах. За длинным столом в зале с витражами.

— Что здесь происходит? — спросил он. Голос был низкий, гулкий, как из бочки.

Секретарь пролепетал что-то про параграф девятнадцатый. Зольт не слушал. Он смотрел на Элизу. Потом — на синюю тетрадь, раскрытую передо мной. Потом — на лист обёрточной бумаги, на котором я переписывала цифры.

Его лицо не изменилось. Только шея над воротником налилась кровью, медленно, снизу вверх.

— Рон. Дочь.

— Да, — сказала Элиза. Она встала. Она была почти одного с ним роста — высокая, крепкая, с медовыми кудрями под косынкой, с маслом на щеке. — Дочь.

— Ты подаёшь прошение. Четвёртый раз.

— Да.

— Тебе отказано. Решение совета.

— Я знаю. Я пришла ознакомиться с делом отца. Параграф девятнадцатый.

— Ознакомились?

— Ознакомились.

Зольт шагнул в канцелярию. Подошёл к столу. Протянул руку к синей тетради. Я не отёрнула её. Я просто положила на неё ладонь. Сверху.

Он посмотрел на мою руку. Потом на меня.

— Кто вы?

— Вера Соколова. Оценщица. Зарегистрирована в Гильдии оценщиков в этом месяце.

— Оценщица, — повторил он медленно. — Вы оцениваете вещи. Не книги.

— Книга — это предмет.

Зольт смотрел на меня. Маленькие тёмные глаза под тяжёлыми веками. Я выдержала взгляд. Я выдерживала взгляды коллекционеров восемь лет. Этот был тяжелее. Но не намного.

— Мой отец, — произнесла Элиза у него за спиной. — Отказался.

Зольт медленно обернулся.

— Он отказался, — повторила Элиза. Голос у неё дрожал, но она не останавливалась. — Двадцать лет назад вы заказали ему иглу для экстрактора. Для клиента. Он сказал, что это не инструмент, а вор. И отказался. А вы — нет. Вы сделали её сами. В своей мастерской. Из лунного серебра, которое записали на учебную коллекцию. Которой нет. А потом сделали ещё. Четырнадцать месяцев назад. Ремонт. Чего ремонт? Чего?

— Ты не знаешь, о чём говоришь, девочка.

— Знаю! — Элиза шагнула к нему. — Знаю! Папины часы мне рассказали! Они остановились, когда вы его выгнали! Двадцать лет стояли! А сегодня пошли!

Она вытащила часы из кармана фартука. Серебряные, простые, без гравировки. Подняла их на ладони так, чтобы он видел.

Тик. Так. Тик. Так.

Зольт смотрел на часы. И что-то случилось с его лицом. Кровь, которая поднималась по шее, вдруг отхлынула. Разом. Лицо стало серым, как его борода.

— Часы Рона, — сказал он глухо.

— Часы Рона.

— Они... остановились?

— Двадцать минут третьего. Двадцать лет назад. В тот момент, когда вы сказали: «Тогда ты больше не мастер».

Зольт повернулся ко мне. Медленно. Как поворачивается тяжёлая дверь на ржавых петлях.

— Вы не могли этого знать.

— Я оценщица. С даром. Зарегистрированным. Я знаю, что помнят вещи.

В канцелярии было очень тихо. Секретарь у стены, кажется, перестал дышать. Где-то за окном, на башне, огромные часы с бронзовыми стрелками пробили пять.

Зольт отступил от стола. На шаг. На два.

— Убирайтесь, — сказал он. Голос был тихий, сиплый, совсем не из бочки. — Обе. Сейчас же. Прощение отклонено.

— На каком основании? — спросила Элиза.

— Убирайтесь!

Я сложила лист обёрточной бумаги вчетверо и убрала в карман платья. Медленно. Рядом с грифельной доской. Закрыла синюю тетрадь. Подвинула её секретарю.

— Благодарю вас, сударь. Вы очень помогли.

Секретарь посмотрел на меня с ужасом.

Мы вышли. Элиза — первой, прямая, с часами в руке. Я — следом. На пороге я обернулась.

Зольт стоял у стола, опираясь на него обеими руками, — так же, как Адриан опирался на свой, когда я рассказывала про зеркало. Но у Адриана тогда было каменное лицо. А у Зольта лицо было серым и мокрым, и цепь с молоточками висела на груди так, будто тянула его вниз, к полу.

— Он знал, — произнес Зольт. Не нам. Себе. — Рон всегда знал. Всегда.

* * *

Зольта арестовали через три дня.

Не за экстрактор. За хищение лунного серебра — двести сорок граммов двадцать лет назад и сто граммов четырнадцать месяцев назад, «использованных не по назначению». Адриан принёс мою копию записей в Управление, а Барро — «по чистому совпадению, шеф, мы просто проходили мимо» — принёс в Гильдию запрос на проверку учебной коллекции. Учебной коллекции из лунного серебра не нашлось. Зольт не смог объяснить, куда делся металл. На допросе он молчал. Два дня. На третий — потребовал адвоката и сказал только одно:

«Клиента я никогда не видел. Заказы приходили через посредника. Платили серебром».

— Он врёт, — сказала я, когда Адриан рассказал мне об этом вечером в лавке. — Я видела. В часах. Клиент был в зале. У колонны. С тростью. С перстнем.

— Я знаю, — ответил Адриан. Он сидел на табуретке — ровной, правильной — и пил кофе. Мой. Из Агатиной банки. Банка за неделю опустела наполовину. — Вы видели перстень. Птицу. Не лицо.

— Птица с весами. Это герб Марро.

— Герб Марро, — согласился он. — И герб ещё трёх семей, которые когда-то были с ним в родстве. И знак Гильдии торговцев, у которой похожий значок. И вывеска таверны «Честные весы» на Рыбном рынке, если уж на то пошло.

— Адриан.

— Вера, — он поставил чашку. — Комиссар Обер вызывал меня сегодня утром.

Я замолчала.

— Он поздравил меня с арестом Зольта, — продолжил Адриан ровным голосом. — Сказал, что это хорошая работа. Сказал, что Гильдия давно нуждалась в чистке. Сказал, что лунное серебро — серьёзное дело, — он помолчал. — А потом сказал: «Кальве, если ты ещё раз хотя бы подумаешь о господине Марро без железных доказательств — не видений, не перчаток, не совпадений, а железных, — я отстраню тебя от дела. И от службы. Господин Марро

был у меня вчера. Он очень расстроен. Он говорит, что ты преследуешь его семью из личной неприязни. Он говорит, у тебя роман с женщиной, которая хочет отомстить ему за то, что он пытался купить её лавку».

— Роман, — повторила я.

— Роман.

— Откуда он...

— Кожевенная. Прачечная. Тётка дежурного. Фата, — он посмотрел на меня. — Весь город знает, что мы помолвлены, Вера. Кроме нас.

Я хотела засмеяться. Не получилось. Получился какой-то звук, похожий на кашель.

— Что вы ему сказали? — спросила я.

— Обер? Что это недоразумение.

— Он поверил?

— Нет, — Адриан встал. Подошёл к окну. Посмотрел на улицу, где в «Половинке луны» горел свет, а в мастерской Элизы что-то тихо и ритмично звякало, и слышалось пение — про моряка, про пастушку, про лудильщика. — Он сказал, что я покраснел.

— Вы не краснеете. Физиологически невозможно.

— Вот и я так сказал, — он не обернулся. — Он сказал, что это видно по ушам.

Я посмотрела на его уши. В свете лампы-светляка они были... да. Немного розовее, чем обычно.

Я ничего не сказала. Он тоже.

Мы стояли так — он у окна, я у прилавка, — пока часы в углу не пробili девять. Потом он ушёл. Пообещав, как всегда, что придёт починить полку в углу. И дверцу под лестницей. И что-то ещё, что я не расслышала.

А утром на прилавке лежала записка. Не на грифельной доске — на плотной бумаге, с тиснёным гербом. Птица с весами. Почерк — крупный, уверенный, красивый.

«Сударыня Соколова. Я слышал о ночном происшествии в вашей лавке. Ужасно. Надеюсь, вы не пострадали. Я также слышал о гильдмейстере Зольте. Какой скандал. Кто бы мог подумать. Моё предложение остаётся в силе. Но, как вы понимаете, не навечно. До Чёрной Луны — двадцать четыре дня. Ваш А. М.».

Я долго смотрела на эту записку. Потом взяла её двумя пальцами — через платок, по привычке, хотя никакой памяти в ней не было, только свежие чернила и дорогая бумага, — и отнесла наверх. Положила в ящик тумбочки. Рядом с Агатиными очками и пакетиком сушёных яблок.

На всякий случай. Документы — это доказательства. Даже если они ничего не доказывают.

Пока.

Глава 18. Музыкальная шкатулка

Она заиграла в половине четвёртого ночи.

Я не спала. Я теперь вообще плохо спала — после той ночи, после пуговиц на полу и иглы у виска. Лежала, смотрела в потолок, слушала, как тикают внизу часы, как скрипит под ветром яблоня во дворе, как Мира на третьем этаже ворочается во сне и бормочет что-то про марки. Элиза поставила на заднюю дверь новый замок — с секретом, с пружиной, с колокольчиком, — и он действительно был такой, что его не открыл бы и король. Я проверяла. Три раза. Каждую ночь.

В половине четвёртого внизу, в лавке, зазвучала музыка.

Тихая. Тоненькая. Металлическая, как капли, падающие на жёсть. Пять нот вверх, три вниз, пауза, — и снова. Медленно, плавно, с той особенной чуть сбивающейся интонацией, которая бывает у старых механизмов, когда пружина уже не так туго натянута.

Я села на кровати.

Я знала эту мелодию. Я не слышала её двадцать восемь лет — и знала. Так знают запах дома, в который вернулись после долгой дороги. Не головой. Телом. Кожей. Пять нот вверх, три вниз. Тёплое, коричневое. Руки, расчёсывающие волосы. Песня на незнакомом языке, которую мама пела под эту музыку, — тихо, почти шёпотом, — пока фигурка под крышечкой кружилась, кружилась, кружилась...

С перил лестницы за дверью раздался голос Гортензии. Сдавленный, хриплый, не похожий ни на один из её голосов:

— Играет. Милочка. Она играет.

Я спустилась. Не помню как. Третья ступенька, пятая, седьмая — они, кажется, все промолчали.

* * *

Шкатулка стояла на прилавке. Посередине, на раскрытом грессбухе, как письмо Тобиаса. Как лошадка.

Небольшая — с две моих ладони. Ореховое дерево, тёмное, тёплое, отполированное множеством прикосновений до глубокого блеска. На крышке — инкрустация перламутром: три луны. Полная, серп, круг. Перламутр переливался в свете лунных лучей из витрины — розовым, голубым, зелёным. Чёрная луна была сделана из чего-то тёмного, почти чёрного, — эбенового дерева, наверное, — вставленного в перламутровый ободок.

Сбоку, в маленьком отверстии, — ключик. Латунный, крошечный, с головкой в виде... Я наклонилась. С головкой в виде трёх лун, сплетённых в кольцо.

Крышка была закрыта. Но шкатулка играла. Сама. Пять нот вверх, три вниз. Медленно, затихая.

К ключику была привязана бирка.

Шкатулка музыкальная. Забыта той, что забывает себя. Ждёт ту, что помнит.

«Той, что забывает себя». Как кольцо. Тот же почерк. Те же слова.

Ливия Марро.

Музыка затихла. Последняя нота повисла в воздухе — тонкая, металлическая, — и растворилась.

В лавке стало очень тихо. Гортензия сидела на перилах, не шевелясь. Часы в углу тикали.

Я стояла перед прилавком и не могла протянуть руку.

* * *

Я написала Адриану. Два слова. Пришла шкатулка. Мел выскальзывал из пальцев.

Ответ пришёл через несколько секунд.

Еду.

Потом — ничего. Я положила доску на прилавок. Села на табуретку. Смотрела на шкатулку.

Я не трогала её. Я боялась. Не того, что будет кровь из носа или что я увижу что-то страшное. Я боялась другого. Что я её возьму — и ничего не почувствую. Что это просто шкатулка, похожая. Что я придумала. Что мелодия — просто мелодия, каких тысячи, а я, сорок минут назад проснувшись в чужом мире, ухватилась за неё, как утопающий хватается за обломок доски.

Или что я её возьму — и почувствую всё.

Я не знала, что страшнее.

Адриан пришёл через двадцать минут. Он не постучал — я открыла дверь, когда услышала его шаги на брусчатке. Он вошёл, не снимая пальто. Посмотрел на шкатулку. Посмотрел на меня.

Ничего не сказал. Прошёл к лестнице и сел на нижнюю ступеньку. Сложил руки на коленях. И стал ждать.

Я не попросила его уйти. Он не спросил, нужно ли ему остаться.

Я протянула руку и взяла шкатулку.

* * *

Тепло.

Не так, как от лошадки. Не так, как от напёрстка или медальона Дарии. Это было тепло живого — как будто я взяла в ладони не дерево, а птицу. Маленькую, испуганную, с колотящимся сердцем. Шкатулка дрожала у меня в руках. Или это дрожали руки.

И сразу — слои. Как в платье Жозефины, где сверху был сегодняшний бег по траве, а под ним — бабушкина деревенская часовня. Здесь слоёв было много. Очень много. Как листов в книге.

Сверху — недавнее. Совсем свежее. Спальня, светлая, с голубыми шторами. Женщина у окна, светловолосая, с проседью, в домашнем платье. Ливия. Она держит шкатулку на коленях. Смотрит на неё. Гладит перламутровые луны пальцем. «Чья ты? — шепчет она. — Чья ты? Я помню, что обещала. Я помню, что обещала кому-то. Кому? Кому я обещала?» Слёзы каплют на крышку. Она ставит шкатулку на подоконник. Отворачивается. И забывает — ещё не дойдя до кровати.

Глубже.

Зимний сад. Стеклянная крыша, пальмы в кадках, плетёные кресла. Две женщины за столиком. Одна — Ливия, моложе, здоровая, смеющаяся. Вторая...

Вторая — темноволосая. Худая. С тонким лицом и большими тёмными глазами. С двумя выющимися прядями у висков, которые выбиваются из узла на затылке. В тёмном платье. Шкатулка стоит на столике перед ней. Закрытая. Она не открывает её — просто держит на ней руку. Как держат руку на плече у ребёнка.

«Ирэна, может, хватит? — говорит Ливия. — Может, это невозможно?»

«Нет, — говорит темноволосая. Голос — низкий, мягкий, с перекатами. Тот самый. Тот самый голос. — Нет, Ливи. Я найду. Я обещала».

Я задохнулась. Я держала шкатулку и не могла дышать. Это был её голос. Не чужой, не похожий — её. Я узнала его, как узнаёшь собственное отражение.

Глубже. Ещё глубже.

Комната на третьем этаже. Окно во двор, яблоня — молодая, тоньше, чем сейчас. Кровать с резными столбиками. Она сидит на кровати, в ночной рубашке, с распущенными волосами. Шкатулка — на коленях. Ключик — в пальцах. Она заводит его. Раз, два, три. Пять нот вверх, три вниз. Она закрывает глаза и поёт. Тихо, почти шёпотом. Песню на языке, который я теперь понимала.

Спи, моя луна, спи, моё серебро. Что было — то было, что будет — добро. Пусть дорога длинна, пусть темна, далека, — Я найду тебя, слышишь? Держи мою руку пока.

Потом она открывает глаза, встаёт, берёт шкатулку и идёт вниз. По лестнице — третья ступенька скрипит, пятая тоже, седьмая фыркает, совсем как сейчас. В лавку. Мимо полок. К двери в подвал. Дубовой, кованой, с серебряным кругом посередине.

Она стоит перед ней. Прижимает шкатулку к серебряному кругу. Поворачивает ключик. Музыка. Пять нот вверх, три вниз.

Ничего.

Она стоит. Ждёт. Поворачивает ключик снова.

Ничего.

Она опускается на колени. Прижимается лбом к двери. Плечи её трясутся. Без звука. Она плачет без звука, как плачут люди, которые слишком долго плачут каждую ночь.

«Почему? — шепчет она. — Почему не открываешься? Я же помню. Я помню её. Каждый день. Каждую минуту. Почему?»

Глубже.

Я падала сквозь годы, как сквозь страницы книги. Комната на третьем этаже — зима, лето, зима. Лавка — она за прилавком, рядом с молодой ещё Агатой, раскладывает перчатки. «Чайная Марты» — она смеётся, громко, запрокинув голову, и Марта, совсем ещё не седая, ворчит на неё. Улица — она идёт по брусчатке под дождём, без зонта, с непокрытой головой. Каждую ночь — дверь в подвал. Шкатулка. Ключик. Музыка. Ничего.

Год за годом. Год за годом.

И ещё глубже.

Я падала, и меня затягивало, как в воронку, всё быстрее, всё глубже, — и я уже не держалась за края, не пыталась выбраться, я просто летела, потому что там, на дне, было что-то, что я должна была увидеть. Что-то, без чего я бы не простила себя никогда...

Кухня. Маленькая, тесная, с жёлтыми обоями в мелкий цветочек. Газовая плита. Холодильник «ЗИЛ» с облупившейся ручкой. Окно, за которым — серый двор-колодец, и с подоконника видна крыша соседнего дома с антенной.

Это была кухня. Моя кухня. Бабушкина. На Лиговском.

Она стоит у окна. В пальто, с сумкой через плечо. Шкатулка — в сумке, я чувствую её через ткань. В руке у неё — письмо. Плотная бумага, сургуч. Три луны.

За столом — бабушка. Антонина Петровна. Ещё не старая, полная, в цветастом халате, с бигуди под косынкой. Смотрит на письмо. На неё.

«Ира, ты с ума сошла».

«Мама умирает, Антонина Петровна. Моя мама. Там. Мне написали. Я должна её увидеть. Хотя бы проститься».

«А Верочка?»

«Три дня. Всего три дня. Дверь открывается в Чёрную Луну, я пройду, а через три дня, в следующую полночь, вернусь. Так всегда было. Улица отпускает своих».

«А если не вернёшься?»

Пауза. Она смотрит в окно. Во двор-колодец. На кусок неба между крышами.

«Вернусь», — говорит она.

И потом — детская. Маленькая, с обоями в зайчиках. Кроватка. В кроватке — девочка. Пять лет. Тёмные волосы разметались по подушке. Спит. Сопит. Обнимает плюшевого медведя без одного уха.

Она стоит над кроваткой. Долго. Очень долго. Потом наклоняется. Целует девочку в лоб. В висок. В макушку. Шепчет:

«Три дня, моё серебро. Три дня. Держи мою руку пока».

Девочка во сне протягивает руку. Сжимает её палец. Отпускает.

Она выпрямляется. Отходит к двери. Оборачивается. Смотрит.
И уходит.

* * *

— Вера.

Голос был далеко. Очень далеко. За много комнат отсюда.

— Вера. Вера, отпустите. Отпустите её.

Руки. Тёплые. На моих руках. Разжимающие мои пальцы — по одному, осторожно, как отцепляют кружево от шпильки.

Я открыла глаза.

Я сидела на полу. Опять. Прислонившись спиной к прилавку. Шкатулка лежала у меня на коленях. Адриан стоял передо мной на коленях и держал мои руки в своих — и разжимал пальцы, которыми я вцепилась в ореховое дерево так, что побелели костяшки.

Крови не было. Я заметила это с каким-то тупым удивлением. Ни капли. Только лицо было мокрым — всё, от лба до подбородка, будто я стояла под дождём. И в горле было больно, как после крика. Может быть, я кричала. Я не знала.

— Она не ушла.

Голос был чужой, сиплый.

— Вера...

— Она не ушла от меня, — я смотрела на него и не видела. Я видела детскую с обоями в зайчиках. — У неё умирала мать. Здесь. Ей пришло письмо. Как мне. Она пошла проститься. На три дня. Она сказала бабушке — три дня. Она сказала мне — три дня. Она поцеловала меня. Она сказала «держи мою руку пока». А я... я взяла её за палец. Во сне. Я не помню. Я не помню этого, Адриан. А она помнила.

Он ничего не сказал. Он держал мои руки.

— И не смогла вернуться, — я говорила, и голос мой становился всё тише, всё ровнее, как будто я читала протокол. — Улица отпускает своих. Один раз. Она уже ушла один раз, когда молодая была. Когда встретила папу. Второй раз — нельзя. Она не знала. Или знала, но думала... Не знаю, что думала. Она пришла сюда, мать умерла, она пошла в Чёрную Луну к двери — и дверь не открылась. И она осталась. Здесь. Двадцать лет. Каждую ночь — к подвалу. Со шкатулкой. Каждую ночь — ничего.

— Вера.

— Каждую ночь, Адриан. Двадцать лет. Я видела. Она стояла на коленях перед этой дверью и плакала. Без звука. Каждую ночь. А я... — голос сломался. — А я восемь лет злилась на неё. Каждый день. Я говорила бабушке, что мне всё равно, где она живёт. Я говорила, что у меня нет матери. Я выкинула... Я выкинула все её вещи, которые оставались. Платок. Гребень. Варежки. Я выкинула их в двенадцать лет. В мусоропровод. Я сказала: она меня бросила, и я её брошу.

Он отпустил мои руки. И обнял меня.

Не так, как той ночью — резко, сразу, как будто вытаскивал из огня. Медленно. Осторожно. Как берут в руки вещь, о которой знают, что она может рассыпаться. Притянул к себе, вместе со шкатулкой, которая так и осталась у меня на коленях, — и держал.

Я не плакала. Я уже, кажется, всё выплакала, пока была там, внутри. Я просто сидела, уткнувшись лицом ему в пальто, и дышала. Пальто пахло ночным ветром, горелым кофе и хвойным мылом. Его сердце билось под моей щекой — ровно, глубоко, медленно. Я считала удары. Сбивалась. Начинала снова.

Гортензия на перилах не издала ни звука.

* * *

Не знаю, сколько прошло. Часы пробили пять. Потом половину шестого. За окном посерело.

Я отстранилась. Адриан отпустил — сразу, не удерживая. Остался сидеть рядом, на полу, плечом к моему плечу.

Я посмотрела на шкатулку.

Ореховое дерево. Перламутровые луны. Ключик с головкой в виде трёх сплетённых лун.

— Я хочу её открыть.

— Вы уверены?

— Нет.

Он кивнул. Будто это был правильный ответ.

Я подняла крышку.

Внутри был бархат — тёмно-синий, вытертый до блеска по краям. Маленькое круглое углубление посередине, а над ним, на тонком латунном стерженьке, — фигурка. Крошечная, с мизинец. Женщина в длинном плаще с капюшоном, с фонарём в вытянутой руке. Странница. Капюшон откинут, видно лицо — совсем маленькое, неразличимое, просто овал с точками глаз. Фонарь — из какого-то прозрачного камня, крошечного, с булавочную головку.

А на внутренней стороне крышки было приклеено что-то. Маленький прямоугольник. Плотная бумага с белой зубчатой каймой.

Фотография.

Чёрно-белая, выцветшая, потрескавшаяся в углах. На ней — женщина. Темноволосая, худая, с тонким лицом и большими тёмными глазами. С двумя выющимися прядями у висков. Она сидит на скамейке — я узнала скамейку, это был Таврический сад, у пруда, там такие скамейки с чугунными подлокотниками, — и держит на коленях девочку. Лет четырёх. Тоже темноволосую. В вязаной шапке с помпоном. Девочка смеётся, запрокинув голову, а женщина смотрит не в объектив, а на неё. Сверху вниз. С таким лицом...

Я никогда не видела, чтобы кто-нибудь так на меня смотрел.

«Не фотографировалась она. Не любила».

Одна. Одна фотография. И она взяла её с собой. Сюда. В мир, где нет фотографий. И приклеила в шкатулку, рядом с фигуркой странницы с фонарём. Чтобы каждый вечер, заводя ключик, видеть.

Я смотрела на её лицо.

Теперь я знала, как она выглядела.

И теперь я знала, как выглядела я. Тогда. На её коленях. Когда кто-то смотрел на меня так.

* * *

Двойное дно я нашла не сразу.

Адриан ушёл в начале седьмого — его ждали в Управлении, Зольта переводили в городскую тюрьму. Он не хотел уходить. Он стоял у двери и смотрел на меня, и я видела, что не хочет. Я сказала: «Иди». Он сказал: «Я вернусь вечером». Я сказала: «Я знаю». Он ушёл.

Марта пришла в половине восьмого. С подносом. Увидела меня — на табуретке у прилавка, со шкатулкой, с мокрым лицом, — увидела шкатулку. Поставила поднос. И села рядом, на ступеньку лестницы, где ночью сидел Адриан. Ничего не сказала. Просто сидела.

Мира спустилась в девять. Остановилась на лестнице, на седьмой ступеньке. Посмотрела. Развернулась и молча ушла наверх. Через пять минут вернулась — одетая, умытая, с причёсанными волосами. Села на ступеньку рядом с Мартой. Тоже ничего не сказала.

Я сидела и держала шкатулку. Не открывая. Не заводя. Просто держала. Как она держала руку на крышке в зимнем саду у Ливии.

Потом заметила, что дно шкатулки — толще, чем должно быть.

Это была профессиональная привычка. Я столько раз видела шкатулки с двойным дном, тайниками, секретными ящичками, что глаз отмечал сам: высота стенок снаружи — санти-

метров восемь, глубина внутри до бархата — сантиметров пять. Три сантиметра. Механизм музыки занимал от силы полтора.

Я перевернула шкатулку. Нажала на дно в разных местах. Ничего. Покрутила ключик — назад, против хода. Щелчок.

Дно отошло. Тонкая дощечка, на петельках. А под ней —
Письма.

Пачка. Толстая, перевязанная выцветшей голубой лентой. Листы сложены вчетверо, плотно, ровно, один к одному. Бумага — разная: одни листы плотные, хорошие, другие — тонкие, дешёвые, третьи — вырванные из какой-то тетради. Чернила — тоже разные. Почерк — один. Мелкий, наклонный, летящий. С длинными хвостами у букв.

На верхнем листе, снаружи, было написано: Вере.

На следующем — тоже. И на следующем.

Я развязала ленту. Пересчитала. Двадцать.

Двадцать писем. По одному в год.

Марта на ступеньке тихо охнула. Первый звук, который она издала за полтора часа.

* * *

Я не буду пересказывать их все. Не смогу. Некоторые из них я не могу перечитывать до сих пор. Некоторые — перечитываю каждый вечер.

Первое было написано через год после того, как она ушла.

«Вера. Моя Вера. Моё серебро.

Тебе сегодня шесть. Я знаю, что ты этого не прочитаешь. Здесь нет почты в твой мир. Здесь вообще ничего нет в твой мир, кроме двери, которая не открывается. Но я пишу. Потому что если не буду писать, сойду с ума.

Я не вернулась. Ты знаешь. Ты, наверное, ждала. Ты, наверное, спрашивала бабушку Тоню. Что она тебе сказала? Наверное, что я ушла. Это правда. Я ушла. Но я ушла не от тебя, Вера. Я ушла к маме, которая умирала. Я думала — на три дня. Я не знала, что улица отпускает только один раз. Агата говорит, что я должна была знать. Наверное, должна. Но я так торопилась.

Я пробую каждую ночь. Шкатулка — ты её помнишь? Та, что играла тебе перед сном? Это ключ. Ключ Аделаиды. Он открывает дверь памяти, и через эту дверь можно найти всё, что потеряно. Даже человека. Даже в другом мире. Я потеряла тебя, Вера. Значит, я могу тебя найти.

Но дверь не открывается. Агата говорит, что ключ работает только в руках той, кто помнит. Я помню тебя, Вера. Каждый день. Каждую минуту. Но, видимо, это не та память. У меня нет дара. У Лорисов он через поколение, у мамы был, у меня — нет. Я даже пуговицу найти не могу, если её потеряю. Гортензия смеётся надо мной.

Я буду пробовать. Каждую ночь.

С днём рождения, моё серебро.

Мама».

Пятое:

«Тебе десять. Ты, наверное, уже большая. Ты, наверное, читаешь. Ты в детстве так любила книжки с картинками. Помнишь, про кота, который ходил в сапогах? Ты заставляла меня читать её по три раза за вечер. Я тогда злилась. Теперь бы читала тридцать.

Марта научила меня печь пироги. У меня всё равно пригорает. Тобиас — это часовщик, он живёт в пятом доме — говорит, что у меня руки не для теста. Я сказала, что у меня руки для того, чтобы держать дочь. Он больше не говорит.

Я пробую каждую ночь».

Девятое:

«Тебе четырнадцать. Говорят, это трудный возраст. Говорят, в четырнадцать дети ненавидят матерей. Ты, наверное, меня ненавидишь. Это правильно. У тебя есть право. Я бы тоже ненавидела.

Я познакомилась с одним человеком. Аукционист. Ансельм Марро. Он знает о ключе. Он говорит, что может помочь. Он говорит, что есть способ — прибор, который читает память вещей. Можно прочесть шкатулку, понять, почему она не открывается. Я сначала обрадовалась. Потом Элиас Рон — это мастер, отец маленькой девочки с кудряшками, которая живёт через два квартала, — сказал мне, что делает этот прибор. Что он ворует память. Не только из вещей — из людей. Я сказала Марро «нет». Он был очень вежлив. Он сказал, что понимает. Я ему не верю. Ливия — его жена — моя подруга. Я ей верю. Но не ему.

Я пробую каждую ночь».

Пятнадцатое:

«Тебе двадцать. Ты взрослая. Ты, наверное, учишься. Чему? Я так хочу знать. Ты была такая любопытная. Ты всё трогала. Однажды, тебе было четыре, я потеряла серьгу в песочнице. Мы искали полчаса. А потом ты взяла мою перчатку — просто взяла в руки, — постояла, закрыв глаза, и пошла прямо к тому месту. И выкопала серьгу. Я тогда засмеялась и сказала: «Ну ты моя ищейка». А потом пришла домой и плакала. Потому что поняла.

У тебя есть дар, Вера. Тот, которого нет у меня. Ты помнишь вещи. Ты — та, кто помнит.

Значит, ключ — это не шкатулка. Шкатулка — только замок. Ключ — это ты.

Я пробую каждую ночь. Но я теперь знаю, что у меня не получится. Это не моя дверь. Это твоя».

Двадцатое было последним. Почерк в нём был другой — неровный, слабый, с пропусками букв, будто писала очень усталая рука.

«Вера.

Мне плохо. Врач говорит — сердце. Агата говорит — тоска. Марта говорит — пироги, но это она шутит, чтобы я не плакала.

Я отдаю шкатулку Ливии. Не Агате. Агата сказала, что, если шкатулка останется в лавке, Марро до неё доберётся, когда Агаты не станет. А у Ливии — не доберётся, потому что она его жена и он к её вещам не прикасается. Он её любит. Это единственное, в чём я ему верю. Ливия обещала: если когда-нибудь ты придёшь — она отдаст. Она сказала: «Ирэна, я никогда не забуду». Я ей верю.

Если ты читаешь это — значит, ты пришла. Значит, ты дома. Дом — это ведь там, где тебя ждали? Тебя здесь ждали, Вера. Двадцать лет. Каждую ночь.

Прости меня. За то, что ушла. За то, что не вернулась. За то, что ты выросла без меня. За каждый день рождения, на который меня не было. За каждую ночь, когда тебе было страшно, а меня не было рядом. Прости.

И не прощай, если не можешь. Это тоже правильно.

Только знай. Я не уходила от тебя. Ни одного дня. Ни одной минуты. Я была здесь, у этой двери, и держала тебя за руку. Как обещала.

Держи мою руку пока.

Мама».

* * *

Я дочитала последнее письмо в начале одиннадцатого.

Марта сидела на ступеньке. Мира рядом с ней. Обе молчали. У Марты по щекам текли слёзы — беззвучно, ровно, она даже не вытирала их. Мира смотрела в пол.

Гортензия сидела на перилах. Смотрела на меня.

— Гортензия, — сказала я. Голос был сиплый, сорванный. — Ты смеялась над ней. Что она пуговицу найти не может.

Сорока долго молчала. Потом слетела с перил. Приземлилась на прилавок рядом со шка- тулкой. Посмотрела на неё. На меня.

— Смеялась, — ответила она. Тихо. Без театральности. Без придыхания. — Она каждый раз теряла пуговицы. На всех платьях. Я их находила и приносила. Она говорила: «Спасибо, Гортензия, ты лучше меня». А я говорила: «Конечно, лучше, у меня же клюв». И мы смеялись. Обе. Каждый раз, — она помолчала. — Двадцать лет я ей пуговицы носила. А она каждую ночь ходила к подвалу. И ни разу не попросила меня помочь. Ни разу. Говорила: «Это не твоё, Гортензия. Это моё».

Сорока опустила голову. Перья на загривке поникли.

— Я скучаю по ней. Ты знаешь? Восемь лет. Я каждый день скучаю. Никто больше не теряет пуговиц.

Я протянула руку. Медленно. Как Адриан к лошадке.

Гортензия не отодвинулась.

Я погладила её. По голове. По спине. По перьям — гладким, тёплым, чёрно-зелёным, отливающим синим, как бензиновое пятно в луже. Первый раз за всё время.

Гортензия закрыла глаза.

* * *

Вечером Марта заговорила.

Не сразу. Сначала она ушла к себе — открыть чайную, «а то люди придут, а там закрыто, подумают, что я померла». Вернулась в шесть, с ужином. Поставила поднос. Посмотрела на меня. На шкатулку, стоящую на прилавке, — закрытую, молчащую. На пачку писем, перевязанную голубой лентой.

— Теперь можно, — сказала она.

— Что можно?

— Теперь можно говорить, — Марта села на табуретку. Сняла очки. Протёрла. Надела. — Теперь у тебя есть твоя Ирэна. Её собственная. Из её собственных слов. Теперь, если я расскажу тебе свою, — это будет просто рассказ. Не замена.

Я молчала.

— Она смеялась громко, — сказала Марта. — Запрокидывала голову и хохотала так, что у меня чашки на крючках звенели. Тобиас говорил — как колокольчик. Я говорила — как гусыня. Она смеялась ещё громче.

— Она пекла ужасные пироги, — произнесла Марта. — Ужасные. Каждый раз пересушивала. Я ей сто раз говорила — меньше огня, больше терпения. Она не слушала. Она никогда не умела ждать. Всё быстрее, быстрее. А потом стояла над пирогом и говорила: «Ну почему опять?»

— Она сидела у меня в чайной каждый вечер, — добавила Марта. — За тем самым столиком у окна. Где ты в первую ночь суп ела. Пила чай с чабрецом и смотрела на улицу. На арку. Я спрашивала — кого ждёшь? Она говорила — никого. Я знала, кого.

Марта замолчала. Посмотрела на шкатулку.

— Ты на неё похожа. Я сразу увидела. В первую ночь. Когда ты стояла на пороге в тапочках, с мусором в руке и мокрыми волосами. Я посмотрела на тебя — и у меня чашка в руке чуть не лопнула. Ты так же голову наклоняешь, когда слушаешь. Так же хмуришься. У тебя её руки, Вера. Её пальцы, — Марта протянула руку через прилавок и взяла мою ладонь. Повернула её к свету. — Вот. Длинные, тонкие, с косточками. Она этими пальцами пуговицы теряла. А ты — вещи находишь.

Я смотрела на свою ладонь в Мартиной руке. На свои пальцы.

Её пальцы.

— Почему вы сказали мне в первую ночь, что это не ваш разговор? — спросила я.

— Потому что я бы рассказала тебе про женщину, которая пекла ужасные пироги, громко смеялась и каждый вечер смотрела на арку. И ты бы решила, что она тебя не любила. Что она здесь жила, смеялась, пила чай, пекла пироги — а про тебя забыла. Это была бы моя Ирэна. А ты бы на неё злилась ещё сильнее, — она сжала мою руку. — А теперь у тебя есть её письма. Двадцать штук. И ты знаешь, что каждую ночь, после чая у меня, она шла к той двери. Теперь ты можешь слушать про пироги. И не злиться.

Я не ответила. Я не могла.

Марта встала. Поправила фартук.

— Ешь. Суп. С фрикадельками. Она их любила.

И ушла.

* * *

Адриан пришёл в девять. Как обещал.

Он сел на нижнюю ступеньку лестницы. Я сидела за прилавком, со шкатулкой. Мы не разговаривали. Долго.

Потом я рассказала ему про письма. Про то, что ключ — не шкатулка. Шкатулка — замок. Ключ — та, кто помнит.

Он слушал. Не перебивая. Не записывая. Блокнот лежал у него в кармане, я видела уголок, — но он его не достал.

Когда я закончила, он долго молчал.

— Вера, — сказал он наконец. — Если ключ — это вы.

— Да.

— И Марро это знает.

— Мама написала ему «нет» двадцать лет назад. Он не знает, что ключ — это я. Он думает — шкатулка. Или зеркало, — я посмотрела на шкатулку. — Он даже не знает, что шкатулка была у его жены. Восемь лет. В её спальне. Он к её вещам не прикасается. Мама была права.

— А Корнелия?

Я замерла.

«Она всегда приходила со шкатулкой. Маленькой, деревянной, с перламутром. Ставила её на стол и не открывала».

— Корнелия помнит шкатулку, — ответила я медленно. — Она мне рассказала. В саду. Она не знает, что это ключ. Но она помнит, что мама всегда приходила с ней.

Адриан ничего не сказал. Но лицо у него стало таким, каким я видела его над рисунками в папке. Каменным.

— Если он спросит Корнелию... — начала я.

— Он спросит, — перебил Адриан. — Рано или поздно. Он умный человек. Он поймёт, что шкатулка, которую Ирэна носила с собой двадцать лет, — это не просто шкатулка.

Мы посмотрели друг на друга.

— До Чёрной Луны, — произнесла я. — Двадцать один день.

— Двадцать один, — согласился он.

Шкатулка на прилавке стояла закрытой. Перламутровые луны тускло переливались в свете лампы. Внутри, под крышкой, на тонком латунном стерженьке, ждала маленькая странница с фонарём. А рядом с ней, на выцветшей фотографии с белой зубчатой каймой, темно-волосая женщина смотрела на смеющуюся девочку в шапке с помпоном.

Так, как никто больше на меня не смотрел.

Я протянула руку и повернула ключик. Раз. Два. Три.

Пять нот вверх. Три вниз.

Спи, моя луна, спи, моё серебро.

Я пела. Тихо, почти шёпотом. На языке, который знала с рождения и забыла в пять лет, и вспомнила только сейчас.

Адриан на ступеньке не шевелился.

Гортензия на перилах закрыла глаза.

Наверху, на третьем этаже, в комнате с окном во двор, Мира тихо закрыла дверь. Я слышала. Но не остановилась.

Пусть дорога длинна, пусть темна, далека, — Я найду тебя, слышишь? Держи мою руку пока.

Глава 19. Что я стою

Проснулась я за прилавком.

Не в кровати под вышивкой про то, что было, что есть и что будет, а внизу, в кресле Агаты, с пледом на коленях, которого я туда не клала. Шея затекла так, будто ночью я держала на ней потолок. На прилавке стояла шкатулка, закрытая. Рядом лежала стопка писем, перевязанная голубой лентой. Бантик был завязан аккуратнее, чем умею я.

Плед был серый, шерстяной, в мелкую клетку. Из лавки. Значит, кто-то поднялся наверх, нашёл его в сундуке, спустился, укрыл меня и завязал ленту.

— Он ушёл в два, — сообщила Гортензия с перил. — Сидел на ступеньке до двух. Потом встал, укрыл, завязал, постоял. Я следила.

— Зачем постоял?

— Откуда я знаю, зачем фараоны стоят. Может, считал. Может, молился. Может, ноги затекли, — она почистила клюв о перила. — Бантик кривой.

— Бантик прямой.

— Бантик фараонский, — сказала Гортензия, как будто это всё объясняло.

Я осторожно потрогала ленту. Не узел — сама ткань. Ничего. Просто лента, просто голубая, немного выцветшая на сгибах. Вещи не обязаны всё время что-то рассказывать. Иногда они просто лежат и ждут, пока ты проснёшься.

Часы Тобиаса в углу пробили семь. Медленно, с достоинством, как пробивает только тот, кто сорок лет молчал и теперь наверстывает.

До Чёрной Луны оставался двадцать один день. Я посчитала это раньше, чем вспомнила, как меня зовут.

* * *

Наверху было тихо. Слишком тихо для дома, где живёт семнадцатилетняя девица, которая по утрам поёт, роняет ложки и спорит с сорокой о том, чья очередь выносить мусор.

Я поднялась на третий этаж. Дверь в мамину комнату — в комнату Миры, поправила я себя, в комнату Миры — была приоткрыта.

Мира сидела на кровати. Рядом стоял её мешок. Тот самый, с которым она пришла: брезентовый, с заплатой на боку и верёвкой вместо ремня. Мешок был завязан.

На подоконнике, где ещё вчера лежал её альбом с марками, было пусто. Луковицы синих цветов, которые она собиралась сажать весной, лежали в бумажном кульке на краю кровати. Тоже упакованные.

— Доброе утро.

— Доброе, — ответила Мира и не посмотрела на меня. — Я там кашу оставила. На плите. Она, правда, пригорела. Немножко. С одного боку.

— Мира.

— Я записала, сколько вы мне должны за эту неделю. И сколько я вам должна за обеды. Получается, что я вам должна. Восемь медяков. Я отдам. С первой почты.

— Мира, — повторила я. — Что это?

Она пожала плечами. Плечи у неё были острые, как у подростка, которого кормят недавно.

— Это ведь её комната, — ответила она в пол. — Вашей мамы. Я вчера слышала. Я не подслушивала, просто тут лестница, и всё слышно, и вы пели. И я подумала... — она наконец подняла голову. Глаза были сухие, но красные по краям. — Вы её только нашли. А тут я. На её кровати. С её окном. Это нечестно.

Я села рядом с ней. Кровать скрипнула. Мамина кровать. Узкая, с латунными шишечками на спинке, одну из которых кто-то когда-то пытался открутить и не докрутил.

«Это я, — подумала я. — Это я её откручивала. Мне было четыре, и я была уверена, что внутри конфета».

Откуда я это знала? Я не трогала шишечку. Я просто помнила. Обычной памятью, без всякого дара. Мне было четыре, мы приезжали сюда — нет. Не сюда. Не могли мы сюда приезжать. Это была другая кровать, на Лиговском, в бабушкиной квартире, и на ней тоже были латунные шишечки, и мама сказала: «Там нет конфеты, Верочка, там пустота, и в этой пустоте живёт эхо». И я кричала в шишечку, чтобы послушать эхо.

Мама выбрала здесь такую же кровать. Двадцать лет спала на кровати, похожей на ту, где её дочь кричала в шишечки.

Я слотнула.

— Мира, ты знаешь, что я сделала с её вещами, когда мне было двенадцать?

Она покачала головой.

— Выбросила. Всё, что бабушка хранила. Платок, бусы, книжку со стихами, фотографию в рамке. Сложила в пакет и вынесла на помойку. Потому что решила, что она меня бросила, а я не собираюсь хранить вещи людей, которые меня бросили, — я смотрела на свои руки. — Бабушка потом полночи лазила по контейнерам. Нашла книжку. Остальное — нет.

Мира молчала.

— Я двадцать лет злилась на человека, который каждую ночь пытался ко мне вернуться. Если я сейчас выгоню из её комнаты девочку, которой некуда идти, она меня, по-моему, достанет даже оттуда, где она сейчас. И будет права.

— Вы меня не выгоняете, — упрямо возразила Мира. — Я сама.

— А я тебя не отпускаю, — я взяла кулёк с луковичками и переложила его обратно на подоконник. — Ты обещала посадить их весной. Мама бы хотела, чтобы под этим окном что-то росло. Она смотрела отсюда на арку двадцать лет. Пусть теперь кто-нибудь смотрит отсюда на цветы.

Мира шмыгнула носом. Громко. Совсем не изящно.

— Это временно, — сказала она дрожащим голосом.

— Конечно, — согласилась я. — Всё временно. Особенно у нас.

Она засмеялась сквозь слёзы, и я подумала, что этот звук очень подходит этой комнате. Наверное, мама так же смеялась. Марта говорила — громко. Мира смеялась громко.

Мешок мы развязывали вдвоём. Узел был затянут так, будто она собиралась тащить его до самого моря.

— Каша, кстати, пригорела не с одного боку, — призналась Мира, когда мы спускались. — Со всех.

— Значит, её надо отдать Гортензии. Она любит хрустящее.

— Я всё слышу! — крикнули снизу. — Я не ем горелое! Я старший оценщик, а не помойное ведро!

* * *

После завтрака, который в итоге приготовила Марта, — она пришла с корзинкой ровно тогда, когда мы стояли над кастрюлей с выражением, с каким стоят над разбитой вазой, — в лавку постучали трижды.

Я вздрогнула. Трижды стучали к Дарии. В лавку стучали как угодно, только не трижды. На пороге стояла Корнелия Марро.

Без кареты. Без стального платья — на ней было тёмно-синее, простое, почти домашнее, если можно назвать домашним платье, на котором ни одна складка не позволяет себе лишнего. Лупа на цепочке была на месте. И в руках — увесистый свёрток в коричневой бумаге, перевязанный бечёвкой.

— Я не помешаю, — сказала она. Не вопросом. Утверждением, которое надеялось оказаться правдой.

— Входите.

Она вошла. Огляделась. Гортензия на перилах распушилась, как перед боем. Корнелия посмотрела на сороку, сорока посмотрела на Корнелию. Две профессионалки оценили друг друга и, кажется, пришли к выводу, что связываться не стоит.

— Мне сказали, — начала Корнелия и остановилась. Положила свёрток на прилавок. Подровняла, чтобы угол бумаги шёл параллельно краю. — Марта Брей сказала. В городе. Вчера. Что вам... что у вас были плохие дни.

— Марта Брей не сплетничает. Она обеспечивает информационный обмен.

— Я заметила, — уголок рта Корнелии дёрнулся. Почти улыбка. — Я не умею приносить суп. Пирог тоже не умею. Я подумала, что могу принести то, что умею.

Она развязала бечёвку. Под бумагой оказалась толстая книга в кожаном переплёте, потёртом на углах. На корешке вытиснено: «Реестр клейм и пробирных знаков Лавье. Полное собрание с древнейших времён. Том первый».

— У вас экзамен по клеймам через три месяца. Уже меньше. Это мой экземпляр. С пометками, — она открыла книгу, и я увидела поля, исписанные мелким, острым почерком. Стрелки, подчёркивания, восклицательные знаки. — Флери будет спрашивать по разделу четыре. Он всегда спрашивает по разделу четыре, потому что сам его составлял и считает, что никто его не читал. Он прав, никто не читал. Кроме меня.

Я смотрела на книгу. Потом на неё.

— Корнелия, это же ваш рабочий экземпляр.

— У меня есть второй, — она помолчала. — Нет, у меня нет второго. Но я его наизусть знаю. Мне он нужен меньше, чем вам.

Я провела пальцами по краю обложки. Не по коже — по бумаге, через край, осторожно. Но книга всё равно шепнула. Совсем слабо. Девочка лет двенадцати, в слишком строгом для своего возраста платье, сидит за огромным столом и выписывает клейма в тетрадь, высунув кончик языка. В комнате холодно. Никто не приходит. Девочка не поднимает головы до темноты.

Я убрала руку.

— Спасибо, — сказала я. И, подумав, добавила: — Флери, говорите, раздел четыре?

— Раздел четыре, подраздел «Именные клейма упразднённых мастерских», — Корнелия оживилась так, как оживляются люди, когда разговор наконец сворачивает на знакомую дорогу. — Он обожает спрашивать про мастерскую Дювиля, которая работала одиннадцать лет и выпустила в общей сложности сорок предметов. Тридцать девять из них сейчас в его личной коллекции.

— А сороковой?

— Сороковой был у моей бабушки, — Корнелия поджала губы. — Он предлагал за него неприлично много. Бабушка отказала из принципа. После её смерти отец продал. Флери до сих пор при встрече со мной вздыхает.

Я засмеялась. Корнелия посмотрела на меня удивлённо, будто не ожидала, что это смешно, и тоже чуть-чуть улыбнулась. По-настоящему.

Жилка у неё на шее билась ровно. Значит, не волновалась. Или научилась, что при мне можно не волноваться.

— Я ещё хотела сказать, — начала она, и жилка тут же сбилась с ритма. — Про вашу маму. Мне очень жаль. Я не знала. Когда я рассказывала вам в саду... я не знала, что она... что вы...

— Вы мне подарили её. Тогда, в саду. Гранат тёплый, рубин холодный. Вы мне первая её подарили. До писем. До Марты.

Корнелия опустила глаза.

— Она была добра ко мне, — произнесла она тихо. — В том доме мало кто был ко мне добр просто так. Отец — когда я хорошо выполняла работу. Мать — когда помнила, как меня зовут. А Ирэна — просто так. Я сидела в саду, она садилась рядом и рассказывала про камни. Ни о чём меня не спрашивала. Никогда ничего от меня не хотела.

Она замолчала. Я видела, что она хочет сказать ещё что-то, и видела, как она решает этого не говорить.

— Мне пора, — сказала Корнелия и поднялась. — У нас торги в два. Опять фальшивые табакерки. В этом сезоне все подделывают табакерки, как будто сговорились.

У двери она остановилась.

— Вера. Если вам когда-нибудь понадобится... — она не закончила. Махнула рукой, как отрезала. — Раздел четыре. Не забудьте.

Дверь закрылась. Колокольчик звякнул.

— Сухая, — вынесла вердикт Гортензия. — Как прошлогодний орех. Но с ядром.

Это было самое большое одобрение, которое я слышала от сороки в адрес живого человека.

* * *

Остаток утра я провела с письмами.

Не перечитывала — нет, перечитать все двадцать подряд я бы не смогла. Я раскладывала их по прилавку, как раскладывала когда-то лоты перед аукционом: по датам, по состоянию бумаги, по чернилам. Профессиональная привычка. Руки знают, что делать, когда голова не знает.

Первые письма были на хорошей бумаге, плотной, сливочного цвета. Чернила — тёмно-синие, свежие. Почерк ровный.

К десятому году бумага стала тоньше. Чернила — дешевле, с рыжиной. Почерк поплыл: буквы заваливались вправо, как будто мама торопилась, или уставала, или писала ночью при плохом свете.

Последние три письма были написаны на обрывках. Одно — на обороте счёта из чайной «Половинка луны». Марта, наверное, даже не знала.

Я сложила их обратно. По порядку. Завязала ленту — не так аккуратно, как Адриан. Ну и пусть.

И только тогда позволила себе подумать о том, о чём думать не хотелось.

«Ключ — это ты».

Мама писала это как утешение. Как подарок. «Ты особенная, Верочка, ты та, кто помнит». А я, оценщик с одиннадцатилетним стажем, читала это как пункт в описи. Предмет: Соколова Вера Андреевна. Происхождение: Лавье, род Лорис. Особые свойства: открывает дорогу памяти. Состояние: удовлетворительное, следы износа. Рыночная стоимость: ...

Какая у меня рыночная стоимость?

Глеб когда-то оценил меня в двенадцать процентов от продажи, оклад и место у окна. Потом — в одно яйцо, лот сорок семь. Когда понадобилось кого-то уволить, меня оказалось дешевле уволить, чем разбираться.

Марро оценил меня в пять тысяч крон, должность и квартиру.

Мама — в двадцать лет у запертой двери.

Агата — в лавку, дом и сорок дней на то, чтобы доказать, что я её стою.

Я встала и прошлась вдоль полок. Остановилась у стеллажа с бирками «Забыто... Ждёт». Перчатка. Футляр от очков. Деревянная ложка с вырезанным на ручке зайцем. Каждая из этих вещей чего-то стоила тому, кто её забыл. И почти ничего — всем остальным.

Это и есть самое трудное в нашей профессии. Цена вещи не в вещи. Цена вещи — в том, кто её держит. Я это знала всегда. Я это говорила стажёрам. «Не путайте цену и стоимость. Стоимость — это сколько заплатят. Цена — это сколько человек отдаст, чтобы её не потерять».

Правило второе Агаты: «Цена — то, что человек готов отдать».

Я никогда не применяла это правило к себе.

— Ты опять думаешь лицом, — заметила Гортензия.

— Что?

— Лицом. Ты думаешь лицом. У тебя всё на лице написано, как на бирке. Агата тоже так думала. Сидела вот тут и думала лицом, а я ей говорила: «Агата, у тебя морщины от этого будут». А она говорила: «У меня уже есть», — сорока перепрыгнула на прилавок, поближе. — О чём думаешь?

— О том, сколько я стою.

Гортензия наклонила голову. Чёрный глаз блеснул.

— Пуговицу.

— Что?

— Ты стоишь пуговицу. На мой выбор. Ты мне её должна. Пока не отдашь — ты стоишь ровно пуговицу, а после — будешь стоять ноль, потому что мы будем в расчёте, — она подумала. — Это шутка. Агата бы засмеялась.

Я засмеялась. Не потому, что смешно. Потому что Агата бы засмеялась.

— Я не умею утешать, — мрачно сказала Гортензия, глядя в сторону. — Это не моя специализация. Моя специализация — блестящее.

— У тебя отлично получается.

— Не ври старшему оценщику.

* * *

После обеда пришла Элиза. С коробкой.

Коробка была большая, из-под чего-то механического, с надписью «Не кантовать» на трёх языках, два из которых, по-моему, Элиза придумала сама. Коробка была набита бумагами. Бумаги были набиты в коробку так, как набивают перьями подушку: плотно, без системы и с явным расчётом никогда больше туда не заглядывать.

— Ты обещала, — сказала Элиза и поставила коробку на прилавок. Прилавок крикнул. — Декларации. Ты сказала, что разберёшься. Я пришла, пока ты не передумала.

— Я не передумаю.

— Все так говорят. Мой прошлый счетовод тоже говорил. А потом увидел коробку и уехал к сестре в провинцию. Навсегда, — Элиза плюхнулась на табуретку, ту самую, починенную. Табуретка не шелохнулась. Элиза посмотрела на неё с профессиональным интересом. — Ого. Кто чинил?

— Адриан.

— Фараон чинил табуретку? — Элиза восхищённо присвистнула. — Ну всё, Вера. Это серьёзно. Мне Сюзанна рассказывала, что ей мама говорила.

— Вся улица знает, что Сюзанне говорила мама.

— Вся улица знает всё, — согласилась Элиза. — Это же наша улица.

Я открыла коробку.

Вы когда-нибудь разбирали архив человека, который изобретает самовзрывающиеся чайники? Я — теперь да.

Квитанции. Десятки квитанций, на клочках разного размера, исписанные то карандашом, то чернилами, то, судя по всему, углём. Некоторые были в масляных пятнах. Одна обуглена по краю. Одна — я поднесла её к свету — прожжена насквозь в форме идеального круга.

— Это за что? — спросила я, показывая на дырку.

— А, это, — Элиза наклонилась. — Это квитанция за ремонт крыши. Её прожгло во время испытаний. Сама квитанция в порядке, просто в ней теперь дырка. Налоговая принимает квитанции с дырками?

— Понятия не имею, — честно призналась я. — Но выясним.

Мы разбирали коробку три часа.

Я раскладывала бумаги на стопки: доходы, расходы, материалы, ремонт, «неясное». Элиза сидела рядом и рассказывала про каждую бумажку. Про то, как три года назад починила госпоже Лефевр механического соловья, а госпожа Лефевр расплатилась тремя банками варенья, и это теперь доход или нет? Про то, как купила на рынке бронзовую трубку за медяк, а она оказалась старинным клапаном от городского водопровода, и пришёл человек из управы и забрал её обратно, и это теперь расход или нет? Про то, как её крышу второй раз прожгло, и кровельщик, господин Тибо, сказал, что в третий раз чинить не придёт, а придёт сразу хоронить.

— Варенье — доход. Натуральный. Его надо оценить.

— Как оценить варенье?

— Как всё. Сколько стоит такая банка на рынке?

— Вишнёвое — две серебрушки. Но у Лефевр варенье с косточками, она ленится их вынимать. С косточками — дешевле?

— С косточками — полторы, — решила я. — Записываем: доход в натуральной форме, три банки варенья вишнёвого с косточками, четыре серебрушки пять медяков.

Элиза смотрела на меня с благоговением.

— Ты страшная женщина.

— Я оценщик.

К пятому часу на прилавке лежали аккуратные стопки, перевязанные бечёвкой и подписанные. В «неясном» осталось семь бумажек. Одна из них была любовной запиской от некоего Ж., написанной на обороте счёта за медную проволоку, — «Твои руки пахнут машинным маслом, и это лучший запах на свете».

— Ж., — прочитала я.

— Не знаю никакого Ж., — сказала Элиза и покраснела до самых кудряшек. — Это вообще не налоговый документ. Отдай.

— Это счёт за медную проволоку. Это расход. Я обязана его учесть.

— Вера!

— Расход на материалы, — сказала я невозмутимо и положила записку в стопку. — Медная проволока, два мотка. Получено также: одно признание. Без оценки.

Элиза забрала записку, сунула за кружевной воротник и попыталась выглядеть так, будто ничего не произошло. У неё не получилось. Масляное пятно на щеке на фоне румянца смотрелось как клеймо на кольце.

— Жиль Барро, — сказала Гортензия с перил. — Кудрявый. В котелке. Приходил позавчера, пока ты спала, Элиза его видела в окно и уронила гаечный ключ.

— Предательница, — с чувством сказала Элиза сороке.

— Информационный обмен, — ответила Гортензия. — У Марты научилась.

Когда Элиза ушла, прижимая к груди коробку, теперь уже аккуратную, я посмотрела на прилавок, на пустое место, где только что громоздились бумаги, и вдруг поняла странное.

Мне было хорошо.

Три часа я не думала ни о Чёрной Луне, ни о Марро, ни о том, что ключ — это я. Я думала о варенье с косточками и о квитанции с дыркой. И у меня получалось. Не потому, что у меня дар. Без всякого дара. Просто потому, что я умею вот это: брать хаос и раскладывать его на стопки. Находить каждой бумажке её место и её цену.

Глеб любил говорить: «Соколова у нас — машина». Он имел в виду — удобная. Безотказная. Работает, пока не сломается, а потом можно заменить.

Но это не так. Я не машина. Я человек, который умеет кое-что очень хорошо. И это кое-что — моё. Его не отнимешь вместе с пропуском и местом у окна.

Я достала грифельную доску. Написала:

«Сегодня разобрала налоги Элизы. Варенье с косточками — доход в натуральной форме».

Ответ пришёл через минуту:

«Поздравляю. Это самое страшное, что я сегодня читал. А я читал протокол допроса Коля».

И ещё через минуту:

«Буду в девять. Как вы?»

Я долго смотрела на этот вопрос. «Как вы». Два слова. Мне не задавали этого вопроса так, чтобы ждать ответа, очень давно. Бабушка задавала. Потом бабушки не стало.

Я написала: «Лучше». Стёрла. Написала: «Не знаю». Стёрла.

Написала: «Приходите — расскажу».

* * *

Адриан пришёл в девять. С ковшиком.

Ковшик был его, медный, тот самый, в котором он варил свой яд с корнем огнецвета. Он принёс его в лавку, поставил на печной камень и сказал:

— Сегодня я варю вам. Не наоборот.

— Только не огнецвет.

— Без огнецвета, — пообещал он. — Я купил ваш. В бакалее у Пьера. Пьер сказал, что этот сорт берёт только одна сумасшедшая с улицы, которой нет, и то раз в месяц. Я сказал, что знаю эту сумасшедшую.

— Вы меня называли сумасшедшей при бакалейщике?

— Нет, я сказал: «Это для госпожи Соколовой». Пьер сказал: «А, для сумасшедшей». Я не стал спорить. Это было бы подозрительно.

Он варил кофе с такой сосредоточенностью, с какой, наверное, снимал отпечатки пальцев. Отмерял ложкой. Помешивал. Снимал с огня ровно в тот момент, когда пена поднялась до края, — не секундой позже.

Кофе получился. Хороший кофе. Чуть крепче, чем варю я, и чуть горче.

— Вы умеете, — удивилась я.

— Я наблюдательный. Это профессиональное. Вы варите четыре минуты, снимаете дважды, сахар кладёте в чашку, а не в ковш. Я смотрел три недели.

— Три недели вы смотрели, как я варю кофе?

Он чуть смутился. Едва заметно — у Адриана Кальве смущение выглядело как лёгкий сбой в идеальном механизме. Пауза на полсекунды дольше, чем нужно.

— Не только кофе.

Мы сидели на ступеньках. Не за прилавком, как дознаватель и свидетельница, и не в креслах, как гости, — на лестнице, рядом, как сидят люди, которым некуда спешить. Гортензия демонстративно ушла наверх, громко сообщив, что у неё «дела под стропилами» и что «эти ваши посиделки её не касаются». Сверху доносилось шуршание. Она явно подслушивала.

— Вы спросили, как я.

— Спросил.

— Я весь день думала о том, сколько я стою.

Он повернулся ко мне. В свете лампового камня его лицо было жёлтым и тёплым, а глаза — тёмными.

— В каком смысле?

— В прямом. Я оценщик. Это то, что я умею. Я смотрю на вещь и говорю: вот её цена. А сегодня я прочитала, что я — ключ. Мама написала. «Ключ — это ты». И я поймала себя на том, что смотрю на себя как на лот. Происхождение, состояние, особые свойства, — я обхватила чашку двумя руками. — Марро предлагал мне пять тысяч крон. Тогда я подумала, что это

оскорбление. Сегодня я подумала — а может, это просто рыночная цена? Дорога памяти стоит больше, чем пять тысяч. Значит, он ещё поскупился.

Адриан долго молчал.

— Мой отец, — сказал он наконец. — Делал шкафы. Я вам говорил. Шкафы, комоды, табуретки. Хорошие. Очень хорошие. Его шкафы до сих пор стоят в половине домов Лесного квартала. Он за всю жизнь не заработал столько, сколько мой отчим зарабатывает за год, сидя в Казначействе и подписывая бумаги.

Он повертел в руках чашку.

— Когда он умер, мать продала мастерскую за двадцать крон. Станок, инструменты, запас досок. Всё. Двадцать крон. Купил какой-то перекупщик и через неделю перепродал за шестьдесят. Мне было двенадцать, и я ничего не мог сделать, — он помолчал. — Я тогда думал: вот, значит, сколько стоил отец. Двадцать крон. Шестьдесят — если знать, кому продавать.

— Адриан...

— Я тридцать лет хожу с этой мыслью, — произнес он ровно. — Мне потребовалось очень много времени, чтобы понять, что двадцать крон стоил станок. А отец стоил — вот это, — он поднял левую руку, показал мне мозоль у основания большого пальца. Старую, твёрдую, от рубанка. — То, что он оставил в руках. То, что я помню, как держать стамеску. То, что я до сих пор, когда мне плохо, иду в подвал Управления и строгаю доски, хотя мне это никто не заказывал и никто не заплатит.

Он опустил руку.

— Вы не лот, Вера. Лот можно купить. Лот можно продать. Лот можно заменить другим лотом, если первый оказался подделкой, — он помолчал. — Вас нельзя заменить. Я проверял.

— Проверяли?

— Я дознаватель. Я всё проверяю, — он смотрел в чашку. — Три недели я пытался найти в вас что-то, что можно было бы объяснить. Подозреваемая. Свидетельница. Иностранка без документов. Наследница с сомнительными правами. Я честно пытался вас классифицировать. Не получилось. Вы не помещаетесь ни в одну графу.

Я не знала, что сказать. Совсем. Впервые за много лет у меня не было ответа — ни острого, ни колючего, ни делового.

— Это комплимент? — спросила я наконец.

— Это протокол. Но можете считать комплиментом. Я не возражаю.

Я засмеялась. И он тоже — коротко, будто сам себе удивился.

Сверху, из-под стропил, что-то упало. Звонко, с металлическим перекатом.

— Ничего! — крикнула Гортензия. — Это напёрсток! Я его просто переставляла! Сидите дальше!

Мы переглянулись.

— Она подслушивает, — сказал Адриан.

— Она обеспечивает информационный обмен.

Он покачал головой и вдруг стал серьёзным.

— Вера. Я сегодня был у Обера.

У меня внутри что-то оборвалось.

— И?

— И ничего. Пока ничего. Он спросил, почему я каждый вечер бываю на улице Трёх Лун. Я сказала: «Охраняю свидетельницу по делу о краже фамильных ценностей». Он сказал: «Кальве, весь город говорит, что вы охраняете её, стоя на коленях с кольцом в руке», — Адриан поморщился. — Это ваша фата.

— Это не моя фата. Это фата сбежавшей невесты. Я её даже не мерила.

— Город не вникает в такие тонкости, — он поставил чашку на ступеньку. — Обер не злой человек. Он просто боится. Марро обедает с половиной Городского совета. Если Марро

захочет, чтобы меня убрали с дела, — меня уберут. И найдут красивую причину. Например, личную заинтересованность в свидетельнице.

— Это же неправда.

Адриан посмотрел на меня. Долго.

— Это правда, Вера, — сказал он тихо. — В том и беда.

Я перестала дышать.

Лампа мигнула. Камень в ней был старый, его надо было стукнуть дважды, и я всё время забывала его заменить. Свет погас на секунду, потом вернулся. Адриан не двинулся. Он смотрел на меня, не отводя глаз, и ждал. Не просил. Не торопил. Просто ждал, как ждут вещи на полках с биркой «Ждёт».

«Я привыкла рассчитывать только на себя», — подумала я. Это было правдой тридцать три года. Это было правдой ещё месяц назад.

Сейчас это было уже не совсем правдой. И это пугало меня сильнее, чем Марро с его экстракторами.

— Я не знаю, что будет через двадцать один день, — сказала я. Голос был чужой, хрипловатый. — Я не знаю, останусь ли я здесь. Откроется ли дверь. Отберут ли улицу. Я не могу ничего обещать. Я даже себе ничего не могу обещать.

— Я не прошу обещаний.

— А чего вы просите?

Он подумал. По-настоящему подумал — я видела, как он перебирает варианты, как отбрасывает лишние. Дознаватель до кончиков пальцев.

— Чтобы вы не решали это в одиночку. Что бы вы ни решили. Остаться, уйти, драться, сдаться. Не в одиночку. Вот и всё.

Я кивнула. Не смогла сказать ничего. Просто кивнула.

Он взял мою руку. Без перчатки, без платка. Его ладонь была тёплой и шершавой, и мозоль у основания большого пальца легла мне на запястье.

Я ждала, что дар проснётся. Что я увижу — стружку, отца, подвал, двенадцатилетнего мальчика над проданным станком.

Я увидела только одно.

Себя. Спящую в кресле Агаты, с открытым ртом и щекой, придавленной к плечу. Плед в серую клетку. Лента, которую чьи-то пальцы завязывают очень медленно, потому что пальцы дрожат. И чувство — не картинка, а чувство, тёплое и огромное, такое, от которого перехватывает горло: «Только бы с ней ничего не случилось. Только бы ничего не случилось».

Я отёрнула руку.

Адриан посмотрел на меня. Потом на свою ладонь. Потом снова на меня.

— Вы что-то увидели, — сказал он. Не вопрос.

— Бантик, — ответила я. Голос сорвался. — Вы очень долго завязывали бантик.

Он закрыл глаза. На секунду. Как человек, которого поймали на месте преступления и которому почему-то от этого легче.

— Вещи вам рассказывают, — произнес он, не открывая глаз. — Люди, выходит, тоже.

— Не все. И не всегда, — я сжала руки в замок, чтобы они не тряслись. — Только то, что... очень важно. Наверное.

— Наверное, — повторил он.

Мы сидели на ступеньках. Лампа горела ровно. Часы Тобиаса в углу тикали — медленно, уверенно, как тикают часы, которые снова кто-то завёл.

Наверху было подозрительно тихо. Даже сорока не шуршала.

* * *

Он ушёл в одиннадцать. На пороге обернулся.

— Двадцать дней.

— Двадцать один.

— Двадцать, — он кивнул на часы. — Уже за полночь в Лавье. У нас сутки начинаются с колокола на Мостовой, а он бьёт в одиннадцать. Вы всё время забываете.

— Я из другого мира.

— Я заметил, — он помолчал. — Доброй ночи, Вера.

— Доброй ночи, Адриан.

Дверь закрылась. Колокольчик звякнул.

Я постояла в пустой лавке. Потом подошла к книге учёта. Она лежала на своём месте, у кассы, раскрытая на последней странице с записями — «Оплачено: отец. Полностью». Я её не открывала со дня лошадки. Боялась, наверное.

Я перевернула страницу назад. Потом ещё. Потом ещё — и остановилась.

Книга была толстая, в переплёте из тёмной кожи, с тремя лунами на обложке. Записей в ней было, как я прикинула когда-то, лет на двести. Но в самом конце, после чистых листов, которые ждали новых записей, последние страницы были склеены. Не случайно — край к краю, ровно, будто их запечатали воском, только воска не было. Я попробовала поддеть ногтем. Бумага не поддавалась. Не порвалась — просто не поддавалась, как не поддаётся каменная стена.

На корешке, изнутри, у самого края склеенных листов, кто-то вывел мелкими буквами, выцветшими до коричневого:

«Откроется той, кто заплатит».

— Не твоё ещё, — сказала Гортензия сверху. Тихо. Без обычного ехидства.

— Что там?

— Не знаю. Агата не открывала. Её мать не открывала. Её бабка не открывала, — сорока прыгнула на прилавок, подошла к книге и постучала клювом по склеенному краю. Звук был глухой, как стук в запертую дверь. — Агата говорила: «Когда понадобится — откроется. А не понадобится — и не надо».

— Чем заплатит? — спросила я.

Гортензия посмотрела на меня. Чёрный глаз в свете лампы был как бусина, как пуговица, как капля чернил.

— Ты сегодня весь день спрашивала, сколько стоишь. Может, книга тоже спрашивает.

Я закрыла книгу. Положила ладонь на обложку, на три луны.

Книга молчала. Но мне показалось — только показалось, — что под ладонью кожа чуть потеплела. Как тёплая дверь в подвал. Как мамина шкатулка, когда она начинает играть.

Я поднялась наверх. Мира спала, раскинувшись поперёк маминой кровати, одна нога свесилась. Кулёк с луковицами лежал на подоконнике. Я поправила ей одеяло, как поправляла бы — кому? Я не знала. Никому я так раньше не поправляла.

Потом пошла к себе, легла под вышивку и долго смотрела на неё в темноте.

«Что было — помни. Что есть — живи. Что будет — выбирай».

Двадцать дней.

Я заснула раньше, чем успела испугаться.

Гл

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.